

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1989

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ

Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.
БАНЕР В. (ГДР)
БЕРНШТЕЙН С. Б.
БИРНБАУМ Х. (США)
БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ВАРДУЛЬ И. Ф.
ВАХЕК Й. (ЧССР)
ВИНТЕР В. (ФРГ)
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)
ГУХМАН М. М.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)
ДУРИДАНОВ И. (НРБ)
ИВИЧ П. (СФРЮ)
КЕРНЕР К. (Канада)
ЛЕМАН У. (США)
МАЖЮЛИС В. П.
МАЙРХОФЕР М. (Австрия)

МАРТИШЕ А. (Франция)
МЕЛЬНИЧУК А. С.
НЕРОЗНАК В. П.
ПОЛОМЕ Э. (США)
ГАСТОРГУЕВА В. С.
РОБИНС Р. (Великобритания)
СЕМЕРЬНЫЙ О. (ФРГ)
СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
УОТКИНС К. (США)
ФИШЬЯК Я. (ПНР)
ХАТГОРИ СИРО (Япония)
ХЕМП Э. (США)
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ШМИДТ К.-Х. (ФРГ)
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.
АПРЕСЯН Ю. Д.
БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГАДЖИЕВА Н. З.
ГАК В. Г.
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.
ДЫБО В. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КИБРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)

ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НЕДЯЛКОВ В. П.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУПИЦКОВ Ю. В.
СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ТОПОРОВ В. Н.
УСПЕНСКИЙ Б. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРВАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ШИРОКОВ О. С.
ЦЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СОДЕРЖАНИЕ

К и б р и к А. Е. (Москва). Типология: таксономическая или объяснительная, статическая или динамическая	5
Р о д и о н о в В. А. (Москва). «Цельносистемная типология» vs. «частная типология»	16
П а н о в М. В. (Москва). Лингвистика и методика преподавания русского языка	31
К р и в о н о с о в Б. А. (Ленинград). О соотношении единиц языка и форм мышления	44
Т а р л а н о в Э. К. (Петрозаводск). О лексико-синтаксическом изоморфизме в истории языка	55
Т о п о р о в а Т. В. (Москва). Проблема оригинальности: готские сложные слова и фрагменты текста	64
М а т в е е в А. К. (Свердловск). Субстратная микропонимия как объект комплексного регионального исследования	77
М е д в е д е в а Л. М. (Киев). Типы словообразовательной мотивации и семантика производного слова	86
К и я к Т. Р. (Черновцы). О видах мотивированности лексических единиц	98
М а с л о в а В. А. (Витебск). К построению психолингвистической модели коннотации	108

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Ф л о р е н с к и й П. А. Термин	121
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р е ц е н з и и

М а к о в с к и й М. М. (Москва). Althochdeutsches Glossenwörterbuch	134
Р о м б а н д е е в а Е. И. (Москва). <i>Munkácsi—Kálmán</i> . Wogulisches Wörterbuch	142
О р е л В. Э., О с и п о в а М. А. (Москва). Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі	144
М о с к о в о й В. А. (Ростов-на-Дону). <i>Храковский В. С., Володин А. П.</i> Семантика и типология императива. Русский императив	146
М у с а е в М. С.-М. (Махачкала). <i>Хайдаков С. М.</i> Даргинский и мегебский языки. Принципы словоизменения	150
А л е к с е е в М. Е. (Москва). <i>Studies in ergativity</i>	152
М а н а с я н Н. С. (Ереван). <i>Butler Chr. Statistics in linguistics</i>	156

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	158
--------------------------------	-----

CONTENTS

K i b r i k A. E. (Moscow). Typology: taxonomic or explanatory, static or dynamic; R o d i o n o v V. A. (Moscow). «Holistic typology» vs. «partial typology»; P a n o v M. V. (Moscow). Linguistics and methods of teaching Russian; K r i v o n o s o v B. A. (Leningrad). On the correlation of language-units and forms of thought; T a r l a n o v Z. K. (Petrozavodsk). The lexical-syntactic isomorphism in the history of language; T o p o r o v a T. V. (Moscow). Problems of authenticity: Gothic compound words and fragments of text; M a t v e e v A. K. (Sverdlovsk). Substrat microtoponymics as an object of an overall regional investigation; M e d v e d e v a L. M. (Kiev). Types of motivation in word-formation and semantics of derived words; K i j a k T. R. (Chernovtsy). On the types of motivation of lexical units; M a s l o v a V. A. (Vitebsk). A psycholinguistic pattern of connotation; **From the history of science:** F l o r e n s k i j P. A. The term; **Reviews:** M a k o v s k i j M. M. (Moscow). Althochdeutsches Glossenwörterbuch; R o m b a n d e e v a E. I. (Moscow). *Munkácsi—Kálmán*. Wogulisches Wörterbuch; O r e l V. E., O s i p o v a M. A. (Moscow). An etymological dictionary of geographical names in the chronicles of the Southern Rus'; M o s k o v o j V. A. (Rostov-on-Don). *Xrakovskij V. S., Volodin A. P.* Semantics and typology of the imperative. The Russian imperative; M u s a e v M. S.-M. (Makhachkala). *Xaidakov S. M.* The Dargwa and Megheb languages. Principles of inflection; A l e k s e e v M. E. (Moscow). Studies in ergativity; M a n a s j a n N. S. (Yerevan). *Butler Chr.* Statistics in linguistics. **Scientific life.**

КИБРИК А. Е.

**ТИПОЛОГИЯ: ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ИЛИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ,
СТАТИЧЕСКАЯ ИЛИ ДИНАМИЧЕСКАЯ**

Типологический метод в языкознании известен довольно давно. Он является одним из важнейших средств обобщения знаний о конкретных языках и построения общей теории языка. Наиболее разработан типологический подход к исследованию структуры языка (его языковых состояний) в отвлечении от фактора времени — это так называемая *структурная* (или, иначе, *синхронная*) типология. Именно о ней и пойдет далее речь, хотя многие выдвигаемые ниже положения могли бы быть, на мой взгляд, распространены и на *эволюционную* типологию (обобщающую типовые схемы изменения языковых состояний).

Задачи синхронной типологии в разное время ставились и решались по-разному в зависимости от того, что предполагалось ее средствами узнать о языке, и от того, объектом какого рода представлялся сам язык.

В настоящей статье делается попытка обосновать тезис, что типология ближайшего будущего должна двигаться от таксономических задач к объяснительным и от статической модели языка к динамической.

1.

Занимаясь выявлением способов (типов) организации языковой структуры, типология систематизирует наблюдения над всевозможными проявлениями структурных сходств и различий, имеющих между языками [1]. Поскольку состав и специфика типов зависят от степени варьирования языковых структур, то основное внимание в типологии уделяется, естественно, выявлению различий между языками.

До самого последнего времени основной задачей типологии был поиск ответа на вопрос:

КАК (ЧЕМ) языки отличаются друг от друга?

Следовательно, основной задачей КАК-типологии была *таксономия* — классификация языков по всевозможным параметрам. Сама таксономия, как известно, требует:

— отбора *параметров* (оснований классификации), по которым осуществляется сравнение языков (таким классическим типологическим параметром является, например, морфологическая структура слова);

— установления типов возможных реализаций каждого конкретного параметра в разных языках, т. е. установления *классов*, на которые могут быть разбиты языки по данному основанию (например, традиционное различие изолирующего, агглютинативного и флективного способов построения слова).

Каждая из указанных подзадач может решаться как на эмпирической, так и на дедуктивной основе. *Эмпирический* выбор некото-

рой сущности в качестве типологического параметра основывается на том, что в некоторых сравниваемых языках реализации данной языковой сущности не тождественны. Например, в свое время сравнение европейских языков с кавказскими позволило обнаружить существование разных принципов построения основного каркаса предложения, что ввело в рассмотрение параметр синтаксического типа языка. Эмпирическая методика выделения классов в пределах данного параметра зиждется на принципе перечисления, обобщающем различия, зафиксированные в языках, включенных в исходную базу классификации. Добавление новых языков может привести к увеличению числа классов или к их внутренней перестройке. Перечислительной была, например, традиционная оппозиция номинативной — эргативной конструкции предложения, иногда расширявшейся за счет посессивных, аффективных и др. конструкций [2].

Примечание 1. В двух словах трудно охарактеризовать всю специфику эргативной конструкции (см. в этой связи, в частности, [2—4]). Говоря традиционными терминами, она противопоставлена номинативной конструкции тем, как соотносится оформление предложений с непереходными и переходными (в индоевропейском понимании) глаголами. Например (аварский язык, пример из [2, с. 48]): *Вас вежерула* «Мальчик (номинатив) бегает» — *Вас-ас тГил босула* «Мальчик (эргатив) палку (номинатив) берет». Внешним аналогом в русском языке является пассивная конструкция (если отвлечься от ее производности и особой формы глагола): *Мальчиком палка берется*. Аффективную и посессивную конструкции демонстрируют следующие примеры из аварского языка, взятые из [2, с. 56]: *Вацас-е вас вокьула* «Брат (датель) сына/мальчика (номинатив) любит» — *Вацас-ул лъимер буго* «Брат (генитив) ребенка (номинатив) имеет». Аналогом этих конструкций в русском языке являются выражения *Брату сын нравится, У брата ребенок есть*.

Д е д у к т и в н а я методика в типологии требует системного обоснования как допустимых значений каждого параметра, так и самого состава типологически значимых параметров. Пределы допустимых различий между языками систематизируются при этом методом и с ч и с л е н и я, а не перечисления. Таким образом, типология на этом этапе уже тесно смыкается с о б щ е й т е о р и е й я з ы к а, ограничивающей множество возможных естественных языков (предсказывающей, в частности, какими свойствами не может обладать никакой естественный язык) и задающей п р о с т р а н с т в о т и п о л о г и ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й, которые реализуются в реально изученных языках или в принципе могут / могли бы реализоваться в каком-нибудь естественном языке. Примером образца такой исчисляющей классификации может быть типология залогов А. А. Холодовича и его группы [5], опирающаяся на универсальное родовое понятие диатезы, или типология относительного предложения Э. Кинэна [6].

КАК-типология чрезвычайно расширила диапазон параметров, включаемых ею в рассмотрение, и достигла весьма ощутимых успехов при том, что потенциальные ее возможности далеко не исчерпаны, поскольку ее идеал — построение настолько мощных классификаций, которые обеспечивали бы возможность интерпретировать материал любого произвольного языка — этот идеал пока еще очень далек от ее реальных возможностей.

2.

И вместе с тем КАК-типология, по своим исходным презумпциям, изначально ограничена: наибольшее, на что в принципе способен таксономический метод, — это отвечать на вопросы о потенциальном существовании тех или иных явлений. Можно ли считать, что этим исчерпывается проб-

лематика, связанная со структурным сопоставлением языков? Или, иными словами, являются ли таксономические цели (и соответствующие им таксономические методы) в типологии органически ей присущими?

В последнее время становится все более очевидным, что в типологии, как и в общей теории языка, происходит качественное изменение исходных презумпций [7] и, наряду с КАК-вопросами, все чаще начинают ставиться ПОЧЕМУ-вопросы, а именно вопросы типа:

ПОЧЕМУ языки (тем-то и тем-то) отличаются друг от друга?

Тем самым на смену безраздельного господства таксономической КАК-типологии приходит объяснительная ПОЧЕМУ-типология, призванная ответить не только на вопросы о существовании, но и о причинах существования / несуществования тех или иных явлений. Такое развитие типологии имеет место не только и не столько в силу осознаваемой ограниченности КАК-типологии, но, в первую очередь, ввиду потребностей самой КАК-типологии: оказывается, что исчерпывающих ответов на КАК-вопросы зачастую невозможно получить, не поставив своевременно ПОЧЕМУ-вопросы.

3.

Какие средства используются в типологии для ответов на ПОЧЕМУ-вопросы? Прежде всего, возможна разная «глубина» объяснения. С этой точки зрения различаются «внутренние» и «внешние» объяснения (ср. [8]).

При внутреннем объяснении объясняемая сущность (сущность-следствие) и сущность, посредством которой осуществляется объяснение (сущность-причина), в определенном отношении являются объектами одной природы. Так, например, внутренним объяснением существующих в языках многочисленных конкретных ограничений на линейную структуру предложения можно считать требование проективности синтаксической структуры, объясняющее, почему одни способы линейного упорядочивания слов в предложении естественны и широко распространены, а другие неестественны, редки и даже невозможны. И параметр-следствие (линейная структура предложения), и параметр-причина (проеktivность) относятся к синтаксическому уровню.

Примечание 2. Понятие проективности можно формулировать разными способами, опираясь на тот или иной формализм, описывающий синтаксическую структуру предложения. В самом общем виде это понятие опирается на линейную комбинаторику подчинительных связей между парами слов (где одно слово является главным, а другое зависимым). Линейная структура предложения проективна, если между каждой парой слов, связанных подчинительной связью, находятся только слова, зависящие (непосредственно или опосредованно) от одного из этих слов. Например, выражение *На чужие ноги лосины не натягивай* (афоризм К. Пруtkова) обладает свойством проективности, поскольку пары слов, находящиеся в подчинительном отношении, или располагаются контактно (*чужие ноги, не натягивай*), или между ними расположены лишь слова, зависящие от одного из этих слов (*на чужие ноги, лосины не натягивай, на чужие ноги лосины не натягивай*). Легко проверить, что свойство проективности сохраняется и при некоторых перефразисах, полученных перестановкой слов: *лосины на чужие ноги не натягивай, не натягивай лосины на чужие ноги* и т. п. Однако при порядке слов, нарушающем это условие проективности, фраза становится неприемлемой: **На лосины чужие ноги не натягивай, *Чужие ноги лосины на не натягивай* и т. п. Подробнее о проективности см., например, в [9].

При внешнем объяснении сущность-следствие и сущность-причина являются объектами разной природы. Например, внешним объяснением ограничений в агглютинативных языках на линейный порядок мор-

фем в словоформе является гипотеза о том, что расположение служебных аффиксов относительно корня иконически повторяет структуру семантического представления словоформы.

Примечание 3. В качестве примера можно привести морфемное «устройство» финитного глагола хиналугского языка: *ки-р-ет-мя* «делает», где *ки-* — корень, *-р* — показатель несовершенного вида, *-ет* — показатель настоящего определенного времени, *-мя* — показатель изъявительного наклонения. Последовательность суффиксов относительно корня соответствует, согласно [10, 11], типологически предпочтительному (наблюдаемому во многих разносистемных языках) порядку категорий в глагольной словоформе:

«корень» + «вид» + «время» + «наклонение».

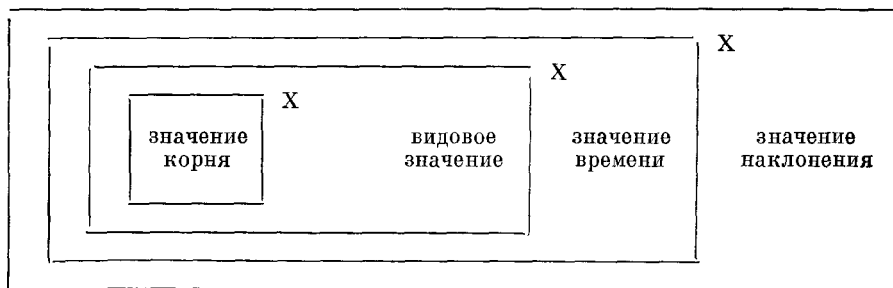
Почему из шести формально возможных порядков предпочтителен именно этот? Если обратиться к толкованиям соответствующих категорий, то мы будем иметь примерно следующее:

— несов. вид. = «длится и не имеет результата событие X», где X = «делать» — значение корневой морфемы;

— наст. определенное время = «в момент речи имеет место X», где X = «длится и не имеет результата событие *делает*», т. е. сочетание значения вида и корневой морфемы;

— изъявительное наклонение = «верно, что X», где X = «в момент речи имеет место, что длится и не имеет результата событие *делает*», т. е. сочетание значений времени, вида и корневой морфемы.

Таким образом, данный порядок следования морфем объясняется порядком вложения значений одних категорий в значения других:



В значении каждой из данных категорий имеется переменная, которая заполняется значением той морфемы, которая непосредственно ей предшествует в глагольной словоформе.

Очевидно, что противопоставление внутренних / внешних объяснений является относительным и зависит от избранного взгляда на однородность причин и следствий. Так, в обоих вышеприведенных примерах как следствия, так и причины являются собственно языковыми сущностями, и в этом смысле оба объяснения можно считать внутренними — апеллирующими к внутреннему устройству языковой системы.

4.

Однако глубина объяснения имеет еще один аспект. Как верно отмечает Б. Комри, «всякое объяснение неизбежно отодвигает решение данной проблемы на один шаг дальше, так как само это объяснение в свою очередь становится объектом, требующим объяснения» [12]. Действительно, являются ли вышеупомянутые примеры объяснений окончательными, не вызывающими новых ПОЧЕМУ-вопросов, например:

— Почему синтаксическая цепочка зависимостей имеет тенденцию линеаризоваться в соответствии с формальным требованием проективности, а не наоборот, — вопреки или независимо от него?

— Почему иерархическая (синтаксическая) структура семантического представления предопределяет линейную морфемную структуру словоформы?

Допустив рекурсивность процедуры объяснения, мы рано или поздно неизбежно дойдем до такого цикла, при котором языковая сущность-следствие уже не имеет никакой ближайшей языковой сущности-причины, и нам придется, в поисках ее, выйти за пределы собственно языковой структуры и обратиться к внешним по отношению к ней параметрам, а именно, от структурно-ориентированных языковых объяснений перейти к объяснениям экстралингвистическим (прагматически-ориентированным). Экстралингвистические объяснения будут исходить:

а) из обстоятельств приобретения языка человеком;

б) из обстоятельств использования языка человеком.

В случае (а) ограничения на структуру естественных языков могут объясняться особенностями филогенеза и онтогенеза, а именно, особенностями происхождения языка и усвоения языка. Так, если принять гипотезу моногенеза (происхождения всех человеческих языков из единого праязыка), то сходство между современными языками есть продукт сохранения черт, заданных типом исходного праязыка, а также конвергентных тенденций, сопровождающих процессы параллельного развития отдельных языков; различия между языками объясняются как результат мутации — процессов дивергентного развития, по-разному использующих структурные потенции, заложенные в предшествующих языковых состояниях. С точки зрения усвоения языка наиболее известной объяснительной гипотезой является гипотеза о генетической врожденности языковой способности, согласно которой «форма языка, схема его грамматики в большой степени дана заранее» [11].

Очевидно, что объяснения типа (а), во-первых, покоятся на труднопроверяемых гипотезах, во-вторых, исходят из некоторого некогда происшедшего случайного исторического выбора в человеческой эволюции, в-третьих, на множество конкретных ПОЧЕМУ-вопросов дают по существу один ответ типа «так получилось».

Несмотря на то, что гипотезы моногенеза и врожденности не следует пока полностью исключать из рассмотрения, тем не менее они, на мой взгляд, не могут конкурировать с объяснительной силой факторов, связанных с обстоятельствами использования языка человеком. Данный подход к ПОЧЕМУ-типологии основывается на фундаментальной гипотезе о функциональной мотивированности языка, а именно о том, что

язык (как механизм, устройство, средство и т. д.) чтобы осуществлять свое предназначение (успешно использоваться), должен иметь не произвольную природу (структуру), а именно такую, которая оптимально согласована со способами его использования.

Если данная гипотеза верна, то знание условий функционирования языка может помочь объяснить, почему грамматики языков именно таким образом варьируют. Данная гипотеза объясняет также, почему объяснительные цели ПОЧЕМУ-типологии в принципе не могут быть разрешены в рамках таксономических методов, а требуют функционального, ориентированного на деятельностную модель языка метода. Из нее следует, далее, что в основе ПОЧЕМУ-типологии должна лежать не традиционная статическая (структурная) модель языка, а динамическая модель, согласованная с моделью языковой деятельности,

т. е. описывающая язык как механизм, участвующий в преобразовании речемыслительной задачи в текст.

5.

Итак, мы сперва признали, что наряду с КАК-типологией имеет право на существование ПОЧЕМУ-типология. Далее, мы пришли к выводу о том, что ПОЧЕМУ-типология, если не ограничивать ее рамками локальных внутриязыковых импликаций, неизбежно должна опираться на динамическую модель языка — именно ту модель, контуры которой интенсивно исследуются сейчас в общей теории языка и в ее приложениях (искусственный интеллект, общение с ЭВМ на естественном языке и т. п., см., например [14]).

По существу тем самым типология от этапа статической (и тем более таксономической) типологии должна перейти к этапу динамической (и по преимуществу объяснительной) типологии [15].

В чем состоит специфика динамической типологии? Не будучи в состоянии дать развернутый и полный ответ на этот вопрос как ввиду ограниченности объема настоящих заметок, так и ввиду чрезвычайно слабой разработанности данной области (в основном будущего) знания, я ограничусь указанием нескольких существенных черт, характеризующих, на мой взгляд, динамический метод ПОЧЕМУ-типологии.

6.

Динамический метод, наиболее последовательно применяемый при построении динамических моделей языка, не автономизирует языковую способность человека, не противопоставляет ее прочим способностям, а рассматривает как частное проявление общей способности человека к целесообразному (управляемому прагматическими целями) поведению. Из этого следует два важных тезиса.

Во-первых, в языковом поведении (и в обслуживающих его языковых механизмах) многое предопределяется не собственно языковой способностью, а общностью языкового поведения с прочими видами поведения человека. Раз так, то правомерно объяснение устройства языкового механизма и способов его варьирования такими прагматическими факторами, как

— принцип гештальта («организуй свое поведение при помощи гештальтов»), важность которого для лингвистики была провозглашена Дж. Лаковым [16];

— принцип экономии («достигай цели с наименьшей затратой усилий»), о влиянии которого на язык писал еще А. М. Пешковский, отмечая, что всевозможные опущения, столь распространенные в языке, «объясняются общим законом всякой нашей деятельности, а не только речевой: законом экономии сил» [17];

— принцип приоритета («из нескольких альтернатив выбирай наиболее для себя приоритетную») (обоснованию его связи со структурой языка посвящена работа [18]);

— принцип динамического стереотипа («запоминай полезные связи между совместно встречающимися явлениями как единый автоматически обрабатываемый комплекс»), лежащий в основе всех процессов грамматикализации, перерабатывающих прагматические факторы в синтаксис и морфологию [19], и др.

Во-вторых, языковая способность формируется под воздействием прочих способностей, потребности которых она должна удовлетворять. В этой связи уместно упомянуть:

— когнитивную способность, обеспечивающую мыслительную деятельность человека;

— перцептивную способность, связывающую человека с окружающей средой;

— коммуникативную способность, регулирующую поведение человека в коммуникативной среде;

— социальную способность, регулирующую поведение человека в социальной среде.

Трудно переоценить степень мотивированности внутриязыковых семантических оппозиций (имеющих типологическую значимость) когнитивными и коммуникативными факторами. Опыт показывает, что мера обязательности выражения во всяком языке того или иного смысла определяется в конечном счете мерой его концептуальной и коммуникативной важности.

В области поиска типологически релевантных (тождественных или различных в разных языках) смысловых единиц-параметров (будь то оппозиция имен и предикатов [20], семантические роли [21], значения длительности [22], кратности [23], результативности [24], каузативности [25—26], императива [27], типы повторных номинаций [28] и т. д.) приходится рано или поздно обращаться к соответствующим их прототипам во внеязыковой действительности и в концептуальных мыслительных схемах, к коммуникативным намерениям и к модели текущего сознания участника речевого акта.

Такого рода «увеличение объяснительной глубины» оправдывается метаязыковыми принципами иконичности:

«при прочих равных условиях, кодируемый опыт легче хранить, обрабатывать и передавать, если код максимально изоморфен этому опыту» [29].

Если вернуться к упомянутым выше ограничениям на линейный порядок слов в предложении и линейный порядок аффиксов в словоформе, то при большей глубине объяснения эти явления оказываются следствием единого фактора иконичности процесса линейаризации:

«рядоположенное в мысли остается, если не мешают другие факторы, рядоположенным на линейной оси».

Иконичность процесса линейаризации имеет и другое проявление: «в первую очередь линейаризуется, если не препятствуют другие факторы, то, что первым актуализуется в сознании говорящего».

С этим связана сильная типологическая тенденция помещать топики в тех языках, где он есть, а также логический субъект в абсолютное начало предложения [30], равно как и кажущаяся не связанной с этим явлением тенденция к асимметричности именных групп при сочинении, в соответствии с которой первым идет имя, обозначающее более выделенный по какому-нибудь параметру объект.

Примечание 4. В [31] выявлены такого рода параметры, например, принцип рангового превосходства в иерархии (по полу: *муж и жена, брат и сестра, юноши и девушки*, по возрасту: *бабушка и внук, стар и млад*, по общественному положению: *учителя и ученики*, по социальному престижу: *рабочие, колхозники и интеллигенция*, по степени уважения: *дамы и господа, Вы и я*), принцип предшествования: *рано или поздно, рождение и смерть*, принцип первичности: *бытие и сознание* и т. д.

Объяснительные возможности динамической ПОЧЕМУ-типологии позволяют не только достичь ранее недоступных обобщений, но и по-новому взглянуть на проблему простоты / сложности языка (см. постулат о простоте в [7, с. 37]): простота языка в значительной мере обеспечивается за счет общности стратегий, приводящих в действие отдельные языковые механизмы, со стратегиями в других видах поведения.

7.

Принципиально важным для формирования динамического метода в типологии является, по-моему, переход к новому пониманию процессуальной модели языка, преодолевающей ограниченность алгоритмического взгляда на природу языковых процессоров. Как известно, алгоритм есть система правил, применяемых в определенной последовательности, которая строго детерминирует процедуру поведения процессора так, чтобы при одном и том же его начальном состоянии всегда получался один и тот же конечный результат. Каждое алгоритмическое правило есть правило-предписание типа «Если а, то (не) сделай b». Алгоритмическое мышление на определенном этапе имело революционное значение для лингвистики, дав метод уточнения и формализации многих грамматических процессов. Однако далеко не все языковые явления поддаются описанию с помощью правил-предписаний.

Примечание 5. Видимо, этим вызваны часто высказываемые суждения о том, что не все подчиняется в языке «путам» (по выражению В. И. Даля) грамматики, ср. сложности объяснения колебаний в выборе форм типа: *он был грустный/грустным* [32—33], *он умный/умен* [34—35], *пришло/пришли пять человек* [36], *он знает французский и английский язык/языки* [37]. Нагромождение все более сложных контекстуальных условий, которые позволили бы обеспечить однозначный выбор, в таких случаях не дает хорошего результата.

Все это заставляет усомниться в универсальности алгоритмического способа мышления и строить деятельностную модель языка на принципе неполной детерминированности, при котором, наряду со строго детерминированными правилами-предписаниями, существуют также слабо детерминированные правила-советы: «Если а, то можешь сделать b».

Примечание 6. Как убедительно показывают работы [32] и [37], вариативность форм обычно бывает связана с тем, что их выбором управляет множество разнородных и одновременно действующих факторов, из которых многие являются скорее не правилами-предписаниями, а правилами-советами. Например, на выбор падежа предикативного имени в выражениях типа *он был грустный/грустным* влияют, в частности, факторы, связанные с «ориентированными на говорящего прагматическими характеристиками, соотносящими пропозицию со шкалами времени, референтности, наблюдаемости, с коммуникативной организацией высказывания или с типом речевого акта», «со стратегией говорящего в отношении предотвращения неоднозначности высказывания», с жанром текста, с устранением разного рода стилистических погрешностей и др. [32, с. 352—353].

Правила-советы — существенный, может быть, даже ведущий способ организации языкового (грамматического) механизма, хотя их природа и сфера действия начинают всерьез изучаться только в последнее время.

Поскольку правила-советы сами по себе не разрешают процессуальную альтернативу (в частности, в силу того, что могут вступать в конфликт друг с другом, благоприятствуя противоположным альтернативам), они предполагают существование процессуального механизма

ма принятия решений, формирующихся на их основе. Такого рода механизм должен, тем не менее, тоже быть не строго детерминированным и обеспечивать принципиальную множественность языковых процессов, способных реализовать одну и ту же речемыслительную задачу (эта множественность следует из принципа неполной детерминированности; наблюдаемые же косвенные свидетельства состоят в том, что иначе языки просто не могли бы никак между собой структурно различаться, а также невозможна была бы контекстуальная синонимия в пределах средств выражения на одном и том же языке).

8.

Речемыслительная деятельность является творческим, созидющим мысль процессом. Владение конкретным языком позволяет значительно облегчить, автоматизировать эту деятельность. В этом состоит основное предназначение языка, в значительной степени предопределяющее его устройство. Иными словами, языковые единицы и правила в сущности являются идиоэтническими типовыми блок-схемами (гештальтами, по терминологии Дж. Лакова), в которых устойчиво и общественно значимо закреплены определенные комбинации речемыслительных процессов, что способствует более автоматическому, стандартному и эффективному протеканию текстосоздания (эта идея, по замечанию А. В. Бондарко, имеется уже у А. А. Потебни, у которого «формальность языка характеризуется со стороны как бы автоматичности систематизации мысли, ее «распределения по известным отделам», с точки зрения независимости такой систематизации от воли говорящего» [38]).

Типологические характеристики языка являются комплексом гештальтов, грамматикализирующих процесс вербализации мысли (на данном языке), который на каждом этапе имеет множество альтернатив дальнейшего развертывания: **каждая потенциально возможная цепочка переходов от речемыслительного замысла к сообщению есть элемент пространства типологических возможностей варьирования естественного языка.**

Примечание 7. С этой точки зрения интересно взглянуть на проблему универсального определения подлежащего. Оригинальный подход к ее решению сохранился в [39]. Э. Кинэн выделяет около трех десятков свойств подлежащего, ни одно из которых не является необходимым и достаточным для всех языков и даже для всех конкретных подлежащих в одном и том же языке. (Такая ситуация находится в необъяснимом противоречии с классическим логико-таксономическим способом определения научных понятий.) Кроме того, во многих языках подлежащее является таким средством упаковки пропозиционального содержания высказывания, которое, в сочетании с дополнительными синтаксическими преобразованиями, позволяет по-разному организовать высказывания с весьма близкими значениями, например: *Дверь открыли ключом, Ключ открыл дверь, Дверь была открыта ключом.* В первом выражении можно усмотреть нулевое неопределенно-личное подлежащее, во втором подлежащим является слово *ключ*, в третьем — *дверь*. При переходе к другому языку эти выражения не обязательно сохраняют свою синтаксическую структуру, и, в частности, свои подлежащие. Связано это с тем, что множество факторов, влияющих на выбор подлежащего, и механизмы их взаимодействия (т. е. процессуальные цепочки) в разных языках не совпадают.

Сущность подлежащего (как и многих других языковых единиц) состоит в том, что оно является равнодействующей многих факторов и связанных с ними процессов, представленных в речемыслительной деятельности. Этим и может быть объяснено такое странное, с точки зрения классических дефиниций, положение с понятием подлежащего.

Независимое формирование подлежащего как одной из основных синтаксических единиц во многих языках связано с тем, что это чрезвычайно экономный способ упаковки весьма важных для речемыслительной деятельности комбинаций факторов и процессов.

При динамическом подходе к типологии пространство типологических возможностей реализации языковой структуры не есть простой конгломерат случайных альтернатив. Правдоподобно ожидать, что имеется естественное иерархическое расслоение типологических характеристик языка, позволяющее выделить среди них более доминантные (на самых первых этапах вербализации соприкасающиеся с мыслительной деятельностью) и более периферийные (связанные с более поздними этапами означивания мысли, воплощения ее в языковую форму). Тем самым имеются внешние предпосылки для установления многочисленных причинно-следственных отношений между типологическими параметрами (что поможет, в частности, обосновать примат контенсивной типологии над формальной и заложить фундамент динамического объяснения типологических импликаций).

9.

Итак, подводя итог, можно прийти к выводу, что период стерильной КАК-типологии себя изжил, что на повестке дня стоит развертывание широкого фронта работ в области ПОЧЕМУ-типологии, что ее методологическим ядром является динамический подход, что динамическая типология способна поднять типологию на качественно новый уровень описания и объяснения языковых фактов. В то же время динамическая ПОЧЕМУ-типология не отрицает, а вбирает в себя все позитивные результаты статической КАК-типологии как необходимого этапа развития эмпирического метода¹.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кацнельсон С. Д. История типологических учений // Грамматические концепции в языкознании XIX века. Л., 1985. С. 6.
2. Климов Г. А. Очерк общей теории эргативности. М., 1973.
3. Ergativity / Ed. by Plank F. London — New York — Toronto — Sydney — San Francisco, 1979.
4. Studies in ergativity / Ed. by Dixon R. M. W. Amsterdam — New York — Oxford — Tokyo, 1987.
5. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залогов. Л., 1974.
6. Keenan E. L. Relative clauses // Language typology and syntactic description. V. 2 / Ed. by Shopen Th. Cambridge, 1985.
7. Кибрик А. Е. Лингвистические предпосылки моделирования языковой деятельности // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М., 1987.
8. Explanations for language universals / Ed. by Butterworth B., Comrie B., Dahl Ö. Berlin — New York — Amsterdam, 1984. P. 1.
9. Долинина И. Б. Системный анализ предложений. М., 1977.
10. Кибрик А. Е. Соотношение формы и значения в грамматическом описании // Предварительные публикации ИРЯ. Вып. 132. М., 1980.
11. Bybee J. Diagrammatic iconicity in stem inflection relations // Iconicity in syntax / Ed. by Haiman J. Amsterdam — Philadelphia, 1985.
12. Comrie B. Language universals and linguistic typology. Chicago, 1981. P. 24.
13. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972. С. 49.
14. Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М., 1987.
15. Кибрик А. Е. От таксономической типологии к типологии динамической // III Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам языкознания (Типы языковых общностей и методы их изучения). М., 1984.
16. Лаков Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981. С. 359—361.

¹ Пользуясь случаем, хочу выразить признательность Г. А. Климову и С. В. Кодзасову, ознакомившимся с первоначальным вариантом статьи и сделавшим ряд конструктивных замечаний.

17. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1928. С. 125.
18. *Бергельсон М. Б., Кибрик А. Е.* Прагматический принцип приоритета и его отражение в грамматике языка // ИАН СЛЯ. 1981. № 4.
19. *Hуman L. M.* Form and substance in language universals // Explanations in language universals / Ed. by Butterworth B., Comrie B., Dahl O. Berlin — New York—Amsterdam, 1985. P. 71—72.
20. *Thompson S. A.* The iconicity of the universal categories «noun» and «verb» // Iconicity in syntax / Ed. by Haiman J. Amsterdam — Philadelphia, 1985.
21. *Филлмор Ч.* Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
22. *Бондарко А. В.* Длительность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 98—124.
23. *Храковский В. С.* Кратность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 124—152.
24. Типология результиативных конструкций. Л., 1983.
25. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.
26. The grammar of causative constructions. // Syntax and semantics / Ed. by Shibatani M. New York — San Francisco — London, 1976.
27. *Храковский В. С., Володин А. П.* Семантика и типология императива. Л., 1986.
28. *Кибрик А. А.* Типология средств оформления анафорических связей: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1988.
29. *Givón T.* Iconicity, isomorphism and non-arbitrary coding in syntax // Iconicity in syntax / Ed. by Haiman J. Amsterdam — Philadelphia, 1985. P. 198.
30. *Чейф У.* Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1982.
31. *Лауфер И. И.* Линеаризация компонент сочинительной конструкции // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М., 1987.
32. *Никольс Дж.* Падежные варианты предикативных имен и их отражение в русской грамматике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
33. *Vichols J.* Predicate nominals: a partial surface syntax of Russian. Berkeley — Los Angeles, 1981.
34. *Babby L. A.* Transformational grammar of Russian adjectives. The Hague — Paris, 1975.
35. *Бэбби Л.* Глубинная структура прилагательных и причастий в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
36. Грамматика русского языка. Т. II. Синтаксис. Ч. 1. М., 1960. С. 506.
37. *Кодзасов С. В.* Число в сочинительных конструкциях // Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. М., 1987. С. 204—219.
38. *Бондарко А. В.* Из истории разработки концепции языкового содержания в отечественном языкознании XIX века // Грамматические концепции в языкознании XIX века. Л., 1985. С. 95.
39. *Кинэн Э. Л.* К универсальному определению подлежащего // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.

РОДИОНОВ В. А.

«ЦЕЛЬНОСИСТЕМНАЯ ТИПОЛОГИЯ» vs.
«ЧАСТНАЯ ТИПОЛОГИЯ»

«Исчерпывающая лингвистическая типология — это самая большая и важная задача, которую предстоит решать лингвистике. В конечном счете, ее назначение в том, чтобы ответить на вопрос: какие языковые структуры возможны, а какие — нет, и почему... Именно — и только — с помощью типологии лингвистика поднимается [до самых крупных обобщений и становится наукой».

Л. Ельмслев

Большое значение для разработки проблем лингвистической типологии имеет, на наш взгляд, изучение динамического взаимодействия «частных типологий» с типологией цельносистемной¹, не получившее пока должной разработки в типологической литературе. В данной статье будет сделана попытка проследить в исторической перспективе, каким образом из теоретически нерасчлененного характерологическо-сопоставительного подхода к осмыслению языкового многообразия шаг за шагом формировался «макротипологический» подход и как (тоже постепенно, но исторически неизбежно) происходил разрыв этого подхода с традиционными теоретическими установками. Под цельносистемной типологией мы будем понимать такой вид типологического описания, при котором исследователь: 1) потенциально ориентируется на привлечение к типологизированию всего доступного ему языкового материала без каких бы то ни было ограничений в отношении количественного и качественного состава конкретных языков; 2) допускает теоретическую возможность сведения всего многообразия языковых структур к предельному числу типовых образцов; 3) признает необходимость оперировать абстрактным понятием «типа» как средством упорядочения языкового многообразия. В отличие от этого к частным видам типологического исследования можно отнести: типологию подсистем, характерологию, сопоставительную лингвистику.

В типологии подсистем (частная типология) — объектом описания служит одна подсистема языка (например, фонология, синтаксис, иногда даже типология пассивных конструкций, местоимений, терминов родства). В принципе здесь предполагается описание самых разнообразных возможностей оформления частной подсистемы при открытом списке языков.

Характерология сосредотачивается на анализе всей системы одного языка (или группы языков) в относительной независимости от рассмотрения других языков [5, с. 37—38; 6, с. 43—45].

¹ Мы ограничиваемся рассмотрением так называемой «формальной» типологии, имеющей длительную историю; типология контенсивная — предмет особого рассмотрения (ср. [1—4]).

Сопоставительная (контрастивная) лингвистика, как правило, исследует сходства и различия между двумя языками (при закрытом списке) часто с учетом их генетической принадлежности [7, с. 12]. Сопоставительная лингвистика характеризуется прежде всего неразграниченностью в ней лингвистических (включая социо- и психолингвистику), методических и психологических аспектов.

Перечисленные виды типологического описания можно противопоставить цельносистемной типологии как частные, т. к. они исходно ориентированы на рассмотрение ограниченного языкового материала (в первом случае речь идет об одной подсистеме языка, во втором и третьем случаях — о закрытом списке языков). Эта принципиальная ограниченность (обозримость) языкового материала предопределяет характер конструктивного взаимодействия цельносистемной типологии с типологиями частными. Цельносистемная типология (выступающая полномочной представительницей общетипологической теории) заинтересована преимущественно в получении конкретных языковых данных, «сырья» для дальнейших теоретических обобщений; в частных же типологиях используется главным образом разрабатываемый общей типологией понятийно-терминологический аппарат, который, разумеется, тоже переосмысливается в применении к решению конкретных задач частных типологий.

Конкретность и расчлененность языкового материала, характеризующая частнотипологическое описание, ставит исследователя в более выгодное положение по сравнению с лингвистом, разрабатывающим цельносистемную типологию. При заданной ограниченности подлежащих анализу языковых явлений, а также при заведомо ограниченном числе языков описание начинается непосредственно с наблюдения языковой реальности и не предполагает обращения к абстрактным категориям, какими, например, являются языковые типы. Не приходится поэтому удивляться тому, что в настоящее время наблюдается опережающее развитие именно частных типологий, цельнотипологическая проблематика привлекает к себе значительно меньше внимания, оставаясь как бы делом будущего — последним, результирующим этапом обобщения знаний о многообразии языковых структур.

Иерархия взаимоотношений частных типологий с цельносистемной типологией станет более наглядной, если обратиться к опыту первых типологических классификаций (кратко история развития типологии и основных ее теоретических понятий рассмотрена нами в работе [8]). Анализируя труды языковедов типологической ориентации (от Ф. Шлегеля и В. Гумбольдта до Ф. Финка), легко убедиться в том, что они так или иначе использовали все упомянутые виды типологического описания. В частности, у них явно просматривается характерологический компонент описания: исследуются морфологические характеристики² различных групп (семей) родственных между собой языков — индоевропейской, семитской, тюркской и т. д., — каждая из которых иллюстрируется материалом языка, наиболее ярко воплощающего в себе (по мнению исследователя) свойства всей группы, т. е. обладающего свойством

² Критерием, на основе которого устанавливалась классификационная принадлежность языка, являлась, как известно, 1) способность / неспособность корней изменяться при образовании грамматических форм (Ф. Шлегель, Ф. Бопп, М. Мюллер); 2) соотношение формы и содержания (Form und Stoff) (А. Потт, А. Шлейхер, Г. Штейнталь, Ф. Финк). Подробнее об этом см. [8, с. 212—213].

«обобщенности» и «репрезентативности» (термины С. Д. Канцельсона [9, с. 22]). Для и.-е. языков в качестве «markante Sprachen» избирались санскрит, древнегреческий, латынь; для семитских — древнееврейский, арабский; для тюркских — турецкий и т. д.³ Можно выделить также и элемент сопоставительно-лингвистического описания — неиндоевропейские языки поочередно сравниваются по указанным морфологическим параметрам с древними индоевропейскими языками (типологически наиболее однородными), а отчасти — с современными европейскими (менее однородными типологически). Разумеется, предлагаемая схема условна — по всей вероятности, ни один из исследователей не придерживался сознательно такой методики. Оба вида описания как бы сливались для него в единую процедуру. К сказанному можно добавить, что, поскольку целью описания является сопоставление главным образом морфологической структуры в языках разных типов, то данное описание можно трактовать как типологию подсистемы (в данном случае, морфологической). Однако такое утверждение справедливо лишь с очень существенной оговоркой.

Едва ли есть основания сводить морфологическую классификацию, даже в ее изначальном виде (вариант братьев Шлегелей), к типологии одного уровня. Принципиальное отличие такого подхода от любого вида частнотипологического описания — несмотря на очевидные в наше время методологические слабости первых типологов-классификаторов — состоит в том, что он характеризуется основными чертами цельносистемной типологии, а именно: 1) ориентирован на охват всех известных науке языковых групп (разумеется, здесь нас интересует только общая установка исследователя, но никак не конечный результат, который значительно скромнее); 2) предполагает, что описываемые типовые образцы исчерпывают все возможные и существующие разновидности человеческого языка (это утверждение нигде специально не декларируется, но имплицитно содержится в самой исследовательской теории)⁴. Остановимся подробнее на первом пункте нашего утверждения.

Невозможность привлечения к рассмотрению всего многообразия реализованных языковых структур становится очевидной, если учесть отсутствие описаний целого ряда неиндоевропейских языков в период появления первых типологических опытов. Позже, по мере вовлечения в лингвистическую орбиту новых языков и языковых семей, расширялся соответственно и типологический горизонт исследований, вводились новые обозначения для вновь обнаруженных классов, переосмысливались старые.

Вначале типологические построения охватывали лишь замкнутый круг филологически хорошо изученных языков с давней письменной традицией — древнегреческого, латыни, древнееврейского (позже — санскрита), обладавших несомненным культурным престижем. Из со-

³ Временная несводимость сопоставляемых языков (правда, не имеющая ничего общего с историчностью), несомненно, черта формирующегося типологического подхода. Более яркий пример (но с элементом историзма) — привлечение к сопоставлению заведомо разновременных языков: древних (синтетических) и новых (аналитических) у А. Смита [10].

⁴ Несмотря на кажущуюся наивность такого предположения приходится признать, что вовлечение в лингвистический обиход ранее не описанных языков изменило наше представление о типе в большей мере качественно (за счет детализации и уточнения ранее известных фактов), чем количественно (т. е. открытия каких бы то ни было новых морфологических типов.)

временных языков привлекались только индоевропейские, причем предпочтение отдавалось языкам германской и романской групп.

Первая попытка сознательного сопоставления древних («простых») языков с языками новыми [«составными»] (compounded): термин предполагает использование в этих языках аналитических оборотов] принадлежит А. Смиту [10]. Поскольку сопоставление этих групп было необходимо ученому для доказательства своего тезиса о развитии человеческого мышления от конкретности к абстрактности (синтетический строй: аналитический строй), естественно, что он нашел возможным обосновать свое положение, не выходя за рамки хорошо знакомых ему и.-е. языков.

Почти одновременно с трактатом А. Смита предложили свою классификацию языков авторы «Энциклопедии» под редакцией Дидро и Даламбера, выделившие языки «аналогические» (порядок слов аналогичен порядку изложения мысли) и «транспозитивные» (при построении предложения происходит изменение форм и порядка слов). Это распределение (в сущности на те же аналитические и синтетические, что и у А. Смита) производится здесь на основании чисто структурного сходства, и поэтому оно типологически довольно объективно, хотя и противоречит родственным связям. Так, в первой группе оказываются: древнееврейский и современные романские языки, во второй — древнегреческий, латынь и немецкий (последний признается испытавшим сильное влияние «аналогических» языков). В этой классификации, как мы видим, также соблюдена европоцентрическая ориентация, если не считать включения в нее древнееврейского языка.

Постепенный выход из ограниченного круга и.-е. языков начинается примерно с начала XIX в. С этого периода почти безраздельно господствует морфологическое понимание типологии; соотношение аналитизма и синтетизма, напротив, временно как бы отодвигается на периферию внимания. Происходит расширение «типологического ареала» — переход в другую плоскость, т. е. из противопоставления по вертикали «древние (индоевропейские) языки: новые (индоевропейские) языки» в противопоставление по горизонтали: «индоевропейские языки: неиндоевропейские языки».

Так, у Ф. Шлегеля мы находим наряду с флективными и.-е. языками описание языков «аффиксирующих» (агглютинативных) — к ним он относит тюркские и семитские языки [11, с. 48]⁵. Показательно, что Ф. Шлегель, иллюстрируя принцип агглютинации на материале современных тюркских языков, привлекает факты современного арабского [11, с. 48].

А. Шлегель, переработавший типологическую классификацию брата, ввел в типологическое употребление понятие «языков без какой бы то ни было грамматической структуры», т. е. изолирующих (китайский)⁶. Кроме того, он значительно расширил круг агглютинативных языков, отнеся к этому классу помимо тюркских еще и языки американских индейцев, баскский и некоторые другие [14, с. 224—225].

В. Гумбольдт, обладавший поистине необычным для своего времени лингво-типологическим кругозором, считал америндейские и палеоазиатские языки отдельным классом — «инкорпорирующим». Таким об-

⁵ Ср. определение последних как «флективно-агглютинативных» [12, с. 154].

⁶ Напомним, что в настоящее время положение об аморфности слова в китайском языке большинством лингвистов отвергается (см. [13, с. 141]).

разом, было выделено то количество морфологических типов, которое в основном существует в типологической практике до настоящего времени ⁷.

В работах более поздних исследователей разработка типологического материала шла главным образом по пути дальнейшей детализации описания конкретных языковых структур, что, в свою очередь, способствовало чрезвычайной дробности классификации. При таком подходе почти любой язык представлялось возможным выделить в особый класс. В результате Г. Штейнталь [16] и Ф. Финк [17] насчитывают по восемь языковых «типов», Ф. Мистели — шесть [18], а Э. Сепир — двадцать один [19].

В истории типологии бывали случаи, когда наблюдался процесс, противоположный отмеченному выше стремлению детализировать языковые «типы» (как, например, у Г. Штейнталья и Ф. Финка). Так, А. Шлейхер сознательно игнорировал структурное своеобразие инкорпорирующих языков, что давало возможность беспрепятственно вернуться к трехчленной схеме, навеянной гегельянской триадой (тезис — антитезис — синтез), а также натуралистическим пониманием языка как рождающегося, развивающегося и умирающего организма. Впрочем, по объему рассматриваемых языков А. Шлейхер ничем не уступал современникам: в свою априорную, заведомо «закрытую» схему он сумел «втиснуть» довольно большое число ранее не описывавшихся языков [20, с. 6—12]. Значительно позже трехчленная схема привлекла к себе внимание Н. Я. Марра, иллюстрировавшего на примере трех языковых типов стадии единого глоттогонического процесса [21, с. 52—55].

Если проанализировать конкретный состав языков, включаемых в типологические классификации всеми языковедами от Ф. Шлегеля до Ф. Финка, нетрудно убедиться, что некоторые из этих языков (санскрит, турецкий, китайский) прочно занимают свое место в схеме любого исследователя, в то время как другие (например, кавказские) четким типологическим статусом здесь не обладают ⁸. Причина такого положения заключается, по-видимому, в том, что далеко не все привлекаемые к описанию языки равноценны с типологической точки зрения. Действительно, санскрит (а в значительной мере и классические и.-е. языки) в силу своей относительной типологической однородности дают возможность понять, что такое флективность как определенная техника морфологического строя, пронизывающая все существо языковой системы. Свообразие флективного строя становилось для исследователя особенно очевидным при сопоставлении этого строя со вторым членом контрастной пары — древним литературным китайским. Принцип агглютинации хорошо иллюстрировался на примере такого языка, как турецкий, воплощающего в себе также совершенно своеобразный морфологический тип. Несводимыми ни к какому другому типу представлялись исследователю языки американских индейцев, последовательно проводящие принцип полисинтетизма.

Все названные языки обладали именно тем качеством «обобщенности» и «репрезентативности», которое (как уже говорилось) составляет непре-

⁷ К четырехчленной классификации (вероятно, даже раньше В. Гумбольдта) пришел А. Дюпонсо в одной из малоизвестных работ по языкам американских индейцев. Языковые классы у него обозначаются синтаксическими терминами: «асинтаксический» (= изолирующий), «аналитический» (= агглютинативный), «синтетический» (= флективный) и «синтаксический», или «полисинтетический» (= инкорпорирующий) у В. Гумбольдта (цит. по [16, с. 13]). К сожалению, эта статья (1819 г.) не привлекла к себе должного внимания современников — ее упоминает мимоходом только Г. Штейнталь. Нам она тоже осталась недоступна.

⁸ Кавказские языки практически отсутствуют в схемах типологов XIX в. Лишь Ф. Финк рассматривает грузинский язык в числе своих восьми типов.

менный атрибут понятия «языковой тип». Напротив, языки типа кавказских («агглютинативные с явлениями флективности... и полисинтетизма...») [22, с. 64] в силу своей очевидной типологической неоднородности таким свойством не обладают. Поэтому их включение в типологическое описание в достаточной мере факультативно и либо преследует чисто классификационные цели, либо предполагает характерологическое описание данных языков (например, соотношение всех трех типологических компонентов на различных уровнях системы отдельного языка или группы языков).

В типологической теории XIX в. каждый конкретный тип языковой структуры представляется как бы закрепленным за определенной генетической группой языков, строго локализованной ареально: и.е. языки выступают единственными представителями языков флективных, китайский (и родственные ему) воспринимаются как эталон изолирующего строя, америндейские и палеоазиатские воплощают идею полисинтетизма. При такой строгой ареально-генетической закреплённости языковой структуры за группой родственных языков не может возникнуть представления о повторяемости языкового типа, т. е. о потенциальной способности его появления в любое время и в любом месте. Единственный вид языкового строя, могущий создать у исследователя впечатление безусловной повторяемости (в первую очередь, в силу значительной территориальной разбросанности), — это агглютинативный тип, как известно, самый распространенный вид языковой структуры.

Только способность теоретически оторвать набор специфических характеристик от генетически связанной языковой общности и затем спроецировать этот набор признаков на другой, родственно не связанный с данной общностью язык, открывала возможность осмыслить проецируемые характеристики как один из способов реализации человеческого языка вообще. Например, изучив характерные черты тюркских языков и осмыслив их как непеременные признаки строя, организованного по агглютинативной схеме (основа + цепочка аффиксов), исследователь мог убедиться в безусловном типологическом сходстве этих языков с языками финно-угорскими, в которых при наличии аналогичной структурной схемы имелись те же основные характеристики. Оставалось только объединить обе языковые семьи общим понятием агглютинативного типа.

Лишь совершив эту мыслительную операцию, исследователь способен был произвести качественный теоретический переход от частносистемной типологии к цельносистемной. В противном случае типология была обречена на то, чтобы остаться на уровне традиционной классификации. Этот качественный переход нашел свое воплощение значительно позже в «типологических конструктах», иерархически организованных идеальных построениях, каждое из которых состоит из типообразующего признака и комбинации имплицативно связанных с этим признаком характеристик⁹.

Идея имплицативной связанности признаков имеет принципиальное значение для развития типологической теории, поскольку только на основании учета имплицативных связей признаков можно построить логически непротиворечивые абстрактные эталоны сравнения — языковые типы¹⁰.

Можно предполагать, что уже В. Гумбольдт осознавал реальность существования межуровневых имплицативных связей. Он, в частности, отмечает взаимообусловленность моносиллабизма (в китайском языке)

⁹ Подробнее о типологической концепции В. Скалички см. в нашей работе [8, с. 218—219].

¹⁰ О различных значениях понятия «тип языка» см. [8, с. 208—211].

с наличием тонового варьирования [23, с. 264], связь флексии со свободным порядком слов [22, с. 126, с. 145]. Показательно, что В. Гумбольдт рассматривает подобные зависимости скорее как свойственные вообще изолирующему и флективному типам соответственно, нежели как связи признаков конкретно в китайском языке и санскрите. Отдельные попытки сформулировать имплицативные зависимости одних типологических черт от других предпринимались позже Ф. Мистели. Характерно, что исследователь нередко абстрагируется от традиционного отождествления понятия типа с понятием типологического класса. По его наблюдениям, инкорпорация связана со слабым развитием падежей и придаточных предложений [16, с. 135], с наличием отдельных лексем для выражения действий, совершаемых разным способом или направленных на различные объекты [16, с. 152]; с моносиллабизмом связаны: слабая выраженность частей речи, твердый порядок слов, тоновое варьирование [16, с. 205]. Примеры можно было бы умножить (ср. [8, с. 214]).

Однако если в работах В. Гумбольдта и Ф. Мистели разработка имплицативных связей признаков не носила системного характера, а ограничивалась отдельными замечаниями и догадками, то лингвисты Пражской школы положили принцип взаимообусловленности языковых явлений в основу построения типологии. В концепции типологических конструкций В. Скалички был осуществлен синтез всего комплекса теоретических (главным образом интуитивных) достижений предыдущего этапа развития типологии. Сюда входят: 1) данные, полученные эмпирически в рамках традиционной морфологической классификации; 2) тезис о системном характере языка (В. Гумбольдт, Г. фон Габеленц [24]¹¹, И. А. Бодуэн де Куртенэ [25]); 3) понимание типа как предельной степени развития определенной тенденции, не способной в полной мере быть реализованной в естественных языках (В. Гумбольдт), и связанный с таким пониманием принцип приближенности конкретного языка к своему идеалу — экстремуму (В. Гумбольдт — Ф. Финк).

Из теоретических достижений собственно Пражской школы В. Скаличка использовал: 1) метод характерологического описания языков (В. Матезиус [26]); 2) тезис Р. Якобсона о существовании имплицативных связей между языковыми явлениями [27]; 3) теорию В. Матезиуса о «потенциальности» языковых явлений [28]. При разработке своих типологических конструкций В. Скаличка учел все виды типологического описания (типологию подсистем, характерологию, сопоставительную лингвистику). Однако в отличие от многочисленных предшественников В. Скаличка не остановился на том этапе, на котором остались типологи-классификаторы. Он внес в типологическую теорию недостающий компонент, без которого она не могла стать подлинно системной, — логически непротиворечивый и никогда полностью не реализуемый в естественных языках абстрактный эталон сравнения — типологический конструкт.

Первое практическое воплощение идея взаимосвязей языковой системы — правда, на примере одного уровня — получила в уже упоминавшейся работе Р. Якобсона. Он установил следующие закономерности фоноло-

¹¹ «Создается впечатление, — пишет Г. фон Габеленц, — что в языке некоторые черты играют более определяющую роль, чем другие. Эти черты следует выявить с тем, чтобы разбраться, какие другие признаки регулярно с ними соотносятся. Я имею в виду свойства построения слов и предложений, выраженность одних грамматических категорий и невыраженность других. Похоже, что все это каким-то образом связано с фонетикой» [24, с. 481].

гических корреляций, имеющие вид логических импликаций: 1) если в языке есть А, то есть и В; напротив, если нет В, то нет и А; 2) если есть А, то нет В; следовательно, если есть В, то нет А [27, с. 17]¹².

В. Скаличка вносит существенную поправку в тезис Р. Якобсона и вместо строгой двузначной импликации в духе бинарной логики постулирует существование «потенциальных» отношений взаимозависимости: если в языке есть явление А, то наличие в нем явления В вероятнее, чем в языке, не имеющем А (например, при наличии в языке правила «одно окончание для каждой словоформы» в нем можно предположить существование согласования и свободного порядка слов — флективный тип). В языке, где правилом является схема основа + цепочка формальных элементов (агглютинативный тип), согласования и свободного порядка слов ожидать не приходится.

Уже в своей первой работе, посвященной сопоставительному описанию четырех языков (венгерского, финского, турецкого, чешского), В. Скаличка попытался вывести ряд импликаций, свойственных агглютинации как приему (т. е. как типу в языке). Сопоставление указанных языков было необходимо исследователю для того, чтобы выявить и затем проверить на материале этих языков обязательный набор признаков, сопровождающих агглютинативную технику. Ясно прослеживается его методологическая установка — обнаружить причинно-следственные связи и естественную иерархию разноуровневых (главным образом морфонологических) свойств [29]¹³. В этой работе В. Скаличка дает определение типа, которое с незначительными вариациями будет повторяться в его последующих типологических работах: тип — это редко (или никогда не) реализуемое предельное состояние (экстремум), в котором наиболее сильно развиты взаимоблагоприятствующие явления [29, с. 119].

В. Скаличка резюмирует свои наблюдения над особенностями сопоставляемых языков с тем, чтобы сопоставить в результате уже не собственно языки, а пучки взаимообусловленных явлений, составляющих характеристику агглютинативного строя (на примере наиболее выдержанного типологически языка — турецкого) и флективного (характеристики которого иллюстрируются чешским языком). Ему удается логически обосновать закономерность наличия при агглютинативной модели таких явлений, как вероятность сингармонизма, слабое развитие омосемии и омонимии, отсутствие флексии; слабая дифференциация словообразовательных аффиксов и окончаний, а также слабое различие глагольных и именных окончаний. Столь же органично со слабым развитием приема агглютинации связаны такие структурные свойства, как возможность предельно кратких сем, их ограниченная слоговая самостоятельность, распространенность омонимии и омосемии, наличие флексии, четкая диф-

¹² Уже у В. фон Габеленца мы находим указание на возможность предсказывать наличие одних явлений по наличию других. «Как выигрышно было бы для науки, — пишет он, — если бы мы смогли сказать языку: „Поскольку ты обладаешь этой особенностью, можно предсказать в тебе наличие таких-то свойств и такого-то общего характера“». Кстати, ученый предлагает название для лингвистической дисциплины, которая должна заниматься исследованием взаимосвязей между языковыми явлениями: «Если бы предстояло выбрать имя еще не родившемуся ребенку, то я бы предложил имя т и п о л о г и я» [24, с. 481]. По-видимому, это первое употребление термина «типология» в современном понимании.

¹³ О разграничении связей сосуществования (действующих при выключенном времени) и причинно-следственных связей (действующих при включенном времени) см. в работе Ю. С. Степанова [30, с. 111—112]. П. Рамат говорит об отношениях «корреляции» и отношениях «зависимости» между языковыми явлениями [31, с. 24].

ференциация словообразовательных аффиксов и окончаний, глагольных и именных окончаний и т. д. [29, с. 114—117]. В этой же работе В. Скаличка приводит некоторые наблюдения, касающиеся полисинтетизма и изоляции как других возможных приемов языковой техники. Впрочем, здесь эти приемы интересуют его больше с точки зрения способности комбинироваться с агглютинацией и флексией. Позднее В. Скаличка использует (и совершенствует) свои типологические методы при описании ряда конкретных языков: чешского [31], банту [32], разговорного китайского [33].

Впервые целостное описание грамматических систем пяти типов — изолирующего, агглютинирующего, флектирующего, интрофлексивного и полисинтетического В. Скаличка предлагает в работе [34]. Описание выполнено с чисто характерологических позиций: почти полностью отсутствует элемент сопоставительного описания. Автор уделяет больше всего внимания существительному (около 10 признаков), глаголу (3—5 признаков), прилагательному (2—5 признаков). Вскользь охарактеризованы наречия, числительные, местоимения, дано некоторое представление о синтаксическом строе.

К сожалению, в данной работе В. Скаличка подробно остановился только на описании трех первых типов — два остальных (интрофлексивный, иллюстрируемый арабским, и полисинтетический — китайским) по не вполне понятным причинам очерчены весьма схематично¹⁴. Кроме того, не совсем удачным представляется выбор французского языка как «*mag-kante Sprache*» для изолирующего типа и китайского языка — для иллюстрации полисинтетического типа. Такой подход (оправданный, может быть, с чисто структурной точки зрения) неправомерно лишает эти языки исторической конкретности¹⁵. Нацеленность работы на характерологическое описание не позволила В. Скаличке продолжить исследование взаимосвязи между отдельными структурными свойствами и явилась причиной того, что многие плодотворные мысли, высказанные им в предыдущих публикациях, остались без дальнейшей разработки.

Проблема взаимообусловленности языковых явлений была рассмотрена В. Скаличкой в его работе 1966 г. Он исходит из того, что непоследовательности, обусловленные политипологичностью любого языка, не дают возможности составить адекватное представление о языковом типе. Тип лишь в том случае будет соответствовать своему определению, если он будет полностью освобожден от свойств, не укладывающихся в рамки строго детерминированного набора характеристик. Придать построению такую детерминированность могут лишь признаки, составляющие его, но только при условии, что они взаимно поддерживаются друг другом. Такая комбинация признаков будет называться уже не типом, а т и п о л о г и ч е с к и м к о н с т р у к т о м.

¹⁴ Преимущественное внимание В. Скалички к агглютинативному, изолирующему и флексивному типам (своего рода возвращение к трехчленной схеме) объясняется, по-видимому, тем, что автор признает относительно большую выдержанность этих типов, не свойственную, по его мнению, двум остальным типам. Действительно, едва ли можно представить себе язык, проводящий без ограничения тенденцию к интрофлексивности или полисинтетизму.

¹⁵ На это справедливо указывал Н. Н. Коротков [35, с. 26—31]. О типологических различиях между английским и китайским языками см. также у Н. В. Солнцевой, В. М. Солнцева [36, с. 83—86].

Конструкт агглютинативного типа:

1) Основной признак — имеется корень, к которому присоединяются формальные элементы; таким образом, слово состоит из корня + нескольких аффиксов; формальных слов очень мало.

2) Следует из 1) ¹⁶ — отсутствуют части речи; любой аффикс присоединяется к любому корню (личные окончания — к существительным, падежные — к глаголам и т. д.).

3) Следует из 1 и 2) — словообразование осуществляется с помощью деривационных аффиксов; и грамматическое, и лексическое значения выражаются аффиксами.

4) (Следует из 3) — слабо противопоставляются словообразовательные аффиксы и окончания, они образуются одинаково.

5) (Следует из предыдущих — главным образом, по-видимому, из 1) ¹⁷ — слабо развиты а) синонимия и омонимия и б) слоговая самостоятельность.

6) Фиксированный порядок слов (связи не указаны — должно быть, из 2).

7) (Следует из 2) — отсутствуют придаточные предложения; множество инфинитивных, причастных, деепричастных конструкций, именных глагольных форм.

Конструкт флектирующего типа:

1) Основной признак — небольшое количество окончаний; обычно слово состоит из основы + одного окончания; любая лексема имеет окончание, выражающее его грамматическую форму.

2) (Следует из 1) — к каждому слову прибавляется окончание, выражающее основное грамматическое значение. У различных слов оно неодинаково. Таким образом, слова четко различаются по своим семантическим и синтаксическим свойствам.

3) (Следует из 1 и 2) — словообразование осуществляется путем перевода слов в другой класс (например, изменением его рода).

4) Четко противопоставляются окончания и деривационные аффиксы; аффиксов немного или может вообще не быть (связи не указаны — должно быть, из 3)

5) (Следует из 1) — окончание может: а) не иметь самостоятельного слога, б) совмещать несколько функций, в) быть в отношении синонимии и омонимии с другими окончаниями.

6) (Следует из 1 и 5) — свободный порядок слов.

7) (Следует из 2) — имеются придаточные предложения.

Конструкт изолирующего типа:

1) Основной признак — небольшое количество аффиксов (могут вовсе отсутствовать); слова одноморфемны, много формальных слов; семантический элемент сопровождается большим количеством недифференцированных формальных элементов.

2) (Следует из 1) — слабо дифференцируются части речи; широко представлена конверсия.

¹⁶ Импликативные связи, приводимые нами в скобках, у В. Скалички указаны в свободной форме без строгой формализации.

¹⁷ У В. Скалички указание на связи отсутствует, дополнено нами.

3) (Следует из 1) — отсутствуют словообразовательные аффиксы; словообразование осуществляется только с помощью различных лексем.

4) (Следует из 3) — в связи с отсутствием деривационных аффиксов отсутствует их противопоставление окончаниям (пустая клетка анкеты).

5) По фонематическим свойствам формальные элементы почти всегда совпадают с семантическими; и те, и другие являются самостоятельными словами, поэтому они односложны и находятся друг с другом в отношении синонимии и омонимии (связи не указаны; по-видимому, из 1).

6) (Следует из 1) — фиксированный порядок слов.

7) (Следует из 1) — сильно развиты придаточные предложения.

В схеме В. Скалички очевидно преобладание морфологических характеристик, тогда как синтаксис и фонология учтены в значительно меньшей мере¹⁸. Порядок подачи признаков предполагает наличие между ними естественной иерархии, поэтому основной признак является как бы детерминирующим для остальных или, во всяком случае, для большинства из них. Каждый последующий признак определяется предыдущим (или предыдущими), хотя нельзя сказать, чтобы сеть составляла безусловно выдержанную систему.

Желая уточнить характер взаимоотношений между признаками, и, в частности, понятие «взаимного благоприятствования», П. Сгалл предлагает различать две возможности: 1) «А благоприятно для Б» — отношения рефлексивны, асимметричны и транзитивны; 2) «А и Б взаимно благоприятны» — здесь возможны два варианта: а) каждая пара элементов благоприятствует друг другу или б) по крайней мере один из элементов в каждой паре может быть благоприятствующим для другого (только в случае 2а можно считать, что любое из свойств, образующих тип, действительно благоприятствует всем остальным).

Естественно, что такая возможность не может быть полностью реализована в данной типологической концепции, т. к. среди свойств, приводимых в списке, есть такие признаки, которые характеризуют сразу несколько типов (например, слабое различение частей речи в агглютинирующем, изолирующем и полисинтетическом типах). Следовательно, такое свойство не может считаться благоприятным для какого-либо другого признака, который был бы присущ исключительно одному из типов. Нельзя, например, постулировать, что неразличение частей речи способствует обилию вспомогательных слов, поскольку такое положение характерно не только для изолирующих языков, но и для агглютинативных (где вспомогательных слов почти нет). Однако противоположное справедливо — обилие аффиксов в агглютинативных языках и вспомогательных слов в языках изолирующих способствует плохой дифференциации частей речи.

Есть в приводимых списках такие признаки, которые нетрудно свести к другим признакам. Например, если учесть, что агглютинирующий тип характеризуется последовательным присоединением служебных элементов к лексической единице, излишне отмечать наличие в нем также притяжательных аффиксов. Согласование прилагательного с именем во флективном типе также можно рассматривать как частный случай реализации схемы «у каждой словоформы одно окончание».

Потенциально число признаков можно довести до одного — благоприятного для всех остальных признаков типа.

¹⁸ По мнению В. Скалички, фонология (за исключением комбинаторики и относительного преобладания гласных или согласных), а также лексика (кроме словообразования) прямо не соотносятся с общей типологией [37, с. 21].

Это основное свойство (своего рода детерминанта типа) должно, по-видимому, выражать отношения между семантическим (глубинным) уровнем и морфематической и формально-синтаксической поверхностными структурами отдельных языков. Логически допустимо лишь очень ограниченное число вариантов соотношения семантических и грамматических единиц. Это соотношение может передаваться:

1) с помощью четко организованной (грамматикализованной) последовательности семантических единиц — полисинтетический тип;

2) с помощью самостоятельных морфем (служебные слова имеют тот же статус, что и семантические элементы, т. е. равны словам) — изолирующий (аналитический) тип;

3) с помощью морфем, имеющих статус, отличный от статуса семантических единиц, и присоединяющихся к семантическим единицам — агглютинативный тип;

4) путем чередования (морфологических вариаций) в конце семантической единицы, которое обуславливает у каждой формы слова наличие одного окончания — флективный тип;

5) путем чередования внутренней части семантического элемента (за счет изменения гласных) — интрофлективный тип [39, с. 8—9].

Интересен формализованный вариант типологии В. Скалички, предлагаемый П. Сгаллом. Исследователь считает возможным свести подмножество признаков, составляющих определенный тип, к меньшему числу основополагающих характеристик (типобразующих признаков). Так, наличие деривационных аффиксов в агглютинативном конструкте автоматически выводится из схем «основа + цепочка аффиксов», свободный порядок слов во флективном конструкте обуславливается наличием схемы «у каждой словоформы одно окончание», использование композиции для словообразования в полисинтетическом конструкте следует из свойства «использование семантических элементов в грамматической функции» и т. д. [40, с. 121—123].

Наряду с типологией В. Скалички — П. Сгалла, вошедшей в золотой фонд типологической теории и практики, заслуживает внимания, на наш взгляд, не менее плодотворная (но не получившая столь же широкой известности)¹⁹ детерминантная типология Г. П. Мельникова.

Рассматривая язык как «самонастраивающуюся» систему, оптимизирующуюся по конкретной доминирующей тенденции (детерминанте), Г. П. Мельников считает, что в результате этой оптимизации «с х е м а в з а и м о с в я з е й компонентов системы... и выбор тех или иных с у б с т а н т н ы х характеристик... оказываются целесообразно взаимно подогнанными, приспособленными, в результате чего каждой из конкретных детерминант соответствует вариант системы с вполне у н и к а л ь н о й разновидностью структуры» [42, с. 129—130].

Г. П. Мельников подошел к выведению и формулировке детерминанты для каждого из традиционных морфологических типов методом индукции, справедливо считая, что чем глубже мы проникнем в характер конкретного языка, тем легче нам удастся выявить общую причину целого ряда следствий — языковую детерминанту. В результате для изолирующего типа («лексикологические языки», по Соссюру) детерминанта была определена как «стремление к максимальной лексикализации» или, если идти

¹⁹ В зарубежных работах по теории и истории типологии концепция Г. П. Мельникова упоминается незаслуженно редко (например, в [41, с. 62], впрочем, и здесь довольно бегло).

от противного, «тенденция к минимальной производности корней». Наиболее подробно «идеальный изолирующий тип» со всеми признаками, имплицитруемыми данной детерминантой, описан в [43, с. 362—365].

Языки «интрофлексивные» (семитские), по наблюдениям Г. П. Мельникова, характеризуются прямо противоположной тенденцией — «стремлением к максимальной производности корней» (по Соссюру, «языки грамматические»; см. их описание с позиций детерминантной типологии в [44—46]). Языки агглютинативного типа (тюркские) имеют в качестве детерминанты «принцип экономии служебных элементов» [47—49]. Ведущей тенденцией языков флексивного типа является, считает Г. П. Мельников, «принцип экономного выражения служебных значений», другими словами, в служебных элементах здесь диффузно представлены и дериационные, и реляционные значения [42, с. 137]. Исследователь не обходит вниманием и полисинтетический тип языков. По его мнению, полисинтетический комплекс — это не просто сложное слово, а цепочка нескольких предикативных ядер, т. е. цепочка предложений, правда, значительно более абстрактных, чем предложения в других типах. В качестве существенной черты данного типа он приводит «относительно высокую, но качественно одинаковую абстрактность морфем», что ведет к многоядерности высказывания (об импликациях такой детерминанты см. [50, с. 588—590]).

Итак, подведем некоторые итоги. Из всех рассмотренных нами типологических концепций на право называться цельносистемными, по-видимому, могут претендовать лишь типология конструктов Скалички-Сгалла и концепция идеальных типов Г. П. Мельникова.

В теоретическом отношении обе концепции роднит целый ряд общих черт: а) в том и другом случае мы имеем дело действительно с цельносистемной типологией, не остановившейся на этапе характерологии и контрастивной лингвистики; б) очевидно преимущественное стремление создателей обеих концепций к решению типологических, а не только классификационных задач; в) обе концепции предполагают оперирование абстрактными построениями, понимаемыми как комбинация взаимообусловленных иерархически организованных разноуровневых признаков, соотносимая с конкретным типологическим классом.

Однако в ряде существенных пунктов теория конструктов и концепция идеальных типов отличаются друг от друга — особенно это касается методики исследования.

Как мы видели, пражские лингвисты используют «анкетную» форму экспликации признаков, в результате чего всему построению сообщается некоторая искусственность, схематичность; при таком подходе неизбежны «пустые клетки», тавтология, возможна малая информативность конструкта (ср., например, конструкты интрофлексивного и полисинтетического типов), предполагается также исходная ограниченность признаков. Импликации типа основываются здесь преимущественно на логических умозаключениях, они не всегда поддаются верификации. Все исследование предстает как бы ориентированным на теорию (*theoriebezogen*).

Концепция Г. П. Мельникова, напротив, ориентирована на объект (*objektbezogen*), описание дается как бы «изнутри»: исходно неограниченные уровнево и количественно признаки предстают в своей естественной иерархии. Импликации легко верифицируются, так как они явно выводятся из детерминанты и получают таким образом глубинное обоснование. Все признаки одинаково релевантны, их набор от типа к типу разный, между ними не существует строгих отношений «субординации» (например,

уровень фонологии может давать рефлекс непосредственно на уровне морфологии, а не только наоборот).

Еще одно весьма существенное различие между концепциями заключается в том, что несмотря на то, что оба исследователя стремятся к выявлению взаимосвязей между признаками, понимание этих связей у них неодинаковое. В. Скаличка, идя от структуры, исследует связи сосуществования, т. е. ограничивается комбинаторикой («взаимоблагоприятствованием»), тогда как Г. П. Мельников (идя от системы) ориентируется на вскрытие причинно-следственных связей, что позволяет в конечном счете показать внутреннюю динамику типа.

Последнее качество сообщает детерминантной типологии большую объяснительную силу. Благодаря выявлению детерминанты и прослеживанию ее закономерных импликаций такой подход может дать исчерпывающую «характерологию типа». Не исключено, что с точки зрения типологической теории, концепция выиграла бы от введения сопоставительного аспекта, а также некоторой формализации описания по примеру пражских типологов.

Представляется, что дальнейший путь типологической теории будет пролегать через преодоление неизбежных ограничений обеих охарактеризованных выше цельносистемных концепций, являющихся одинаково правомерными (в чем-то альтернативными, а в чем-то дополняющими друг друга) попытками приблизиться «к тому, что можно назвать проблемой природы языка» (Л. Ельмслев).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Серебренников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
2. *Ярцева В. Н.* К определению понятия «языковой тип» // Лингвистическая типология. М., 1985.
3. *Солнцев В. М.* Типология и тип языка // ВЯ. 1978. № 2.
4. *Климов Г. А.* Принципы континентальной типологии. М., 1983.
5. *Успенский Б. А.* Структурная типология языков. М., 1965.
6. *Рожественский Ю. В.* Типология слова. М., 1969.
7. *Ярцева В. Н.* Контрастивная грамматика. М., 1981.
8. *Родионов В. А.* «Тип языка», «типовой признак» (Эволюция понятий лингвистической типологии) // ИАН СЛЯ. 1987. № 3.
9. *Кацнельсон С. Д.* Лингвистическая типология // ВЯ. 1983. № 4.
10. *Smith A.* Considerations concerning the first formation of languages and different genius of original and compounded languages // The early writings of A. Smith. N. Y., 1967.
11. *Schlegel F.* Über die Sprache und Weisheit der Indier. Heidelberg, 1808.
12. *Фортунатов Ф. Ф.* Сравнительное языковедение // *Фортунатов Ф. Ф.* Избр. тр. Т. I. М., 1956.
13. *Солнцева Н. В.* Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.
14. *Schlegel A.* Observations sur la langue et la littérature provençale. P., 1818.
15. *Steinthal H.* Die Classification der Sprachen, dargestellt als die Entwicklung der Sprachidee. Berlin, 1850.
16. *Steinthal H.* Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. Berlin, 1860.
17. *Finck F. N.* Die Haupttypen des Sprachbaus. Leipzig, 1921.
18. *Mistel F.* Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. Berlin, 1893.
19. *Sapir E.* Language. An introduction to the study of speech. N. Y., 1921.
20. *Schleicher A.* Zur vergleichenden Sprachgeschichte. Bonn, 1848.
21. *Март Н. Я.* Яфетическая теория. Программа общего курса учения об языке. Баку, 1923.
22. Структурные общности кавказских языков / Под ред. Климова Г. А. М., 1987.
23. *Гумбольдт В.* О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества / *Гумбольдт В.* Избр. тр. по языкознанию. М., 1984.
24. *Gabelentz G. von.* Die Sprachwissenschaft: Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse // *Tübinger Beiträge zur Linguistik.* 1969. № 1.

25. *Boduэн де Куртене И. А.* О задачах языкознания // *Бодуэн де Куртене И. А.* Избр. тр. по общему языкознанию. Т. I. М., 1963.
26. *Mathesius V.* On linguistic characterology // *Actes du 1-er Congrès international des linguistes à la Haye.* Leiden, 1930.
27. *Jakobson R.* Remarques sur l'évolution phonologique du russe // *TCLP.* 1929. 2.
28. *Mathesius V.* On potentiality of the phenomena of language // *A Prague school reader in linguistics* / Ed. by Vachek J. Bloomington, 1964.
29. *Skalička V.* Zur ungarischen Grammatik // *Skalička V.* Typologische Studien. Braunschweig — Wiesbaden, 1979.
30. *Степанов Ю. С.* Принцип детерминизма в современном языкознании // *Ленинизм и теоретические проблемы языкознания.* М., 1970.
31. *Ramat P.* *Linguistica tipologica.* Bologna, 1984.
32. *Skalička V.* Die Entwicklung der tschechischen Deklination // *Skalička V.* Typologische Studien. Braunschweig — Wiesbaden, 1979.
33. *Skalička V.* Über die Typologie der Bantusprachen // *Skalička V.* Typologische Studien. Braunschweig — Wiesbaden, 1979.
34. *Skalička V.* Das Erscheinungsbild der Sprachtypen // *Skalička V.* Typologische Studien. Braunschweig — Wiesbaden, 1979.
35. *Коротков М. Н.* Основные особенности морфологического строя китайского языка (Грамматическая природа словаря). М., 1968.
36. *Солнцева Н. В., Солнцева В. М.* Анализ и аналитизм // *Аналитические конструкции в языках различных типов.* М.—Л., 1965.
37. *Skalička V.* Konstrukt-orientierte Typologie // *Linguistica generalia.* 1. Studies in linguistic typology. Prague, 1977.
38. *Skalička V.* Ein «typologisches Konstrukt» // *TCP.* 1966. 2.
39. *Sgall P.* Die Sprachtypologie Skaličkas // *Skalička V.* Typologische Studien. Braunschweig — Wiesbaden, 1979.
40. *Sgall P.* Die Sprachtypen in der klassischen und der neueren Typologie // *Linguistics.* 1975. V. 144.
41. *Ineichen G.* *Allgemeine Sprachtypologie.* München, 1979.

ПАНОВ М. В.

ЛИНГВИСТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА

В нашей отечественной культурной традиции лингвистика и методика преподавания языка всегда были союзники. Нет ни одного крупного языковеда-русиста, который не заботился бы о нуждах учителя и ученика. С другой стороны, все авторитетные деятели педагогики, преподаватели русского языка, видели в лингвистике свою надежную и желанную опору. В наше время заметны черты более глубокого сотрудничества этих наук. Они сейчас проявляются робко, изредка; но эти новые, более тесные формы взаимодействия двух наук заслуживают поддержки; они, вероятно, будут постепенно усиливаться. О них у нас и пойдет речь.

Материалом статьи является опыт преподавания русского языка в национальной (нерусской) школе. Именно здесь новые черты проявляются, пожалуй, наиболее ярко.

Меняется время — меняются возможности и цели обучения. В 20-е, в 30-е годы, когда для национальной школы не хватало квалифицированных учителей, не было учебников, а методика обучения русскому языку детей разных народов делала первые шаги, — в эту эпоху задачи школы были поневоле скромными.

В 50-е, в 60-е годы и особенно в наше время положение изменилось. Решено и записано в авторитетных документах, что ученики, кончая среднюю школу, должны свободно владеть русским языком (см. [1]). Изменились педагогические задачи — необходимо пересмотреть лингвистические основы обучения.

Школьная практика 20-х годов опиралась на определенную лингвистическую теорию. В области произношения это была фонология, представленная в трудах Л. В. Щербы и его последователей. Л. В. Щерба писал: «...коверкание произношения не только комично, но иногда ведет к непониманию или по крайней мере к замедленному пониманию речи. ...Если какой-нибудь иностранец будет выговаривать *шяр, шляпка, Шюра, Машя*, то это будет только смешно; если же он скажет *стол* вместо *столь* (как это нормально для всякого англичанина)..., то это будет уже нарушение смысла». И далее: «Я предлагаю называть ошибки первого типа... **фонетическими**, а вторые — **звукословными**, или **фонологическими**» [2]. Фонологические ошибки нетерпимы в речи; с фонетическими можно мириться — вот вывод Щербы. Иначе говоря: важны только различительные признаки звуковых единиц.

Эти рекомендации прились ко времени и поэтому оказали большое влияние на школьную практику. При этом даже они показались слишком строгими, и методисты их еще и «разносили», сделали более вольными. Так, видный методист А. А. Горцевский, следуя за Щербой (несколько, впрочем, поодаль), считал, что в национальной школе важно научить

только различительным элементам русского произношения. В эвенкийском языке нет противопоставления согласных [т'] — [ч'], поэтому эвенки смешивают слова, которые отличаются этими звуками. Следовательно, надо особенно тщательно учить детей правильно произносить слова *вечер* — *ветер*, *вылечит* — *вылетит*; *чашка* — *тяжко*, *чем* — *тем* и т. д. Если же ошибка не ведет к совпадению двух слов, то она терпима, рассуждал А. А. Горцевский [3]. Здесь методист идет дальше, чем позволяла теория Щербы.

Но в какой-то степени такое расширенное толкование подсказывалось взглядами Л. В. Щербы. Если важно одно: различать слова, то любое их коверканье терпимо, лишь бы все-таки можно было понять, что произносится.

На таком уровне фонология враждебна орфоэпии: *шяр* и *Шюра* получают «проходной балл». Первую попытку снять эту конфронтацию культуры речи и фонологии сделал С. И. Бернштейн. Он на нескольких примерах показал, что есть случаи, когда неразличительные особенности звуков непременно должны воспроизводиться в речи [4].

Решительный отход от этой конфронтации совершен в трудах А. А. Реформатского. Он писал: «Для того, чтобы точнее регулировать изучение произношения чужого языка и систематически планировать обучение произношения, фонологический аспект должен в методике занять ведущее положение. Фонология может дать правильный ориентир при разработке методов и приемов обучения произношения, при выборе последовательности распределения учебного материала, при отборе упражнений и примеров» [5]. Как видим, в задачи фонологии не входит разделение звуковых признаков на достойные усвоения, различительные, и недостойные, неразличительные. Более того, А. А. Реформатский настаивает на том, чтобы и те признаки звуков, которые вызваны позицией, следовательно — неразличительные, непременно были предметом обучения: «Несоблюдение редукции безударных гласных или отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова или перед глухими согласными — резкое нарушение русских произносительных норм, стоящее наряду с... неразличением [л] твердого и [л'] мягкого» [6]. Позиционно обусловленные черты звука поставлены в ряд с теми, которые всегда позиционно независимы (мягкость и твердость боковых), всегда, следовательно, различительны в русском языке.

Это высказывание А. А. Реформатского полемично по отношению к установкам Л. В. Щербы. Л. В. Щерба для случая, когда необходимо различение звуков и их признаков, взял пример (см. цитату выше) с боковыми [л] и [л'] — очень удачный, так как эти парные согласные, и только они, всегда имеют различительную твердость и мягкость, и этому примеру резко противопоставил случай с неразличительными признаками звуков. А. А. Реформатский берет те же [л] и [л'] и в ряд с ними ставит — не в контраст, а в подобие — позиционно вызванные различия, явно неразличительные.

Но если это так, то в самой фонологической теории надо сделать какие-то коррективы. Методика зовет к пересмотру тех положений фонологии, которые мешают заниматься орфоэпией.

В самой теории фоном обнаружались внутренние напряжения. Принято считать, что признак приобретает высокий статус дифференциального (различительного), если он для определенного звука в определенной позиции является единственным отличием от другого звука в той же позиции. Так, у [т] в сильной позиции есть различительные признаки:

глухой (ср. *том — дом*), твердость (ср. *том — тёмный*), взрывной характер артикуляции (ср. *том — сом*), зубной характер артикуляции (ср. *том — ком*).

Но есть случаи, когда, применяя обычную методику, приходится все признаки звука считать неразличительными, что, конечно, абсурдно. Так, у [ч': 1) Мягкость — неразличительный признак: в одной позиции не различаются [ч'] и [ч]. Твердый согласный [ч] — в русском языке только перед [ш] (*лучше*), но здесь невозможен [ч']. 2) Способ артикуляции — неразличительный признак: «ближайший» согласный [ш:] отличается двумя признаками — не только способом артикуляции, но и длительностью. 3) Место артикуляции — неразличительный признак: у [ц] не одно, а два отличия от [ч']. Другие звуки — еще дальше от [ч']. 4) Глухость неразличительна... Итак, согласный [ч'] существует без различительных признаков. Обычная процедура определения дифференциальных признаков ведет в тупик.

Очевидно, неправилен сам путь: отсекают как несущественные некоторые орфоэпически узаконенные признаки, т. е.: выделять различительный *костяк* звука — и все помимо костяка считать безразличным наполнителем. Не испытать ли другой путь? Вместо того, чтобы вычитать из звука признаки, будто бы несущественные, не суммировать ли и не соединять ли в блоки, в различительные комплексы? Например, так. Сравним [ч'] и [ц]: отличие — в месте артикуляции и твердости — мягкости. Считаем у [ч'] различительным *к о м п л е к с н ы й* признак «передненебность + + мягкость». Сравним [ч'] и [ш]; находим другой комплексный признак у [ч'] — «глухость — аффрикативность + недлительность». Итак, [ч'] состоит из двух функциональных признаков: (передненебный мягкий) + + (глухой аффрикативный недлительный). Операция собирания признаков в функциональные комплексы нуждается в разработке, но общее направление поисков как будто выяснилось.

Этот шаг в разработке фонологической теории стимулирован и подсказан потребностями методики обучения русскому языку. Вспомним, что исходные высказывания и С. И. Бернштейна, и А. А. Реформатского были сделаны именно в их методических статьях и цель этих высказываний — поиски рациональных основ преподавания. Сама необходимость снять напряженные отношения между фонологией и орфоэпией обнаружилась прежде всего в методике.

Однако нужно здесь же подчеркнуть, что методика лишь тогда стимулирует развитие языковедческой мысли, когда в самой лингвистике есть основания для ее самодвижения, внутреннего обогащения. Выше было показано, что фонология остановилась в недоумении перед некоторыми фактами — и возникла необходимость их истолковать. Действовали, следовательно, две силы: само развитие лингвистической теории и требования методики, с ее практическими и теоретическими нуждами.

Это еще более, пожалуй, заметно на развитии теории интонации. В 40-х годах в фонетических лабораториях появились приборы, способные поймать интонацию, нарисовать ее изменчивый облик. Фонетисты упивались возможностью уловить тончайшие изгибы интонационных кривых, каждое их коленце подвергнуть многократному анализу. Стали появляться работы, посвященные интонации отдельных грамматических конструкций. Чуть ли не у каждого типа придаточных предложений была обнаружена особая интонационная природа. Вся мелодическая система русской речи получила неправдоподобно сложный и недоступный для усвоения характер.

Наслаждаясь своей властью над интонацией, исследователи фиксировали все: необходимые признаки наряду с факультативными, индивидуальные рядом с типическими, различительные вместе с неразличительными.

И от теории русского языка, и от практики его преподавания нерусским учащимся шел призыв: найти возможность по-другому, более компактно и просто, охарактеризовать русскую интонацию, — исходя из ее коммуникативной функции. И если лингвистическая теория могла не торопиться, то ежедневная преподавательская практика требовала быстрейшего решения мучительных затруднений, возникающих в работе.

Решение было найдено в теории Е. А. Брызгуновой [7—9]. Эта теория ориентирована не на максимум, а на минимум различий. Был определен набор интонационных типов, достаточных для коммуникативно ясной и орфоэпически полноценной речи. Такая установка направляла внимание на различительные признаки, но не в отрыве от орфоэпических требований, а в союзе с ними. Например, монотония — распространенный орфоэпический недостаток речи. Е. А. Брызгунова в своих работах уделяет этому внимание. Сказано о том, что интонационные конструкции (ИК) — ИК-3 и ИК-4 в ряде случаев синонимичны, и их надо использовать для того, чтобы разбить речевую монотонию. И это принцип: фонологию не ссорить с орфоэпией.

С работ Е. А. Брызгуновой начался фонологический этап в развитии интонационной теории. С другой стороны, эти работы были прямым ответом на требования методики преподавания. Оттого-то эта теория сразу пошла в практику: широко используется в вузах, а в настоящее время завоевывает нашу национальную школу¹.

В XIX веке и в первой трети нашего века трудно, вероятно, даже невозможно найти исследования, которые были бы созданы «по заказу» одновременно и лингвистики, и педагогики — на перекрестке этих двух наук. Лингвисты были внимательны к педагогической практике, приспособляли свои теории к нуждам учения, но по требованию педагогики своих не теорий не создавали.

Иногда методика преподавания выступает в качестве арбитра, помогающего решить вопрос о подлинной ценности лингвистической теории. С помощью методики происходит как бы госприемка того или иного построения лингвистов. Это особенно важно, когда теория является дискуссионной.

Р. О. Якобсон высказал предположение, что падежные значения в русском языке дискретны. Падежные значения можно свести к трем парам противоположных грамматических признаков: направленность — ненаправленность, объемность — необъемность, окраинность — неокраинность [10, с. 179—180].

Падежи винительный, родительный, дательный, изъяснительный включают в свое значение признак направленности. Они называют объект, на который направлено действие. Остальные падежи включают признак ненаправленности.

Падежи родительный и оба предложных включают признак объемности. Они называют объект, который в полной степени охвачен действием. Остальные падежи включают признак необъемности, они не указывают, что действие вполне охватило объект. (Вспомним пример из школьных учебников: *налил воду — налил воды.*)

¹ Например, в современных учебниках по русскому языку для башкирской школы (4—5 классы) дается представление о четырех важнейших интонационных конструкциях: ИК-1 — ИК-4.

Падежи именительный, родительный, винительный включают в свое значение признак неокраинности (непериферийности). Они называют такой предмет — лицо, которое не может быть устранено из сообщения; предложение без этих падежных форм обесмысливается. (Примеры: *колокольчик зазвонил, отсыпал овса, дал кусок сахара/сахару.*) Остальные падежи окраинны.

Представим это в виде таблицы:

	1	2	3
И	—	—	—
Р	+	+	—
Д	+	—	+
В	+	—	—
Т	—	—	+
П ¹	+	+	+
П ²	—	+	+

Здесь первый столбец (1) указывает признаки направленности (+) или ненаправленности (—); второй (2) — признаки объемности (+) или необъемности (—); третий (3) — признаки окраинности (+) или неокраинности (—).

Как видно из таблицы, предложный падеж разделен на два отдельных падежа: предложный первый (изъяснительный): *о ветре, о мёле, о снеге, о мосте, о стрёбе* и предложный второй (местный): *на ветру, в мелу, в снегу, на мосту, в стрёбу*. Предложный первый обозначает предмет речи или мысли, т. е. указывает, на что они направлены; предложный второй называет место действия. Предложный первый имеет значение направленности, предложный второй — не имеет.

Чтобы изъяснительную и местную падежные формы отнести к разным падежам, надо найти их в одной позиции, в одном окружении. Р. О. Якобсон показал, что они встречаются в одной позиции: *Вороны чего-то искали в снегу; Художники чего-то ищут в снеге, но живописности в снеге нет*. Контексты *ищут в снегу — ищут в снеге* показывают, что различие в падежных формах не обусловлено позицией [10].

Напротив, различие форм *нет сахара/нет сахару, насыпал сахара/насыпал сахару* — чисто стилистическое различие, и мы не будем (в отличие от Р. О. Якобсона) считать их разными падежами.

Теория Р. О. Якобсона до сих пор вызывает противоположные оценки. Одни ее принимают, другие считают искусственным построением. Что об этом думает методика? Было стремление использовать эту теорию в практических целях. Ученик не знает, какую падежную форму он в данном контексте, в соответствии со своим речевым замыслом, должен выбрать. Тогда он анализирует контекст, устанавливает, каких минимальных значений он требует; далее — зная наборы различительных признаков у разных падежей, учитывая, к какому склонению относится выбранное существительное, точно выбирает нужную падежную форму. Эксперимент, проведенный с диссертационными целями, подтвердил, что замысел хорош [11].

Нет сомнения, что в текущей преподавательской практике этот путь не приведет к цели. Хотя бы потому, что нет надежных процедур для оценки речевого контекста: каких именно падежных признаков он требует². Очевидно, такой помощи от теории Р. О. Якобсона методика ждать не может.

² Критику указанной работы см. в статье Т. В. Рябовой [12].

Тот, кто обучается русскому языку, очень часто вместо одного падежа употребляет другой. Но не все замены имеют одинаковую частоту. Теория Якобсона помогает предсказать, какие смещения будут особенно частыми: именно те, где различия в значениях между падежами незначительны. На продвинутом этапе обучения, когда ученик уже имеет определенное представление о русской падежной системе и получил некоторые навыки владения ею, чаще всего он будет путать падежи, отличающиеся одним признаком.

Например, обычно смешение дательного и творительного падежей. Примеров можно приводить бесконечно много, мы ограничимся единичными предложениями из тетрадей учеников 7—8 классов разных национальных школ: *Площадь была освещена огням* (чеченская школа); *Я до-вольный своему коню, люблю и чищу ему* (адыгейская школа); *Косить это поле косилкам трудно, надо косами, вручную* (карельская школа); *Если кем из учеников надо помочь, то мы всегда готовы помочь* (татарская школа); *Я радовалась цветами* (удмуртская школа); *В отряде каждый подчиняется командиром и слушается его* (осетинская школа); *Я горжусь своему деду, который всю войну воевал* (башкирская школа); *Нас повели в музей, и мы удивлялись и картинам, и украшениям* (лакская школа)...

Примеров приведено немного, но в речи учеников они постоянны. В разных национальных школах дательный и творительный падежи постоянно подвергаются взаимозамене. Очевидно, причина не в грамматике родного языка (или не только в ней), но в значительной степени и в самой смысловой природе русских падежей.

Чаще других смешиваются падежи: дательный — творительный, дательный — винительный, винительный — родительный, изъяснительный (предложный первый) — местный (предложный второй), т. е. те, которые имеют наименьшее семантическое различие: в один признак.

Местный часто заменяется изъяснительным: *стоял на носе лодки, испачкался в мёле*; в устной речи: *испекли в печи, вывалился в грязи*. Направление замен всегда в одну сторону: изъяснительный оттесняет местный. Эти два падежа вообще имеют у большинства существительных омонимичные формы. Но омонимия, конечно, не объясняет однонаправленность смещения. Очевидно, в определенных отношениях форма изъяснительного падежа сильнее своей конкурентки. Подробно здесь на этом останавливаться не будем.

Именительный часто заменяет все остальные падежи. Одно из двух: либо ученик не умеет склонять данное слово, либо влияет родной язык; в некоторых языках, например, в калмыцком, во многих тюркских, исходный падеж является немаркированным и может заменять косвенные.

Итак, спорная теория помогает методике. Она правильно ориентирует преподавателя русского языка: советует обратить внимание на такие падежные формы, которые особенно часто вызывают ошибку у школьников, определяет наиболее вероятные подмены падежей — и ведет к правильному методическому решению: подсказывает, что именно эти, совпадающие падежи надо изучать совместно, один на фоне другого, одновременно тренируя навыки употребления парных падежей, так что они раскрывают во взаимном сопоставлении свои сходства и различия.

Здесь методика выступает как справедливый оценщик теории; она в определенных аспектах поддерживает учение о русских падежах Р. О. Якобсона.

Педагогам известно, с каким трудом иноязычные учащиеся усваивают употребление русских глаголов совершенного и несовершенного вида. Главная трудность в том, чтобы четко объяснить суть видовых значений, смысловой стержень этого противопоставления. Из множества определений, что значат категории совершенного и несовершенного вида, надо выбрать наиболее «работающее» с точки зрения преподавания. Выбор у разных педагогов, при работе с разной аудиторией, может, конечно, варьироваться. Путей здесь несколько. Практически хорошие результаты дают определения, принятые В. В. Виноградовым: «... в понятии совершенного вида основным признаком является признак предела действия, достижения цели, признак ограничения или устранения представления о длительности действия» [13, с. 497]; «...несовершенный вид...является основой, нейтральной базой видового соотношения» [13, с. 498]. Таким образом, несовершенный вид рассматривается как немаркированная, беспризнаковая категория.

Определение В. В. Виноградова рассчитано на филологов. Чтобы передать его школьникам, нужна перефразировка. Методически целесообразной оказалась такая редакция: глагол совершенного вида нужен тогда, когда действие нельзя продолжить.

Такое определение хорошо тем, что оно допускает наглядную демонстрацию. В одном из учебников для национальных педучилищ дано такое разъяснение: ученик поймет, что такое значение несовершенного вида, если ему ясно показать, чему соответствует это значение в его жизненном опыте. Можно дать такое задание ученику: у него в руках графин, он выливает из него воду в таз. Учитель приговаривает: Выливай... Выливай... Настанет момент, когда ученик скажет: Нечего выливать! Вода вся! Значит, он вылил (а не только выливал) воду.

Другое задание: Разрежь этот лист пополам, разрежь! Ученик: Всё! Вот две половинки листа... Значит, ученик разрезал лист, а не только разрезал.

Придумайте другие упражнения, когда ученик выполняет какое-либо действие по заданию учителя так, что в известный момент оно оказывается исчерпанным, доведенным до конца, так, что его нельзя продолжать. Отметьте, что оно в таком случае обозначается глаголом совершенного вида.

Учебник, как уже сказано, для педучилищ; задания даются будущему педагогу, чтобы он потом перенес их в класс.

Как видно, определение В. В. Виноградова дает возможность наглядной демонстрации значения совершенного вида. И в этом его большое достоинство. Однако вполне возможны сбои.

Вот как описывает эти трудности ученый-методист, разработавший и с успехом применявший данную методику. «Учительница попросила назвать глаголы совершенного вида. „Открыть“, — сказала Саяна. „Неправильно“, — возразил Кара-оол. Мальчик подошел к двери, приоткрыл ее и сказал: „Я открыл дверь, но действие можно продолжать. Значит, открыл — глагол несовершенного вида“. Дальше дается разъяснение: «Достижение предела может означать физическую невозможность продолжать действие (*вылил всю воду*) или дальнейшую нецелесообразность продолжать действие (*выпил полстакана воды*). В последнем случае действие не достигло физического предела: вода в стакане еще есть, можно продолжать пить. Но я не хочу больше пить, дальнейшее действие бессмысленно, достигнут его внутренний предел, и оно прекращено. Именно эти знания о внутреннем пределе действия помогли бы учителю понять ошибку Кара-оола» [14].

Таким образом, для уяснения, что значит категория совершенного вида, надо ввести понятия внешнего и внутреннего предела.

Необходимо и другое разъяснение. Мы уже говорили, что определение В. В. Виноградова, взятое в качестве основы всей работы, допускает наглядную демонстрацию. Но, оказывается, это не всегда так. Один и тот же рисунок — например, изображение человека, который плотно закрыл шторы, — может соответствовать и глаголу *закрыл* (сов. вида) и глаголу *закрывать* (несов. вида). Это зависит от намерения действующего лица: если задумано задвинуть шторы на всех окнах в комнате, то, когда действие еще не охватило все объекты, годится глагол несов. вида (хотя бы по отношению к отдельным объектам дело и было завершено): *закрывал окна*. Только после охвата всех объектов можно использовать глагол сов. вида: *закрыл окна*. (Все-таки и в этом случае возможна наглядная интерпретация; надо только изобразить ряд окон.)

Итак, надо соотнести действие с намерением действовать. Тогда проясняется вид глагола.

Особого внимания требуют глаголы, которые исключают намерение. Может показаться, что они даже противоречат определению В. В. Виноградова. Это глаголы, связанные с природными явлениями: *Туча надвинулась на город*; *Дождь усилился*; *Огонь приблизился к складу*. Во всех таких случаях вряд ли можно сказать, что действие исчерпало свои возможности и не имеет сил продолжаться. Огонь, весьма вероятно, подойдет вплотную к складу и охватит его.

Здесь нельзя обойтись без объяснения активной роли языка в изображении мира; надо сказать ученикам, что язык есть определенный взгляд на мир, особая интерпретация явлений жизни. Во всех указанных случаях действие изображено как исчерпанное. *Дождь усилился* — прибавил в силе; явление природы изображено как ступенчатое, и новая ступень преодолена. Разумеется, не с таких случаев надо начинать изучение видов; а когда суть этой грамматической категории усвоена на более центральных примерах, то и данные случаи *Дождь усилился* не вызовут сомнений.

Путь был такой: мы избрали методически наиболее выигрышную точку зрения на вид, она подсказала нам пути наглядной демонстрации этого грамматического понятия, наметила этапы его изучения, последовательность ввода материала. Лингвистика помогла методике преподавания русского языка. Но и сама методика оказала помощь языкознанию: проблема внутреннего и внешнего предела, разграничение действий однообъектных и многообъектных, проблемы соотношения действия с намерением действующего лица, а также вопросы грамматически-активного изображения и преобразования мира долгое время были на окраине теоретических построений аспектологов, большей частью вообще вне поля их зрения. Методика советует обратить внимание на эти стороны видовой корреляции.

Педагогическая практика, серьезно используя помощь лингвистики, сама уточняет проблему и выдвигает новые ее аспекты.

Если окинуть взором более далекие времена, то мы не найдем случаев, когда методика преподавания русского языка взяла бы лингвистическую теорию, детализировала бы ее, разбила на отдельные случаи, на ее качественно различные применения, и таким путем позволила бы обогатить лингвистическую теорию.

Есть случаи, когда методика более решительно строит свои взаимоот-

ношения с лингвистикой: требует отказа от случайно укоренившейся узости взгляда, призывает снять шоры, ограничивающие кругозор.

Надо научить человека, желающего примкнуть к русскому речевому миру, строить предложения. Этому могла бы помочь теория трансформации предложений. Ведь недостаточно обучить новичка в русском языке создавать предложения «по образцу». В реальном разговоре только в редких случаях на реплику надо отвечать репликой такого же строения. Обычно ее нужно переделать, иногда значительно, а то и вовсе заменить совсем иной репликой, другого синтаксического строения и лексического состава. В этих случаях могла бы помочь теория трансформации, но, к сожалению, редко помогает. Преподаватели и хотели бы ее применить, но что-то мешает. Возможно, эта теория не доведена до такого уровня, когда она могла бы стать полезной педагогике.

Одна синтаксическая конструкция считается трансформацией другой, если: во-первых, в состав обеих конструкций входят те же лексические единицы; во-вторых, лексемы, грамматически связанные в одном трансформе, связаны в другом; в-третьих, оба трансформы относятся к одной и той же внеречевой ситуации.

Это третье условие очень сужает область применения трансформационных правил. В соответствии с этим условием мы, трансформируя одно предложение в другое, должны оставаться в пределах той же ситуации, не развивая ее понимание, не следуя за ее преобразованием. Мы многократно обозначаем одно и то же. Но если мы хотим формировать естественную речь, мы должны учить тому, как изменять предложение, чтобы оно следовало за меняющейся ситуацией разговора.

Избавиться от узости в понимании трансформационных законов языка, видимо, нелегко. (Пока можно указать лишь на работы В. С. Храковского, преодолевающие эту узость [15].) Правда, эти узкие границы фактически (ненаароком, исподволь) постоянно нарушаются — например, отрицательная конструкция постоянно рассматривается как трансформ положительной, хотя очевидно, что ситуации, отраженные в предложениях *Николай приехал* и *Николай не приехал*, совершенно различны. Нужна теория, которая давала бы возможность по определенным законам (усвоение которых может идти и сознательным, и интуитивным путем) выстраивать ряды синтаксических преобразований, настолько динамичных, что они могли бы поспевать за переменчивым смыслом разговора.

Сейчас положение в теории синтаксической трансформации напоминает состояние фонологии до создания Московской теории фонем. В один трансформационный ряд звуков (в одну фонему) объединялись только такие единицы, которые имеют физическое сходство, составляют один акустико-артикуляционный тип. Казалось недостаточным, что звуки находятся в определенных языковых отношениях: позиционных чередованиях; они должны были еще достать справку, что и помимо этих отношений являются близкими родственниками. Так и сейчас в теории трансформации: кажется недостаточным, что синтаксические единицы выступают в определенные языковые отношения (связаны законами преобразования); пусть они еще докажут, что относятся к одной реальной ситуации. (Кстати: самой системы таких доказательств как раз и не существует, все делается «на глазок».) Искусственность этого ограничения мешает использованию трансформационных закономерностей в преподавании. Методика дает заказ лингвистам: взглянуть на дело с необходимой широтой.

Это необходимо — пожалуй, прежде всего — самой лингвистике. Отход от конкретной данности, от речевой наглядности к определенным сту-

пения обобщения, более или менее высоким, всегда труден. Методика преподавания подталкивает: смелей!

Если снять все ограничения, искусственно сужающие применение трансформационных законов языка, то различия между трансформами могут состоять: в преобразовании грамматических форм отдельных слов, в прибавке слов в определенных грамматических формах, в изъятии слов, в словообразовательном преобразовании лексем, в замене лексем по определенным семантическим связям.

Если осуществить трансформации во всем их внутренне обусловленном диапазоне, то, например, такие две реплики надо признать принадлежащими к одному трансформационному ряду: — Какие вы купили хорошие апельсины! — Да это грейпфрут, а не апельсины!

На вопросительную реплику определенного строения возможен ответ-поправка — другая реплика, которая по строению является преобразованием первой. Ситуация, отраженная в первой и второй репликах, может быть различна (купить одно или купить нечто другое — не одна ситуация). Единство реплик, составляющих трансформационный ряд, определяется не единством ситуации, а тем, что реплику одного строения всегда можно преобразовать в реплику другого строения. «Всегда» — т. е. существуют правила преобразования, общие для всех исходных реплик такого типа.

Большое место в методике преподавания русского языка нерусским — обучение живому диалогу, той беглой речи, когда каждая реплика вызывает непосредственный, мгновенный отклик у других участников разговора. Нет хороших методов, которые учили бы такому диалогу. Волю учащихся на занятиях сковывает отсутствие естественной потребности говорить, сознание бесцельности обмена репликами, незаинтересованность в развитии разговора, в его саморазвертывании. Пожалуй, здесь может быть полезным перенос в педагогику некоторых приемов и способов мышления, разработанных лингвистикой. В первую очередь, поможет позиционное мышление, освоенное современным языкознанием.

Начнем с примера, который подведет нас к сути дела. В национальном педвузе на практических занятиях по русскому языку идет отработка слоговой модели слова. Студенты, один за другим, вступая в «полилог», восклицают: — *Рѣдагáс!* — *Сутурáм!* — *Мѣгабúт!* — и т. д. Как видно, они обмениваются звуковыми сочетаниями, построенными по законам русского слова. Если средняя национальная школа сейчас мирится с произношением [галавá], [садавóт], [нахажú] и под., когда безударные гласные произносятся с одинаковой силой — вместо [гълавá], [съдавóт], [нѣхажú], то несомненно, что студенты, будущие учителя русского языка, должны преодолеть такое нежелательное отклонение от орфоэпии. Этому и посвящено занятие: идет отработка произношения слов «по формуле Потемни». Почему слова искусственные? Потому что надо довести до механического навыка произношение любых сочетаний в тактах данного типа.

Одна реплика следует за другой, длительных заминок нет; студенты разнообразят речь, придавая репликам-«словам» разные интонации. Создается впечатление настоящего разговора.

Итак, перед нами чучело (робот, модель, подобие) разговора. Посмотрим, по каким правилам этот робот создается.

1. Все реплики-«слова» построены по одному плану: они — трехсложные, с ударением на последнем слоге; каждый слог состоит из сочетания твердого согласного с гласным. Последний слог — закрытый.

2. Набор гласных в каждом слого зависит от позиции: ударной, предударной и предупредударной. Строить слова надо и по законам синтагматики — сочетать только «разрешенные» звуки», и по законам парадигматики, например, в предупредном слого гласный [а] заменяется на [ъ].

3. Каждая реплика начинается с того же согласного, который замыкал предшествующую реплику. Последнее условие вводится затем, чтобы реплики не готовились заранее, «про запас», а каждая возникала как непосредственный отклик на предыдущую.

Занятие с этими «словами» обычно проходит живо, оно нравится студентам — видно, потому, что включает элементы игры. Выигрывает тот, кто делает правильный выбор, т. е. тот, кто преодолевает акцент (произношение [галава́]), кто соразмеряет степень редукции с нормой.

Нельзя ли на тех же основаниях построить настоящий диалог или полилог? Чтобы реплика свободно и просто вызывала другую реплику и течение разговора шло так же естественно, как идет самодвижение игры? Познакомим читателя с опытом некоторых учителей-филологов, выпускников филфака Московского университета. Опыт этот нельзя рассматривать как законченную, апробированную рекомендацию; он, скорее, намекает на некоторые возможности преподавания.

Представим упрощенную запись урока по развитию речи. Урок шел не всегда гладко: ученики неверно выбирали слово, их поправляли, были запинки в речи, были неудачные ответы. (Они устранены из записи.) Это неизбежно и обычно. Важен принцип построения непрестанно обновляющейся речи в условиях отсутствия внешнего стимула для нее: она имеет внутренний игровой стимул, как всякая игра. Вот отрывок из записи урока:

Учитель: — Петя, тебе какое животное больше всего нравится?

Петя: — Кенгуру.

— А что это за животное?

— Это животное пестрое, черно-белое. С рогами. Говорит: Муу! Молоко дает — пей — не хочу. Хвост длинный, с кисточкой на конце. Кенгуру им машет, мух, слепней отгоняет. Шмяк — и нет мухи. Вот какое животное. И высоко скачет.

— Разве это кенгуру?

— Конечно! Вот и Валя Петухов подтвердит!

Валя: — Это корова, а не кенгуру. Но только Петя ошибся: корова не скачет. Настоящий кенгуру скачет, а корова пасется.

Учитель: — А ты, Валя, какое животное считаешь хорошим?

— Мышку.

— Мышку? Что же это за зверь?

— Замечательный зверь! Ростом, если на задние ноги встанет, то как бы не был выше человека. Шерсть бурая, густая. Зубы — аршин. Ревет так, что испугаешься. Мед любит, из-за меда постоянно с зубами мается. И сильный, даже волки эту мышку боятся. А зимой заберется в берлогу, спит — лапу сосет. Тогда ее и не увидишь!

— Разве это мышка?

— А как же! Нина, подтверди!

— Ты немного заврался. Не мышка, а мишка. Медведь. А зубы в аршин... Нет, у медведя зубы большие, но не в аршин.

— Я? Обезьяну. Толстая, неповоротливая. Все время в воде мокнет. А глаза — бинокли, чтобы, лежа в воде, можно было их выставить и смотреть. Морковку любит, брюкву, всякую зелень. Проголодается — сейчас же пальцем зовет смотрителя: где еда? И ей несут.

— Ну и ну! Какая обезьяна странная! Уж обезьяна ли?

— Это твердо. Настя, ведь обезьяна?

Настя: — Это попросту бегемот, а научно говоря — гиппопотам. И говорить он не умеет...

Чем этот урок похож на ранее описанные занятия с гласными? Там по определенным законам из звуков составлялись «слова», здесь — по своим законам из слов — определенные характеристики. Там в «словах» была представлена определенная последовательность, синтагматическая закономерность. Здесь тоже есть своя синтагматика, но организованы другие элементы, не звуки: слова, элементы характеристики. Каждый ученик: 1) «отгадывает» предыдущего зверя; 2) исправляет неверные детали в его описании; 3) называет обманно своего зверя; 4) перечисляет его признаки — часть их дает в искажении; 5) в ответ на реплику учителя подтверждает название зверя.

Там звук (гласный) был парадигматически преобразован в зависимости от позиции. Здесь своя парадигматика, свои замещения. Ответ первого и второго ученика можно уподобить двусложному слову (так же, как ответ второго и третьего и т. д.). Первый слог — слабая позиция. Начало ее обозначено словами учителя: «Ты какого зверя любишь?» Характеристика зверя в ней частично преобразована; эта позиция, слабая, требует деформации материала. Второй «слог» открывается словами, призывающими следующего ученика: «Вот Нина подтвердит»; начало сильной позиции. Характеристика в ней приводится к основному виду, независимому, свободному от искажений, внесенных предыдущей позицией.

Это игровая парадигматика. Ее соотношение со строго нормативной синтагматикой и создает возможность непрерывного живого диалога, развертывающегося «из самого себя», без внешнего подталкивания. Сама необходимость исправить характеристику, привести ее к сильной позиции, восстановить ее соответствие назависимой норме является двигателем диалога. Так могут отрабатываться навыки словесной характеристики, описания, повествования и любые иные коммуникативно важные цели.

Высказывалась мысль, что искаженные детали могут дезориентировать детей. Нет: дети с азартом их обнаруживают и исправляют.

Методика, здесь описанная, имеет, на наш взгляд, принципиальное значение, хотя бы она и была во многих отношениях несовершенной. В отличие от всех ранее рассмотренных случаев взаимодействия лингвистики и методики преподавания языка, здесь педагогика берет из лингвистики не те или иные конкретные знания, не тот или иной частный подход к фактам языка, а важный принцип мышления: позиционное рассмотрение фактов; парадигматические позиционные преобразования используются в специфически преподавательских целях. Это — максимально плодотворное сближение наук. Недаром учительница, автор описанного урока, — квалифицированный лингвист и профессиональный (хотя и начинающий) педагог.

Преподавание русского языка нерусским часто более чутко отзывается на лингвистическую современность, чем русская школьная методика. Например, лингвистические работы, посвященные синтаксическому целому, прошли мимо практики русскоязычной школы. Национальная школа активно откликнулась на них. Однообразный рассказ, где в каждом предложении единый, неподвижный, омертвелый порядок слов, не часто иссушает речь учеников, чей родной язык русский: повседневное пребывание в области живой речи ограждает детей от такого недостатка. А в национальной нерусской школе этот недостаток обычен. Поэтому методика русского языка в национальной школе уже имеет опыт исполь-

зования теории синтаксических целых как единиц языка и речи в педагогических целях [16].

Другой пример: фонологическая теория. Методические основы ее применения в преподавании наиболее активно разрабатываются именно для национальной (нерусской) школы [17].

Методика для русскоязычной школы гораздо более консервативна.

Видимо, в наше время взаимоотношения лингвистики и методики преподавания языка изменяются, становятся более тесными и динамическими.

Фактов, говорящих об изменениях, пока мало (как видно из статьи; вряд ли приведенный ряд можно значительно увеличить). О новых тенденциях свидетельствуют не столько реальные успехи, сколько необходимость в них. И все же есть надежда, что мы вступили в новый период.

Это время, когда методика преподавания выявляет неполноту определенной теории и требует ее восполнения.

Когда педагогическая наука участвует в лингвистической дискуссии, голосуя за определенные теории и поддерживая их.

Когда требования школы выделяют наиболее плодотворные лингвистические идеи и помогают их дальнейшей разработке.

Когда методика нетерпеливо ждет преодоления суженности лингвистических поисков и отказа от научных шор.

Когда новые открытия возникают на перекрестке двух наук, представляя одновременный вклад в каждую из них.

Когда принципы лингвистического мышления используются в самых практических делах педагогики.

Впрочем, может быть, эти черты сближения двух наук пока еще только намечаются и составляют скорее желаемое, чем реальность; полное проявление этого союза принадлежит будущему.

ЛИТЕРАТУРА

1. О реформе общеобразовательной и профессиональной школы: Сб. документов и материалов. М., 1984. С. 45.
2. Щерба Л. В. Фонетика французского языка. М., 1963. С. 13.
3. Горюевский А. А. Фонетические трудности при обучении эвенков (тунгусов) русскому языку. Л., 1939. С. 52.
4. Бернштейн С. И. Вопросы обучения произношению // Вопросы фонетики и обучение произношению. М., 1975. С. 19—20.
5. Реформатский А. А. Фонология на службе обучения произношению неродного языка // РЯНШ. 1961. № 6. С. 88.
6. Реформатский А. А. О некоторых трудностях обучения произношению // Русский язык для студентов-иностранцев / Под ред. Реформатского А. А. М., 1961. С. 8.
7. Брызгунова Е. А. Звуки и интонация русской речи. М., 1969.
8. Брызгунова Е. А. Основные типы интонационных конструкций и их употребление в русском языке // Русский язык за рубежом. 1973. № 1, 2.
9. Брызгунова Е. А. Фонологический метод в интонации / Интонация. Киев, 1968.
10. Якобсон Р. О. Морфологические наблюдения над славянским склонением // Якобсон Р. О. Избр. работы М., 1985.
11. Гольдин З. Д., Гальперин П. Я. Усвоение склонений русского языка иностранцами // Актуальные проблемы психологии обучения языку. М., 1970.
12. Рябова Т. В. О применении концепции управления усвоением в обучении русскому языку иностранцев // Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских. М., 1977.
13. Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947.
14. Селиверстова Г. М. Система работы и упражнения по теме «Виды глагола» в 4—5 классах тувинской школы. Кызыл, 1984.
15. Храковский В. С. Очерки по общему и арабскому синтаксису. М., 1973. С. 13.
16. Сабатков Р. Б. Методика развития связной речи в осетинской школе. Орджоникидзе, 1979.
17. Васильев А. И. Лингвистические основы обучения русскому произношению в киргизской школе. Ч. I, II. Фрунзе, 1974, 1978.

КРИВОНОСОВ Б. А.

О СООТНОШЕНИИ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА И ФОРМ МЫШЛЕНИЯ

Взаимоотношение мышления и естественного языка изучается такими научными дисциплинами, как психология, психолингвистика, логика, языкознание [1—5]. При логико-лингвистическом подходе к данной проблеме могут рассматриваться следующие виды соотношений: 1) между языковой единицей и мыслительной формой; 2) между несколькими языковыми единицами относительно той мыслительной формы, которую они выражают; 3) между некоторыми мыслительными формами относительно определенной языковой единицы [6—9].

Для раскрытия содержания указанных видов соотношений обратимся к материалу английского языка, а конкретно — к функционированию в нем абстрактных слов со значениями типа «уже», «даже», «только», «тоже» (*already, even, only, too*) и т. д. При рассмотрении указанных слов в предложении исследуется прежде всего смысл самого предложения. И здесь существенно принять во внимание: во-первых, смысл предложения включает такое мыслительное содержание, источниками которого являются контекст, речевая ситуация, опыт и знания участников коммуникации [10]; во-вторых, смысл предложения имеет два разных способа выражения — явный (эксплицитный) и скрытый (имплицитный) [11].

Обратимся к анализу смысла предложений со словами указанного типа. Смысл предложения со словом *already* — *One man was already asleep* («Один человек уже спал»), употребленного в контексте *They began to drowse* («Они задремали»), может быть представлен как сумма нескольких суждений: *One man was already asleep* = a) *One man was asleep* + b) *One man had not been asleep (earlier)* + c) *It may not be expected that one man was asleep*. Суждение (a) в интерпретируемом предложении выражено явно, эксплицитно и включает понятие *was asleep*, которое по способу выражения в предложении эксплицитно, по содержанию представляет собой признак «состояние лица», а по утвердительно-отрицательному статусу — утвердительно. В смысл английского предложения входит также суждение (b), которое, наоборот, получает в предложении скрытый, имплицитный способ выражения. Входящее в него понятие *had been asleep* имплицитно в отличие от эксплицитного понятия *was asleep* в суждении (a). Имплицитное понятие (импликат) *had been asleep* по объему равнозначно эксплицитному понятию (экспликату) *was asleep* и имеет отрицательный статус. Приведенное толкование включает также суждение (c), имплицитное по своему выражению и содержащее представление о том, что экспликат *was asleep* как бы не ожидается. При этом суждение (c) складывается из двух частей, одной — постоянной для слова *already*, не зависящей от речевого окружения (*It may not be expected that...*), и другой — переменной части, включающей утверждение экспликата, содержание которого обусловлено речевым окружением (...*one man was asleep*). Для дифференциации суждений (a), (b) и (c) назовем их соответ-

ственно суждением экспликата, суждением импликата и суждением «ожидания».

Из предложенного описания смысла предложения с частицей *already* видно, что эксплицитное суждение выражается всем предложением за вычетом *already*. Наличие и особенности прочих компонентов смысла предложения определяются самой частицей. Так, благодаря употреблению *already* оказываются выраженными суждения (b) и (c). При этом именно лексическая специфика *already* предопределяет, во-первых, логическое отношение равнозначности между имплицитом в суждении (b) и эксплицитом в суждении (a), во-вторых, отрицательный статус импликата и, в-третьих, вид суждения (c), где содержится представление о «неожидании» экспликата. Приведенная интерпретация в тексте слова *already* позволяет проследить некоторые аспекты тех общих видов соотношений между языковыми единицами и мыслительными формами, которые были отмечены в начале статьи.

1) Соотнесенность данной языковой единицы с определенной мыслительной формой. Предложение *One man was already asleep* соотнесено с тремя суждениями — эксплицитным *One man was asleep*, имплицитным *One man had not been asleep (earlier)* и имплицитным *It may not be expected that one man was asleep*. При этом предложению без *already* (*One man was asleep*) соответствует одно суждение — эксплицитное *One man was asleep*. Слово *already* в предложении сигнализирует дополнительно о двух суждениях — имплицитном *One man had not been asleep (earlier)* и имплицитном *It may not be expected that one man was asleep*.

2) Сопоставимость разных языковых единиц по способу выражения одной мыслительной формы. Слово *already* в предложении и само предложение *One man was asleep* сопоставимы как два разных способа (имплицитный и эксплицитный) выражения суждения — соответственно суждений *One man had been asleep* и *One man was asleep*, которые сходны по структуре и содержанию.

3) а) Устанавливаемое языковой единицей отношение между некоторыми мыслительными формами по их объему. Слово *already* обозначает логическое отношение равнозначности между двумя понятиями — эксплицитом *was asleep* и имплицитом *had been asleep*.

б) Устанавливаемое языковой единицей отношение между некоторыми мыслительными формами по их утвердительно-отрицательному статусу. Слово *already* предполагает отрицание одного понятия (импликата *had been asleep*) и утверждение другого понятия (экспликата *was asleep*).

Мыслительно-языковые отношения, реализующиеся в предложениях с *already*, представлены также в контекстах с другими словами, которые аналогичны *already* по лексико-грамматическим характеристикам. Вместе с *already* они составляют класс так называемых частиц, включающий слова *again*₁, *again*₂, *alone*, *also*, *but*, *chiefly*, *directly*, *either*, *else*, *especially*, *even*, *exactly*, *exclusively*, *just*₁, *just*₂, *largely*, *mainly*, *merely*, *more*₁, *more*₂, *mostly*, *neither*, *nor*, *only*, *particularly*, *partly*, *precisely*, *principally*, *purely*,

¹ Частицы, помеченные индексом (*again*₁, *again*₂ и т. д.), дифференцируются как омонимичные.

right, simply, solely, specially, still₁, still₂, straight, strictly, too, yet₁, yet₂, yet₃. Все частицы функционируют в предложении сходным образом. Так, в самом предложении получает выражение экспликат. Частица же имплицитно выражает суждение, структурно идентичное другому суждению, которое выражено эксплицитно всем предложением за исключением частицы. В имплицитном суждении очерчивается объем импликата, соотношенного определенным образом с экспликатом. Поскольку данное предложение рассматривается в речевом употреблении, то объем и содержание импликата конкретизируются контекстом, речевой ситуацией или знаниями участников коммуникации. При употреблении всех частиц реализуются те виды соотношения языковых единиц и мыслительных форм, которые были выделены для предложений с *already*. Рассмотрим последовательно эти соотношения.

1) Одному предложению соответствует одно суждение. Это может наблюдаться в предложениях с любой из частиц, например, при опущении частицы в предложении *I take him straight upstairs* («Я веду его прямо наверх»). Без частицы *straight* предложение *I take him upstairs* соотносено с суждением *I take him upstairs*.

Одному предложению соответствуют два суждения. Предложения с большинством частиц (*again₁, again₂, also, chiefly, directly, either, else, especially, exactly, just₂, largely, mainly, more₁, more₂, mostly, neither, nor, particularly, partly, precisely, principally, right, specially, straight, strictly, too*) соотносены с двумя суждениями (эксплицитным и имплицитным), причем сходными по своей структуре. Так, приведенное предложение *I take him straight upstairs* соответствует двум суждениям — эксплицитному *I take him upstairs* и имплицитному *I do not take him everywhere*.

Одному предложению соответствуют три суждения. В предложениях с частицами *alone, already, but, even, exclusively, just₁, merely, only, purely, simply, solely, still₁, still₂, yet₁, yet₂, yet₃* выражены три суждения (эксплицитное и два имплицитных). Например, предложение *Only Di could never see it* («О да Дай никак не замечала этого») выражает, во-первых, суждение экспликата *Di could never see it*, кроме того, аналогичное ему по структуре суждение импликата *Everybody could see it* и, наконец, суждение «ожидания» *It may be expected that everybody could see it*, в котором содержится представление об ожидании импликата *everybody*.

Слово (в предложении) соотносено с одним суждением. Одно из двух суждений, составляющих смысл предложений с частицами *again₁, again₂, also, chiefly, directly, either, else, especially, exactly, just₂, largely, mainly, more₁, more₂, mostly, neither, nor, particularly, partly, precisely, principally, right, specially, straight, strictly, too* (а именно суждение импликата), выражается благодаря наличию частицы. Любое из этих слов сигнализирует в предложении о соответствующем суждении. К примеру, в смысл предложения *The men shifted again* («Люди опять задвигались»), наряду с суждением экспликата *The men shifted*, выраженным данным предложением за вычетом частицы *again₁*, входит также суждение импликата *The men had shifted*, на которое указывает как раз слово *again₁*.

Слово (в предложении) соотносено с двумя суждениями. Смысл предложений с рядом частиц включает три суждения, причем два из них (суждение импликата и суждение «ожидания») вводятся самой частицей. Частицы *alone, already, but, even, exclusively, just₁, merely, only, purely, simply, solely, still₁, still₂, yet₁, yet₂, yet₃* указывают, таким образом, на два суждения. Например, предложение *The friends don't know about it yet* («Друзья еще не знают об этом») толкуется как сумма трех сужде-

ний — суждения экспликата *The friends don't know about it*, представленного данным предложением без *yet*₁, а также суждения импликата *The friends didn't know about it (earlier)* и суждения «ожидания» *It may be expected that the friends know about it*, о которых в предложении сигнализирует частица *yet*₁.

Следует отметить, что имплицитные суждения «ожидания», выражаемые в предложении приведенными словами, могут различаться по своему виду. Так, одни частицы выражают суждение «ожидания» или «неожидания», экспликата, тогда как другие — суждение «ожидания» импликата. Частицы первой группы при этом дифференцируются. *Already, still*₁, *still*₂, *yet*₂, *yet*₃ выражают только суждение «неожидания» экспликата, в то время как *even* и *yet*₁ выражают суждение «ожидания» экспликата (при его отрицании в суждении экспликата) или «неожидания» экспликата (при его утверждении в суждении экспликата). Так, слово *yet*₂ в примере *I thought of giving old Jane a buzz, to see if she was home yet* («Я подумал, не позвонить ли старушке Джейн, узнать, дома ли она у ж е») выражает суждение *It may not be expected that she was home*, в котором представлено «неожидание» экспликата *was home*. С другой стороны, слово *yet*₁ в предложении *I know the iron-heads are not there yet* («Я знаю, что железноголовых там е щ е нет») выражает суждение «ожидания» экспликата (когда он отрицается в суждении экспликата): *It may be expected that the iron-heads are there*, а в предложении *There's life in him yet* («В нем е щ е есть жизнь») это слово указывает на суждение «неожидания» экспликата (когда он утверждается в суждении экспликата): *It may not be expected that there's life in him*. Частицы другой группы — *alone, but, exclusively, just*₁, *merely, only, purely, simply, solely* — вводят в смысл предложения имплицитное суждение «ожидания» импликата. Например, *purely* в предложении *His action was purely mechanical* («Он действовал ч и с т о механически») выражает суждение «ожидания» импликата *It may be expected that his action was deliberate*.

2) Смысл предложений с частицами включает, как указывалось, по крайней мере два суждения — суждение экспликата и суждение импликата. Эти суждения имеют одинаковую структуру, сходны по своему содержанию и противопоставляются по способу выражения как соответственно эксплицитное и имплицитное суждения. Первое выражено всем предложением за вычетом частицы, а на второе указывает сама частица. Таким образом, с одной стороны, предложение (без частицы) и, с другой стороны, слово данного предложения (частица), будучи разными по уровню языковыми единицами, сопоставимы по способу выражения одной мыслительной формы сходного содержания — суждения. Например, заключенные в смысл предложения *He was directly above a road* («Он находился п р я м о над дорогой») суждение экспликата *He was above a road* и суждение импликата *He was not anywhere* выражены соответственно эксплицитно — предложением без частицы (*He was above a road*) и имплицитно — частицей *directly*. Тем самым указанное предложение и частица в этом предложении выступают как разные способы выражения суждений сходного содержания. Суждение экспликата и суждение импликата, выражаемые в предложениях с частицами, по содержанию лишь сходны, а не тождественны, ввиду различий между экспликатом и имплицитом в их объеме и утвердительно-отрицательном статусе.

3 а) Различия между экспликатом и имплицитом могут быть обусловлены тем логическим отношением их объемов, которое обозначается в предложении частицей. Описывая наиболее общие отношения между

понятиями по их объему, формальная логика для сравнимых понятий выделяет отношения совместимости и несовместимости. Отношения совместимости делятся на отношения равнозначности, подчинения и пересечения, а отношения несовместимости — на отношения соподчинения, противоположности и противоречия [12]. В качестве языковых средств выражения в предложении указанных логических отношений между сравнимыми понятиями выступают частицы². Остановимся подробнее на этих отношениях.

Большинство частиц соотносит совместимые понятия, т. е. понятия, объемы которых содержат общие элементы. Возможны два типа этого отношения. В предложениях с частицами *again*₁, *already*, *more*₂, *still*₁, *yet*₁, *yet*₂ совместимые понятия находятся в отношении равнозначности, тождественны друг другу. Например, слово *still*₁ в предложении *Cohn was still talking to Brett* («Кон все еще разговаривал с Брет») соотносит тождественные друг другу экспликат *was talking* и имплицат *had been talking*.

Многие частицы выражают отношение подчинения одного понятия другому, при котором одно понятие составляет часть другого. Эти частицы содержательно неоднородны и могут устанавливать отношения подчинения следующих семантических подтипов.

Экпликат представляет собой «ограниченную» часть импликата в предложениях с частицами *alone*, *but*, *exclusively*, *just*₁, *merely*, *only*, *purely*, *simply*, *solely*. Например, *just*₁ в *I won't do anything — I'll just go with you, that's all* («Мне ничего не надо — я только поеду с тобой, и все») обозначает, что экспликат *will go* — «ограниченная» часть импликата *will do anything*.

Экпликат может выступать также как «уточненная» часть импликата. При употреблении в предложении частиц *directly*, *exactly*, *just*₂, *precisely*, *right*, *straight*, *strictly* слово *just*₂ в примере *I was just reading it when you came in* («Я как раз читал ее, когда вы вошли») соотносит экспликат *was reading* и имплицат *was doing anything* таким образом, что первый представлен как «уточненная» часть второго.

Иное отношение, при котором экспликат является «особой» частью импликата, обозначают *especially*, *particularly* и *specially*. Например, данное отношение в предложении *I loathe walking, especially on these beastly dark nights* («Терпеть не могу гулять, особенно в эти кошмарные темные ночи») устанавливает частица *especially*. Экпликат *on these beastly dark nights* составляет «особую» часть импликата *any time*.

Кроме того, экспликат может составлять «конкретную» часть импликата — «основную», «большую» или «просто» часть. Так, слова *chiefly*, *mainly*, *mostly* и *principally* обозначают отношение подчинения, в соответствии с которым экспликат — «основная» часть импликата. К примеру, слово *chiefly* в предложении *Mr. Golspie ... began asking more questions, chiefly about accounts* («Мистер Голспи начал задавать новые вопросы, в основном о счетах») соотносит объемы экспликата *about accounts* и импликата *about something* (экпликат — «основная» часть импликата). Слово *largely* выражает несколько иное отношение — экспликат составляет «большую» часть импликата: в примере *He drifted from*

² Отношений пересечения частицы специально не устанавливают. Эти отношения могут в предложении реализовываться как частный случай обозначаемого частицами отношения соподчинения.

speaker to speaker with the crowd, which was largely composed of youths («Его несло от одного оратора к другому вместе с толпой, состоявшей в большой мере из молодежи») экспликат *youths* входит в имплицат *people* как его «большая» часть. Наконец, слово *partly* выражает отношение, при котором экспликат — «просто» часть импликата без какого-либо количественного уточнения. В *She was annoyed, partly because she was compelled to recognize the truth* («Она была рассержена, отчасти из-за того что была вынуждена признать правду») экспликат *because she was compelled to recognize the truth* выступает как «просто» часть импликата *because of something* без указания на меру этой части.

В предложениях с некоторыми частицами представлены два понятия, состоящие в отношении несовместимости друг с другом. Объемы этих понятий не совпадают ни в одной своей части и входят в объем третьего понятия. Данное отношение реализуется в нескольких своих типах. Частица *again₂* устанавливает отношение противоположности между двумя понятиями — понятия противоположны друг другу, входят в третье понятие, но его объема не исчерпывают. Например, в предложении *He opened his eyes dizzily and shook his head and closed his eyes a gain* («Он открыл глаза, испытывая головокружение, кивнул головой и опять закрыл глаза») экспликат *closed his eyes* противоположен имплицату *opened his eyes* и между ними возможно среднее понятие *to remain with one's eyes open (closed)*.

В предложениях с частицами *else* и *more₁* выражено отношение противоречия между двумя понятиями. При этом отношении понятия исключают друг друга, входят в третье понятие и исчерпывают его объем. Например, смысл предложения *He ate more soup* («Он еще съел супа») содержит экспликат *more soup* и имплицат *some soup*³, исключающие друг друга и не допускающие среднего между ними понятия.

Слова *also*, *either*, *neither*, *nor* и *too* обозначают отношение л ю б о г о с о п о д ч и н е н и я двух понятий третьему, в том числе отношение противоположности и противоречия для двух понятий. Так, *too* в примере *She laughed and I laughed too* («Она засмеялась, и я тоже засмеялся») соотносит экспликат *I* и имплицат *she*, не совпадающие по объему и включенные в объем третьего понятия *somebody who laughed*. Вместе с тем *either* в примере *They weren't happy and yet they weren't unhappy either* («Они не были счастливы, однако они не были и несчастливы») указывает на отношение противоположности экспликата *were unhappy* имплицату *were happy*.

Два понятия с о п о д ч и н е н ы третьему понятию, но не противоположны и не противоречат друг другу в предложениях с частицами *still₂* и *yet₃*. Так, в предложении *There was a loud crack. The door was noisier still* («Раздался громкий треск. От двери было еще больше шума») экспликат *was noisier* и имплицат *loudly cracked* находятся в отношении соподчинения третьему понятию (*was noisy*), однако не противоположны и не противоречат друг другу.

В предложениях с частицей *even* понятия могут находиться в отношении как совместимости, так и несовместимости друг с другом. Но при этом соотносимые понятия не равнозначны, не противоположны и не противоречат друг другу. В примере *Everyone knew it — even I knew it* («Все знали это — даже я знал это»)

³ В отличие от других частиц слова *else* и *more₁* сами участвуют в выражении экспликата. Это связано с необходимостью языкового обозначения границы между исключающими друг друга понятиями.

слово *even* выражает отношение подчинения между совместимыми экспликатом I и имплицатом *everyone*: экспликат включен в имплицат как его часть. В отличие от других семантических подтипов отношения подчинения, рассмотренных выше, в предложениях с *even* экспликат составляет «дополнительную» часть импликата. Другой пример — *Granma slept steadily, and even Ma dropped her head forward and dozed* («Бабушка спокойно спала, и даже Матушка уронила голову и дремала») — обнаруживает отношение между несовместимыми понятиями: экспликат *Ma* и имплицат *Granma* соподчинены третьему понятию (*everybody involved*), но противоположны и не противоречат друг другу.

3 б) Понятия, представленные в смысловом аспекте предложений с частицами, могут утверждаться или отрицаться. Их утверждение или отрицание зависят от частиц. Частицы же могут употребляться в предложениях разных типов — предложениях без грамматического отрицания и/или с грамматическим отрицанием. Только в предложениях без грамматического отрицания функционируют частицы *already, also, still₁, still₂, too, yet₂ и yet₃*. Ср.: *It was queer and it was a l s o rather exciting* («Это было непонятным, но было и довольно волнующим»). Лишь в предложениях с грамматическим отрицанием встречаются *either, neither* и *nor*. Ср. *But she didn't say any more. N e i t h e r did Atticus* («Но она ничего больше не сказала. Атикус тоже»). Многочисленная группа частиц может употребляться в предложениях как с грамматическим отрицанием, так и без него: *again₁, again₂, alone, but, chiefly, directly, else, especially, even, exactly, exclusively, just₁, just₂, largely, mainly, merely, more₁, more₂, mostly, only, particularly, partly, precisely, principally, purely, right, simply, solely, specially, straight, strictly, yet₁*. Например, *alone* встречается в предложении с грамматическим отрицанием *These are not a l o n e hardships* («Это не просто лишения») и в предложении без отрицания *Then a l o n e will come perfect non-attachment* («Тогда лишь придет истинное отречение»).

Все частицы, функционирующие в предложениях без грамматического отрицания, утверждают экспликат, имплицат же может утверждаться или отрицаться.

Частицы *again₁, again₂, also, chiefly, else, especially, even, largely, mainly, more₁, more₂, mostly, particularly, partly, principally, specially, still₁, still₂, too, yet₁, yet₂*, утверждая экспликат, утверждают также имплицат. Например, *mainly* в *Look, his ideas are m a i n l y absurd* («Послушай, его идеи, в основном, бессмысленны») соотносит утверждаемые экспликат *absurd* и имплицат *of any kind*.

Слова *alone, already, but, directly, exactly, exclusively, just₁, just₂, merely, only, precisely, purely, right, simply, solely, straight, strictly, yet₂* вместе с утверждением экспликата отрицают имплицат. В примере *My word, you think p r e c i s e l y as I do!* («Честное слово, вы думаете о вершени о так же, как я!») утверждается экспликат *as I do* и отрицается имплицат *not anyhow*.

Утвердительно-отрицательный статус экспликата и импликата в предложениях с частицами, где имеется грамматическое отрицание, разнообразнее, чем в предложениях без него.

Некоторые частицы допускают как утверждение экспликата, так и его отрицание. При этом реализуются разные возможности утверждения/отрицания импликата.

Утверждение экспликата — утверждение импликата, отрицание экспликата — отрицание им-

п л и к а т а. Такое соотношение утверждения/отрицания имеют понятия в предложениях с частицами *either, even, neither, nor*. Например, *nor* в *After all, you haven't done her any harm in this instance. Nor has Tollifer, for that matter* («В конце концов, в этом случае вы не причинили ей никакого вреда. Толлифер тоже, если на то пошло») указывает на утверждение экспликата Tollifer и импликата you. В другом примере — *You've never loved any woman, or any man, nor ever will* («Ты никогда не любил ни одной женщины или мужчины и никогда не будешь любить») — частица *nor* отрицает экспликат *will not love* и импликат *had not loved*.

У т в е р ж д е н и е э к с п л и к а т а — о т р и ц а н и е и м п л и к а т а, о т р и ц а н и е э к с п л и к а т а — у т в е р ж д е н и е и м п л и к а т а. Данное различие утверждения/отрицания экспликата и импликата проявляется в предложениях с *directly, exactly, just₂, precisely, right, straight, strictly*. Например, в предложении *Well, I wouldn't say that, exactly* («Ну, как раз этого я не сказал бы») частица *exactly* обозначает соотношение между утверждаемым экспликатом *that* и отрицаемым импликатом *not anything*. В предложении *He never exactly broke your heart* («Он не мог уж совсем разбить ваше сердце») отрицается экспликат *never broke your heart* и утверждается импликат *did anything*.

У т в е р ж д е н и е э к с п л и к а т а — у т в е р ж д е н и е и м п л и к а т а, о т р и ц а н и е э к с п л и к а т а — у т в е р ж д е н и е и м п л и к а т а. Это соотношение наблюдается при употреблении в предложении частиц *again₁, again₂, else, more₁, more₂*. В примере *He didn't have anything else but time* («У него не было больше ничего, кроме времени») утверждаемый экспликат *anything else* соотносится частицей *else* с утверждаемым импликатом *time*. В другом примере — *If I don't worry nobody else will* («Если не позабочусь я, никто другой этого не сделает») — *else* соотносит отрицаемый экспликат *nobody else* с утверждаемым импликатом *I*.

Ряд частиц в предложении с грамматическим отрицанием предполагает только утверждение экспликата, которому могут сопутствовать следующие варианты утверждения/отрицания импликата.

Импликат утверждается в предложениях с частицами *alone, chiefly, especially, exclusively, just₁, largely, mainly, merely, mostly, only, particularly, partly, principally, purely, simply, solely, specially*. Так, *simply* в *It was a genuine intuition, not simply a rationalization of my desires* («Это была настоящая интуиция, не просто осознание своих желаний») вводит утверждаемый импликат *was a genuine intuition*, который соотносится с утверждаемым экспликатом *was a rationalization of my desires*.

Отрицание импликата при утверждении экспликата происходит в предложениях с *but*. В примере *You could not but realize that* («Вы не могли не осознать этого») экспликат *could realize* утверждается, а импликат отрицается — *could do nothing*.

Частица *yet₁* функционирует в предложении, в котором отрицаются и экспликат, и импликат. Например, в предложении *I haven't finished with that yet* («Я еще не покончил с этим») отрицаемый экспликат *haven't finished* соотносится с отрицаемым импликатом *had not finished*.

Итак, выше были описаны мыслительно-языковые отношения, которые выражаются в английских предложениях с частицами. В качестве объектов, соотношение которых исследовалось, выступают, с одной стороны, слово и предложение как основные языковые единицы и, с другой стороны, понятие и суждение как основные мыслительные формы. Обобщение из-

ложенных результатов позволяет установить следующие закономерности соотношения единиц языка и форм мышления.

1) В предложении, употребленном в речи, могут быть выражены одно, два или три суждения. При этом на одно или два суждения может указывать слово данного предложения.

2) Предложение и одно из слов данного предложения могут выступать как два разных способа (соответственно эксплицитный и имплицитный) выражения одного суждения.

3) Слово в предложении может выражать логическое отношение между двумя сравнимыми понятиями по их объему, а также соотношение между ними по их утвердительно-отрицательному статусу.

а) Одни слова устанавливают отношение между совместимыми понятиями: речь идет об отношениях равнозначности или подчинения. При этом последнее отношение предполагает несколько семантических вариантов — отношение одного понятия к другому как «ограниченной», «уточненной», «особой» или «конкретной» части целого. Другие слова соотносят два представленных в предложении несовместимых понятия либо как соподчиненные и при этом противоположные и противоречащие, либо также как соподчиненные, но не противоположные и не противоречащие. Наконец, некоторые слова выражают отношения и между совместимыми понятиями (подчинение, при котором одно понятие составляет «дополнительную» часть другого), и между несовместимыми понятиями (любое соподчинение, кроме противоположности и противоречия).

б) Слово в предложении без грамматического отрицания может соотносить утверждаемое эксплицитно выраженное понятие как с утверждаемым, так и отрицаемым имплицитно выраженным понятием. С другой стороны, в предложении с грамматическим отрицанием разные слова допускают, во-первых, утверждение эксплицитного понятия при утверждении/отрицании имплицитного понятия, во-вторых, отрицание эксплицитного понятия при отрицании имплицитного, в-третьих, утверждение/отрицание эксплицитного при утверждении/отрицании имплицитного и, наконец, утверждение/отрицание эксплицитного понятия при утверждении имплицитного.

Хотя соотношения языковых единиц и мыслительных форм рассматривались здесь на ограниченном материале — предложениях с частицами английского языка, этот материал открывает, тем не менее, достаточно широкие перспективы для дальнейших исследований. Так, представляют интерес факты других языков, изучаемые с точки зрения тех мыслительно-языковых отношений, которые проявляются при функционировании слов со значениями типа «уже», «даже», «только», «тоже». Например, русский язык содержит слова и устойчивые словосочетания, семантически и функционально подобные английским частицам, такие, как *более, большей частью, в основном, в особенности, в точности, главным образом, даже, единственно, еще, и, именно, исключительно, как раз, лишь, опять, особенно, отчасти, по крайней мере, преимущественно, прямо, просто, ровно, снова, собственно, совершенно, строго, также, тоже, только, точно, уже, частично, чисто* и т. п. Предложения с этими словами, например, *с уже, даже, только, тоже*, толкуются аналогично предложениям с английскими частицами: *Мать у ж е спала, [а ребенок все ворочался] = а) Мать спала + б) Мать не спала (ранее) + в) Не ожидается, что (а). Утверждаемый экспликат (спала) в (а) и отрицаемый имплицит (спала) в (б) равнозначны; Д а ж е ребенок поймет это = а) Ребенок поймет это + б) Взрослый поймет это + в) Не ожидается, что (а). Утверждаемый экспликат (реб-*

нок) и утверждаемый импликат (взрослый) несовместимы; *В джазе были только девушки* = а) В джазе были девушки + б) В джазе были не все + в) Ожидается, что в джазе были все. Утверждаемый экспликат (девушки) — ограниченная часть отрицаемого импликата (все); [*Он был голоден.*] *Я тоже* = а) Я был голоден + б) Он был голоден. Утверждаемый экспликат (я) и утверждаемый импликат (он) соподчинены третьему понятию (тот, кто был голоден).

Из анализа этих примеров нетрудно заключить, что соотношения языковых единиц и мыслительных форм, реализующиеся при употреблении данных русских слов, вполне соответствуют соотношениям, продемонстрированным на английском материале. Правомерно предположение, что существует значительная аналогия в соотношениях форм мышления и языковых единиц в различных языках. Одним из путей изучения проблемы этих соотношений является, таким образом, сопоставительное исследование единиц рассматриваемой семантики в разных языках. Другим направлением представляется дифференциация выявленных видов отношений и определение их места среди прочих видов мыслительных отношений. Материал предложений с английскими частицами позволяет, например, сопоставить выражаемые частицами отношения между объемами понятий с другими отношениями понятий, реализующимися в предложении. Среди последних выделяются прежде всего (отраженные в сознании) отношения объектов реальной действительности. Например, в русском предложении *X и Y беседуют* действие представляет собой отношение объектов X и Y и выражено глаголом, а в предложении *X и Y интересны друг другу* адъективное словосочетание выражает состояние, которое также принадлежит к классу отношений объектов. Кроме отношений объектов, существуют и отношения отношений объектов. Например, отношение причины — следствия между указанными отношениями в предложении *X и Y беседуют, потому что интересны друг другу* выражено подчинительным союзом. Данное отношение отношений объектов характеризуется более высокой степенью обобщения по сравнению с отношениями объектов и может быть обозначено как отношение II ступени (если считать более конкретные отношения объектов отношениями I ступени).

Частицы в предложении могут выражать отношения между отношениями отношений объектов — в примере *They didn't invite me to sit down at their table — mainly because they were too ignorant* («Они не пригласили меня за стол — в основном потому, что были слишком невежественны») частица *mainly* устанавливает отношение подчинения между двумя причинами: эксплицитная причина (*because they were too ignorant*) составляет «основную» часть имплицитной причины (*because of something*). Тем самым отношения понятий по объему, выражаемые частицами, представляют собой отношения еще более высокой ступени, нежели, например, отношения причины — следствия между понятиями. Таким образом, частицы выступают как языковые средства, выражающие самые абстрактные отношения между понятиями — отношения III ступени⁴. Изучение частиц в их функционировании в предложении и тексте может стать весьма перспективным также при решении иных существенных проблем взаимоотношения языка и мышления⁵.

⁴ Отношения между отношениями отношений индивидов признаются в логике наиболее абстрактными [13].

⁵ См., например [14—18].

ЛИТЕРАТУРА

1. Психологические и психо-физиологические исследования речи / Под ред. Ушаковой Т. Н. М., 1985.
2. Исследование речевого мышления в психолингвистике / Под ред. Тарасова Е. Ф. М., 1985.
3. *Allwood J., Andersson L.-G., Dahl Ö. Logic in linguistics.* Cambridge, 1977.
4. *Heringer H. Formale Logik und Grammatik.* Tübingen, 1972.
5. *Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка.* М., 1983.
6. *Ахманов А. С. Логические формы и их выражение в языке // Мышление и язык.* М., 1957.
7. *Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления.* М., 1971.
8. *Чесноков П. В. Основные единицы языка и мышления.* Ростов н/Д., 1966.
9. *Cresswell M. Logics and languages.* L., 1973.
10. *Бондарко А. В. Источники смысла высказывания // Slavica slovac.* 1977. Ročn. 12. № 3.
11. *Багдасарян В. Х. Проблема имплицитного логико-методологического анализа.* Ереван, 1983.
12. *Логика / Под ред. Левина Г. А. Минск, 1974. С. 39—46.*
13. *Segeth W. Elementare Logic.* Berlin, 1973.
14. *Michie D. On machine intelligence.* Edinburgh, 1974.
15. *Neisser U. Cognition and reality.* San Francisco, 1976.
16. *Walther J. Logik der Fragen.* Berlin — New York, 1985.
17. *Wettler M. Sprache, Gedächtnis, Verstehen.* Berlin — New York, 1980.
18. *Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл.* М., 1978.

ТАРЛАНОВ З. К.

О ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКОМ ИЗОМОРФИЗМЕ
В ИСТОРИИ ЯЗЫКА

Одна из главных задач, выдвигаемых и обсуждаемых в языкознании, — это, как известно, введение в научный обиход, систематизация и историко-теоретическое осмысление материалов различных языков в их движении или синхронной данности. При этом языковые факты квалифицируются с учетом их хронологической, культурно-исторической, социальной, этносоциальной, социально-территориальной, стилистической и т. д. отнесенности, а также с учетом принадлежности их тому или иному уровню языка. Продолжая и развивая достижения и теоретические установки языкознания XIX в., в котором — при всем его научном богатстве, оснащенности исследовательскими методами и приемами — в центре внимания чаще всего оказывался отдельный факт или ряд таких фактов, языкознание XX в., особенно в послевоенный период, заметно шагнуло вперед прежде всего в понимании языка как объекта изучения и в совершенствовании собственных эвристических процедур: системные представления о языке, ставшие неотъемлемой частью методологии науки, вошли в непосредственную исследовательскую практику. Однако реально выявление, описание и интерпретация системных отношений в языке в конечном счете сводились к выявлению, описанию и интерпретации системных связей и зависимостей внутри того или иного отдельного яруса языка — фонологического, морфемно-морфологического, синтаксического и т. д., и это вполне правомерно и естественно. Но этого недостаточно для того, чтобы судить о языке в целом как о феномене с системной организацией: необходимо учесть межъярусные отношения и взаимоотношения в процессе языкового существования и развития, на что не раз обращалось внимание [1, с. 136, 173; 2, с. 158—160]. Между тем именно этот аспект меньше всего привлекает к себе внимание исследователей, хотя, как учит опыт морфонологии и как будет нами показано, очевидно, что пренебрежение им лишает языкознание ключа к уяснению некоторых важных механизмов в эволюционной истории грамматического строя языков.

Цель настоящей статьи — привлечь внимание к особому явлению, которое можно назвать лексико-синтаксическим изоморфизмом, его месту и роли в истории грамматического строя типологически и генетически разных языков: славянских (русского) и кавказских (восточнолезгинских). Наблюдения основываются на фактах прежде всего современных языков, не нашедших, однако, должного освещения ни в описательно-систематизирующих грамматиках этих языков, ни в грамматиках исторических или историко-сравнительных.

В грамматике современного русского литературного языка отчетливо выделяется на общем фоне глагольно-именных конструкций ряд глагольных словосочетаний, которые разными исследователями квалифицируются по-разному. Речь идет о двухкомпонентных структурах типа *отойти от стола, добежать до дома, войти в театр*.

Касаясь управляемых второстепенных членов предложения в русском языке, А. М. Пешковский, в частности, отмечал, что «... в огромном большинстве случаев употребление того или иного предлога обуславливает употребление того или иного падежа..., но дело в том, что с а м-т о п р е д-л о г зависит от г л а г о л а, так что, например, глагол *въехать* требует непременно предлога *в*, глагол *отказаться* — предлога *от*, глагол *подойти* — предлога *под* или *к* и т. д.» [3]. Таким образом, Пешковский констатирует сам факт соответствия между приставкой глагола и предлогом в современном русском языке, хотя и не обозначает его специальным термином.

В Грамматике-60 подобные сочетания рассматриваются в разделе «Предложные глагольные словосочетания с именами существительными» с указанием выражаемых ими отношений [4].

Те же конструкции в Грамматике-70 даются в разделе «Глагольное управление. Сильное управление» [5, с. 491] с подзаголовком «Связь, при которой управляемая форма предопределена словообразовательной структурой управляющего слова» [5, с. 493], после чего следует перечисление их:

Родительный падеж: *от-* — *от*: *оторваться, отъехать...* *от кого-чего-н.*; ... *с-* — *с*: *сбежать, слезть с чего-н.*; *до-* — *до*: *дойти, ... добраться ... до кого-чего-н.*; ... *из-* — *из*: *изливаться, изгрызаться из чего-н.* ... Винительный падеж: *в-* — *в*: ... *войти, въехать во что-н.*; ... *на-* — *на*: ... *наступить, ... наткнуться ... на кого-что-н.*; ... *за-* — *за*: *заступить за кого-н.* ...; *под-* — *под*: *подлезать, подползти ... под кого-что-н.* Творительный падеж: *с-* — *с*: *соединиться, согласиться, ... смириться с кем-чем-н.*» [5, с. 493—494].

В принципе аналогичен подход к рассматриваемым конструкциям и в Русской грамматике, в которой обзор их предваряется следующим общим замечанием: «§ 1740. Сильное предложное управление глагола во многих случаях бывает предопределено его морфемным составом: вычленяемый префикс по звуковому облику и по значению (или только по значению) дублируется предлогом, и, таким образом, падежная форма с предлогом оказывается в непосредственной зависимости от морфемного состава глагольного слова, т. е. от наличия в нем того или другого префикса.... Наиболее характерное значение объекта при этой связи — это значение предмета отстранения, удаления или приближения» [6, с. 27]. Далее предлагается разбор корпуса сочетаний, в которых глагольному префиксу соответствует предопределенная им предложно-падежная форма: род. пад.: *от-* — *от* (*отойти от чего-нибудь*); *до-* — *до* (*доехать до чего-нибудь*); *из-* — *из* (*изрыгаться из чего-нибудь*); *с-* — *с* (*сойти, слезть с чего-нибудь*); дат. пад.: *по-* — *по* (*побежать по дороге*); вин. пад.: *в-* — *в* (*войти во что*); *на-* — *на* (*наступить, наскочить на кого-что-нибудь*); *за-* — *за* (*зайти за что-нибудь*); *под-* — *под* (*подлезть под что-нибудь*); *о* (*об-*) — *о* (*об*) — *облокотиться об что-нибудь*); творит. пад.: *с-* — *с* (*соединиться, сжиться с кем-чем-нибудь*); *пред-* — *перед* (*предстать перед кем-нибудь*); *над-* — *над* (*надругаться над кем-чем-нибудь*) [8, с. 27—29].

С точки зрения охвата и направленной «подачи» интересующих нас конструкций Грамматика-70 и Русская грамматика оказываются полнее, т. к. в них 1) данные и аналогичные им конструкции характеризуются и классифицируются в связи с рассмотрением управления как типа синтаксической связи и его разновидностей, что делает научный анализ более предметным; 2) констатируется реально представленное в языке соответствие между словообразовательной структурой стержневого глагола

и предложно-падежной формой подчиненного компонента словосочетания; 3) в этом соответствии определяющей, обуславливающей стороной в синхронном аспекте признается словообразовательная структура глагола. При этом важное место отводится тому, что «вычленяемый префикс (глагола.— Т. З.) по звуковому облику и по значению ... дублируется предлогом» [6, с. 27]. Тем самым в соответствии с задачами и логикой описания глагольно-именных словосочетаний в современном русском литературном языке в конечном счете предпочтение отдается семантическим комментариям, и нет оснований с этим не соглашаться.

Однако приведенные и иные выдержанные в строго синхронном русле наблюдения и выводы не дают ответа на главные вопросы: что значит сам факт материального и содержательного дублирования глагольной приставки предлогом падежа, которым глагол управляет? Когда и чем оно было вызвано к жизни? Каким тенденциям это явление в истории русского языка подчинялось и можно ли считать его специфически русским? На последний вопрос сразу напрашивается ответ отрицательный: приставки глаголов в виде соответствующих предлогов воспроизводятся, как известно, во всех современных и древних славянских языках.

Что же касается остальных вопросов, то их либо не ставят, либо же касаются настолько редко и случайно, что по имеющимся разбросанным сведениям трудно составить какое-то целостное представление о сущности и эволюции явления, о котором идет речь. Так, имея в виду генезис глагольной приставки и совпадающего с ним предлога, ссылаются на существование их еще в доисторический период [7]; высказывались суждения о последовательности происхождения предлогов и приставок. Согласно, например, А. А. Потебне, последняя стадия формальности предлога обнаруживается в том, что он перестает существовать в качестве отдельного слова и «становится префиксом (реже суффиксом) падежа и префиксом глагола» [8, с. 123]. Характеризуя развитие аналитического строя и изменение функций предлогов в русском языке, В. В. Виноградов писал: «В русском литературном языке с XVII—XVIII вв. протекает медленный, но глубокий процесс синтаксических изменений в системе падежных отношений. Функции многих падежей осложняются и дифференцируются сочетаниями с предлогами. Так, с XVIII в. особенно широко распространяются предложные конструкции после глаголов *избежать*, *избавить*, *отстать*, *отпираться*, *отрекаться* и т. п. (родительный падеж с предлогом *от* вместо прежнего родительного беспредложного), например: „Когда весь свет отрекся от меня“...» [9]. Это замечание В. В. Виноградова нельзя понимать, однако, слишком прямолинейно, как отрицание возможности соответствующих предложных конструкций в языке до XVII в., ибо, во-первых, то, что В. В. Виноградов считает набирающим силу с XVIII в., было распространено уже в древнейший период русского языка; ср., например, родительный с предлогом *от* при глаголе *отречи* в Ефремовской кормчей XI в.: ѿ бжъствѣнааго писаниа и оумноженіе и лихва ѿреченныхъ естъ [цит. по 10, стлб. 308]; во-вторых, употребление предложных и беспредложных конструкций в древнерусском языке XI—XVII вв. обнаруживает отчетливую обусловленность характером выражаемых ими отношений: конкретно-пространственные и близкие к ним отношения реализуются предложными конструкциями, в то время как беспредложным чаще всего соответствуют отношения абстрактные. Как бы то ни было, случаи материального дублирования глагольной приставки предлогом определенного падежа хорошо известны уже в древнерусский период и поэтому не могут квалифицироваться как специфические черты

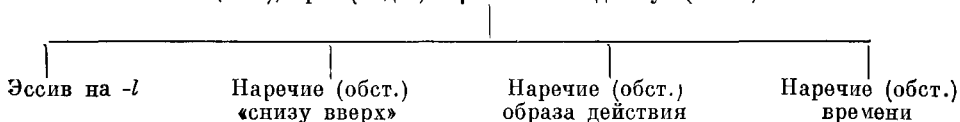
русского языка нового или новейшего времени. Вот еще несколько произвольно взятых примеров: *на- — на:* Се же имѣте во истину, тако же сътвори нынѣ къ вамъ, написахомъ... на харѣты сеи и своими печатми запечатахомъ [10, стлб. 308] (X в.); Да кленутса ѿ всемь, таже суть написана на хараты сеи (там же) (X в.).

Таким образом, то, что в описательных грамматиках современного русского языка определяется как дублирование глагольных приставок предлогами (в чем в свою очередь усматривается один из способов выражения сильного управления), восходит к глубокой древности и, безусловно, не имело отношения к столь слабо развитому в тот период типу синтаксической связи, каким являлось управление, ибо для строя древней речи в силу ее паратаксичности была чужда иерархичность фразы языков новых: «И насколько отсутствие перспективы в живописи древнее ее присутствия, настолько ... паратаксические обороты по типу древнее таких, конечно, тоже восходящих в глубокую древность, но более согласных с нашей привычкой к объединению мыслей» ... [11]. Если это так (а другой столь же убедительной теорией мы не располагаем), то в тот отдаленный период, когда рассматриваемые конструкции зарождались, предлог при падежной форме не мог предопределяться глагольной приставкой, поскольку глагол еще не доминировал в предложении, следовательно, не мог у п р а в л я т ь в современном смысле этого термина. Глагол и имя, употребляясь в речи, вступали между собой н е в о т н о ш е н и е с у б о р д и н а ц и и, у п р а в л е н и я, что является достойным отношением поздней стадии в развитии грамматического строя языков, а в о т н о ш е н и е к о о р д и н а ц и и, м а т е р и а л ь н ы м в ы р а ж е н и е м к о т о р о й с л у ж и л л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с к и й и з о м о р ф и з м. Сущность его сводилась к тому, что сочетавшиеся между собой глагол и имя реализовывали общее для них отношение лишь постольку, поскольку по отдельности включали в себя слово-формант, выступавший носителем этого отношения. Это слово-формант условно можно назвать изоморфом (изоформантом), оно на первых порах не было ни приставкой, ни предлогом, представляя собой синкретичную, глагольно-именную принадлежность. Так как исконные, первоначальные отношения, выражавшиеся изоформантами, были отношения пространственные, то ясно, сколь велика была роль параллельного повтора в языковой реализации этих отношений. Например, для обозначения «направления от крайней, ближайшей к говорящему, точки предмета, без оттенков поверхности, внутренности, выражаемых предлогами *с, из*», «пребывания на расстоянии, считаемом от известного (другого) предмета» [12, с. 252] употреблялся изоформант *отъ*: *Отъбѣжати отъ стѣны*. По мере развития грамматического строя языка, роста поляризации между глаголом и именем синтаксис перестает нуждаться в опоре на лексику и лексико-синтаксический изоморфизм уходит в прошлое, а изоформанты трансформируются в форманты глагола и имени, с этого времени образтаемые большим количеством вторичных, в том числе и обобщенных, значений (см., например [12, с. 252—285]). В сложившемся в результате этого соответствии между предложно-падежной формой имени, с одной стороны, и морфемной структурой глагола, с другой, прослеживается, в частности, одна из линий «точной связи между падежами и прочими морфологическими категориями... языка» [13].

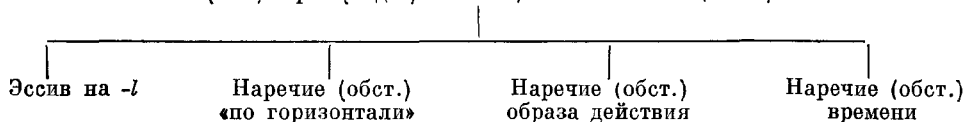
В принципе тот же изоморфизм, но только гораздо более последовательно сохранившийся, обнаруживается, например, и в кавказских язы-

ках, в частности, в восточнолезгинских — в сфере локативных падежей и глаголов с пространственными превербами [14]. В этих языках глагол оказывается выдвинутым в центр предложения с вершинообразующей функцией именно в силу его изоморфной соотносительности с именем. Это особенно наглядно видно на примере глаголов движения, перемещения и других смежных с ними групп. Семантика глагола, реализуемая составом его морфем, уже содержит в себе информацию о падежных формах, с которыми глагол сочетается, и в целом о его формальной структуре. Так, аффикс, начинающий основу глагола, указывает на направленность действия в пространстве, является изоморфным форманту соответствующего локативного падежа; следующий аффикс, тоже передавая пространственную семантику, конкретизирует ее с точки зрения направленности действия по вертикальной или горизонтальной оси, ср.: *alçadiwas* «поднять» при *alçadiwas* «натянуть». Кстати, нередко корень тоже содержит достаточно ясный намек на характер перемещения действия (это — наиболее обобщенный и постоянный элемент лексического значения) [15], с суффиксами же временных форм связывается синтагматика обстоятельственных слов, ср.:

(Им.), эрг. (подл.) *alçadiwase* «подниму» (сказ.)



(Им.). эрг. (подл.) *alçadiwaja* «натягиваю» (сказ.)



Порядок синтагматического расположения глагольных приставок и падежных аффиксов, служащих для выражения пространственных отношений, один и тот же: поскольку каждым аффиксом реализуется, как правило, одно значение, то в последовательности аффиксов передается последовательность и актуальность соответствующих смыслов, ср., например, значения превербов *al-*, *-a-* в глаголе *aladiwas* «снять», а также соотносительных с ними падежных формантов *-al(-il)*, *-as* в существительном *gunčalas* «с горки» в словосочетании *gunčalas aladiwas* «с горки снять». Как видно из примеров, наиболее отчетливой способностью предварять структуру предложения обладают производные многоморфемные глаголы. Что же касается непроизводных или производных маломорфемных глаголов, то они довольно индифферентны по отношению к структуре предложения: они характеризуются свободной лексико-синтаксической валентностью, ср.: *aças* «делать», *lixas* «работать», *iças* «мыть, стирать», *liķes* «писать», *xugas* «учить, учиться», *γurγas* «говорить, разговаривать» и т. д. В подобных случаях глагол не указывает на направления развертывания предложения, ибо он может свободно сочетаться со многими словами как предметной, так и обстоятельственной семантики.

В восточнолезгинских языках представлена типологически более ранняя, чем в славянских языках, стадия лексико-синтаксического изоморфизма, когда имя и глагол последовательно симметрично участвуют в выражении локативных отношений (таковы агульский и табасаранский языки). Однако и здесь налицо нарушение симметрии между ними, благодаря

чему активизируется процесс утраты локативных падежей, с одной стороны, преворбов локативной семантики — с другой (это отчетливо прослеживается на материале собственно лезгинского языка). Результатом названного процесса и в данных языках оказывается исторически наметившаяся с древнейших времен и соответствующая развитию мысли поляризация имени и глагола.

Таким образом, непредвзятый взгляд на приведенные выше факты, при всем том, что они принадлежат генетически и типологически разным языкам, убеждает в принципиальном тождестве процесса, который их породил. Возникая в разных группах языков на разных исторических этапах, лексико-синтаксический изоморфизм представлял собой необходимую ступень на пути превращения вещественных или полувещественных слов-корней в соответствующие глагольные и именные форманты: первоначально воплощая одну и ту же, общую для еще не противопоставленных друг другу глагола и имени семантическую доминанту, изоформанты, преобразуясь в глагольные приставки, предлоги или окончания локативных падежей, умножали грамматические средства языков, тем самым способствуя разделению зон глагола и имени. Ярким свидетельством изначального вещественности изоформантов служит сохранившаяся до наших дней и хорошо известная омонимия глагольных приставок, предлогов, послелогов и окончаний локативных падежей, с одной стороны, наречий, имен существительных — с другой. Ср. совр. русск. *под-ложить под печь* и *под* «дно, низ», а также соответствующие форманты и существительные в других славянских языках: укр. *під* «нижняя часть стога сена», белорусск. *под* «нижняя часть; подножие горы», др.-русск., ср.-болг. *подъ* «основание», болг. *под* «пол» и т. д. [16]; приставка *перед-* (*пред-*), предлог *перед* (*пред*) и *перед* (*передок*); агулск. формант аблативов *-as* (*-es, -us*) и существительное *из* «место, основа, гора». Количество подобных примеров, представляющих собой рудименты, осколки некогда живого лексико-синтаксического изоморфизма, нетрудно увеличить. Характеризуя именно такие случаи, А. А. Потебня писал: «В пути от знаменательности наречия к формальности предлога не бывает скачков и перерывов. Высшая степень формальности предлога обнаруживается в том, что он перестает чувствоваться как отдельное слово и становится префиксом (реже суффиксом) падежа и префиксом глагола. Но сначала и ставясь перед глаголом, наречие-предлог рассматривается как самостоятельное слово и может отделяться от глагола другими словами» [8, с. 123—124]. По-видимому, А. А. Потебня все же неправ, когда глагольные приставки объявляет хронологически вторичными по отношению к предлогам и производными от них. Во-первых, едва ли можно считать убедительным тезис, в соответствии с которым приставки менее самостоятельны семантически, чем предлоги. Во-вторых, если бы генетически приставки глагола представляли собой достигшие «высшей степени формальности» предлоги, тогда бы не было фактической базы для установления соответствий между глаголами с определенными приставками и симметричными им предлогами. Коль скоро соответствия между ними складывались, они не могли быть «пустыми», абсолютно формальными, ибо, как справедливо заметил еще Фр. Бопп, «...языковой организм соединяет значимое со значимым» [17, с. 35]. Соответствия, симметрия порождались одним и тем же словом-корнем, только повторенным в рамках высказывания дважды: в глагольной основе и в именной основе. Повторялся именно изоформант. Расщепляясь, он давал приставку — в составе глагола и предлог или окончание падежа — в составе имени, тем самым создавая материально и семантически совпадающие морфемы,

призванные обслуживать потребности слов разных лексико-грамматических классов. Как лексико-синтаксический изоморфизм, так и последующее развитие на его основе омонимичных глагольных приставок, предлогов, а также формантов локативных падежей и т. д. находились в полном согласии с древнейшим состоянием грамматического строя языков, когда имена и глаголы не были еще резко противопоставлены и «вырастали совместно, как побеги единого ствола» [17, с. 33].

Предлагаемая здесь гипотеза, охватывая всю совокупность изоморфно связанных фактов именной и глагольной морфологии соответствующих языков, не только дает целостное представление о характере и типологической направленности процесса становления и эволюции грамматических форм, но и несет вполне определенную объяснительную нагрузку, подтверждаемую всей обозримой историей языка. В самом деле, если, например, пространственные отношения в языке с древнейших времен выражаются синхронно соотносительными между собой именными и глагольными лексемами, то почему исследовательская задача должна сводиться к поиску ответа на вопрос, какая из этих двух групп лексем раньше стала реализовывать эти отношения. Не логичнее ли предположить, что материально одинаковые компоненты именных и глагольных лексем при всей их полярности в современных языках были порождены одним и тем же фронтально действовавшим процессом? В таком случае история языка предстанет перед нами не как набор изолированных деталей, а как процесс, подчиненный определенным тенденциям, что не всегда учитывается в достаточной мере. Так, например, в работе В. Н. Топорова «Локатив в славянских языках» [18], выполненной на богатом и обширном материале, содержащей много тонких семантических квалификаций рассматриваемых в ней локативных форм, остается незатронутым вопрос о направлениях взаимодействий между структурой падежной формы, с одной стороны, и структурой сочетающейся с ней глагольной лексемы — с другой. Сами линии развития морфологии падежа, падежного синтаксиса в славянских языках, последовательности появления тех или иных значений трудно улавливаются, поскольку анализ оказывается скорее дробным, чем обобщающе-систематизирующим.

Направления и зоны действия лексико-синтаксического изоморфизма не ограничивались только теми областями, которые были связаны с формированием глагольных приставок, формантов падежей имени. Они охватывали и процесс складывания личного спряжения глагола (в этом случае в отношении изоморфизма оказывались личные местоимения и глаголы), и историю безличных предложений и т. д. Таким образом, знаменитая теория агглютинации Фр. Боппа, объясняющая генезис личного спряжения в и.-е. языках, представляет собой, в сущности, результат наблюдения над частным проявлением того же закона лексико-синтаксического изоморфизма. Нельзя, кстати, не заметить в этой связи, что принципиальное положение, сформулированное Фр. Боппом применительно к и.-е. языкам, полностью подтверждается данными агглютинативных восточнолезгинских языков, в которых становление личных форм глагола происходит чуть ли не на наших глазах (ср., например, табасаранский язык, кошанский диалект агульского языка и др.).

Подытоживая сказанное, можно сделать ряд выводов, не лишенных, как представляется, некоторого историко-теоретического интереса:

1. Из того факта, что в качестве предмета для наблюдения привлекаются данные славянских и дагестанских языков, ни в коем случае не следует, что между этими языками в какой бы то ни было форме усматрива-

ется структурный изоморфизм. Речь идет лишь о том, что в обоих типах языков при всех различиях в их исторических судьбах и структуре обнаруживаются пережиточные с точки зрения их внутренней истории, но достаточно целостно и серийно представленные рефлекс морфологических систем, порожденных принципиально идентичными процессами, отражающими типологические закономерности в истории языков, «призванные обслуживать прогрессирующее мышление» [2, с. 147]. При реконструировании соответствующих процессов и установлении их идентичности полностью исключается противоречащая методологии сравнительно-исторических, сравнительно-типологических исследований и эвристически не оправданная экстраполяция. Анализ показывает, что типологически разные языки, развивая функционально аналогичные явления, переживают одни и те же по их смыслу процессы, создавая сходные «элементы традиции» в употреблении языка [19].

2. Становление и совершенствование грамматического строя языков, развитие которого есть, как это показано опытом сравнительно-исторического языкознания, движение от простого к сложному, от конкретного к абстрактному, от функциональной простоты к функциональному усложнению, обуславливаются кардинально различными законами в разные периоды их истории. Для древнейших этапов чрезвычайно важна была роль лексико-синтаксического изоморфизма как необходимой ступени, призванной переориентировать лексические средства (слова с вещественными значениями) на выполнение грамматических функций, ибо, как убеждает опыт языкознания, лексическое первично по отношению к грамматическому [2, с. 165]. Первоначально такие слова совмещали свои исконные вещественные значения с выполнением той или иной грамматической функции, которая реализовывалась лишь в силу соответствующего синтаксического употребления. При этом синтаксическое употребление предполагало повторение одного и того же слова-корня согласно тому, как была представлена субъектно-предикатная, предикатно-объектная, предикатно-обстоятельственная и т. д. структура высказывания (предложения), которое (слово) синтаксически повторялось, дублировалось для выполнения определенной грамматической роли (изоформант) и в конце концов трансформировалось в глагольно-именные форманты (приставки, суффиксы, предлоги, послелоги, окончания локативов и т. д.). Хронологически лексико-синтаксический изоморфизм как живой грамматический процесс соответствует тому периоду, когда синтаксис был, согласно А. А. Потебне, исключительно паратаксическим, а глагол и имя во многом продолжали подчиняться одним и тем же процессам. Он сыграл активную и конструктивную роль в истории флективных и агглютинативных языков.

3. Попытки осмыслить изменения, которые происходили в грамматической структуре языков, с целью сформулирования общих закономерностей тем более актуальны, что в многочисленных исторических и сравнительно-исторических исследованиях, охватывающих главным образом фонетико-фонологический и лексико-семантический уровни языка, морфология и синтаксис не так уж часто попадают в поле зрения исследователей (см., например [20]). Это делает полезным всякое обращение к проблемам исторической морфологии и исторического синтаксиса на любом доступном материале самых разных языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Якобсон Р.* К общему учению о падеже. Общее значение русского падежа // *Якобсон Р.* Избр. работы. М., 1985. С. 136, 173.
2. *Климов Г. А.* Принципы континентальной типологии. М., 1983.

3. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956. С. 285.
4. Грамматика русского языка. Т. II. Синтаксис. Ч. 1. М., 1960. С. 138—210.
5. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
6. Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. М., 1980.
7. *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1959. С. 457.
8. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. 2-е Изд. Харьков, 1888. С. 123.
9. *Виноградов В. В.* Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.—Л., 1947. С. 695—696.
10. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. Вып. 1. СПб., 1895.
11. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. III. М., 1968. С. 163.
12. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. IV. М.—Л., 1941.
13. *Якобсон Р.* Морфологические наблюдения над славянским склонением (состав русских падежных форм): Доклад на IV Международном съезде славистов (Москва, 1958) // *Якобсон Р.* Избр. работы. 1985. С. 195.
14. *Тарланов З. К.* К вопросу об изоморфизме глагольно-именных формантов в дагестанских языках // ВЯ. 1980. № 3.
15. *Тарланов З. К.* Язык и культура. Петрозаводск, 1984. С. 54—58.
16. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1971. С. 295.
17. *Бопп Фр.* Сравнительная грамматика санскрита, венда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М., 1960.
18. *Топоров В. Н.* Локатив в славянских языках. М., 1961.
19. *Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963. С. 246.
20. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. М., 1981.

ТОПОРОВА Т. В.

**ПРОБЛЕМА ОРИГИНАЛЬНОСТИ: ГОТСКИЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА
И ФРАГМЕНТЫ ТЕКСТА**

Готский язык неоднократно привлекал внимание специалистов; трудно переоценить его значение для лингвистических исследований. Впервые вовлеченный младограмматиками в сферу систематического научного анализа, этот язык приобрел особую ценность по ряду причин: из-за своей архаичности [Библия Вульфила датируется IV в., в то время как древнейшие тексты на других германских языках в основном относятся к VIII в. (не считая рунических надписей)], уникальности (единственный представитель восточногерманского ареала, зафиксированный в большом объеме) и незавершенности некоторых языковых процессов, находящихся в стадии конституирования. Специфический статус готского языка предопределил интерес исследователей к поиску его общих черт с другими древнегерманскими языками, поскольку именно готский послужил и точником общегерманских реконструкций и стимулировал изучение морфологии и синтаксиса, позволивших восстановить общегерманские парадигмы и определить важнейшие тенденции эволюции синтаксиса. Тем самым в оппозиции «общее — частное» применительно к готскому языку акцент ставился преимущественно на первом элементе и подчеркивалась необходимость установления подобия готского и других германских языков, т. е. проблема частного, специфического в готском языке явно отодвигалась на задний план. Такая ситуация сложилась в результате действия различных объективных факторов: во-первых, Библия Вульфила — переводной памятник, испытавший влияние со стороны греческого оригинала; во-вторых, готский язык отличается стилистической замкнутостью, поскольку он в значительной степени исчерпывается трудом Вульфила, в принципе характеризующимся жанровым единообразием; в-третьих, процесс перевода Библии предполагал выработку литературной нормы и высокую степень кодифицированности текста. Таким образом, проблема оригинальности готского языка — возможности отклонений от греческих образцов¹, создание самостоятельных концепций в сфере семантики² и их реализация в тексте — практически не затрагивалась³. Целью настоящей статьи является попытка хотя бы частично заполнить эту существенную лакуну.

¹ На необходимость изучения подобных явлений, правда, в несколько ином аспекте указывал, например, В. Штрайтберг [1, с. VII]: «Denn der gotische Text... entfernt sich an zahlreichen Stellen vom Wortlaut des Originals. Soll das Verständnis vollkommen sein, so müssen auch die Quellen dieser Änderungen aufgedeckt werden. Alle Abweichungen führen auf zwei Ursachen zurück: auf den Einfluss fremder Bibeltexte, in der Regel altlateinischen Übersetzung und auf die Einwirkung der Parallelstellen».

² Специалистов интересовало создание Вульфиллой лишь христианских концепций.

³ Ср., однако [2, 3].

В статье используется метод индексации, позволяющий комплексно описать готские сложные слова, учесть различные признаки этих лексем во всей их совокупности и дать им объективную оценку в виде математического показателя — индекса. Таким образом, определенные параметры, имеющие отношение к качеству готских композитов, реализуются в количественных характеристиках.

Объектом исследования под данным углом зрения являются готские композиты и фрагменты текста. Выбор материала обусловлен общим композиционным принципом, заключающимся в наличии по крайней мере двух элементов, образующих минимальный «составной» образ (микротекст), при этом имеется в виду выявление семантической природы определенных структур языка и текста.

А. Готские композиты

Анализу подвергаются готские сложные слова⁴, не имеющие параллелей как единое целое в других древнегерманских языках (хотя первый или второй элемент таких композитов может встречаться поодиночке, их сочетание засвидетельствовано лишь в готском), и поэтому их автономность не может вызывать сомнений. Кроме того, исключаются композиты, компоненты которых представляют заимствования (типа *lukarnakstafs*), а также кальки, отмеченные в словарях готского языка [4, 5], поскольку в таких случаях речь не может идти об оригинальности готских лексем.

Каждый готский композит сопровождается соответствующим индексом, в котором первая цифра отражает соотношение с греческой лексемой (1 — готское сложное слово передает греческий композит, 2 — греческое сочетание лексем, 3 — греческое простое слово), вторая — встречаемость в тексте (1 — гапакс, 2 — зафиксировано неоднократно, 3 — имеет производные), третья — степень мотивированности готской лексемы (0 — отсутствие мотивировки, 1 — наличие мотивировки хотя бы одного из компонентов, 2 — наличие сочетания слов, аналогичного композиту), четвертая — степень соответствия элементов готского композита в древнегерманских языках (0 — оба элемента представлены в других германских языках, 1 — какой-либо элемент отсутствует в них), пятая — наличие (1) или отсутствие (0) идентичных индоевропейских композитов. В целом данные параметры позволяют извлечь максимальную семантическую информацию из готских фактов и исчерпывающе описать их, хотя все же остаются некоторые промежуточные случаи, нуждающиеся в конкретизации. Уточнений и комментариев требует прежде всего первый показатель, определяющий соотношение готского и греческого слова, так как выделяется ряд примеров, в которых не может быть установлено их однозначное соответствие. При этом возможны три варианта: один греческий композит передается двумя готскими (*οικοδομότης* «домо-хозяин» — *garda-waldands* «дома властитель» и *heiva-frauja* «семья господин») или наоборот (*υβιλ-τοjis* «зло-дей» — *αχολοβός, αχορροός*) и неточный готский перевод (например, *φιλάργρος* «сребро-любивый» — *faihu-friks* «к имуществу жадный»). Надо отметить также известную относительность и условность градации готских лексем на простые и сложные:

⁴ Исследуемые композиты представлены в Библии Вульфила, Skeireins не привлекается для анализа, поскольку это непереводной текст, и в индексе его слов отсутствовал бы первый параметр.

например, греческая приставка $\acute{\alpha}$ - со значением отрицания, как правило, передается гот. *laus* «пустой, лишенный» ($\acute{\alpha}\chi\alpha\rho\kappa\omicron\varsigma$ «бесплодный» — *akrana-laus* «плодов лишенный»), близким к суффиксу, или $\sigma\upsilon\lambda$ -«со» — *sama-laus* «тот же, одинаковый» ($\text{σομ}\phi\upsilon\gamma\omicron\varsigma$ «со- (едино-) душевный» — *sama-saiwals*), напоминающим приставку; при этом решающим аргументом в оценке готского слова является функционирование элементов в качестве самостоятельных лексем (как это обстоит с *laus* и *sama*). Следует также иметь в виду неоднородность самих готских лексем, их принадлежность к разным стилистическим сферам (ср. подверженность народной этимологизации названий растений: *baira-bagms* и др.). Необходимо помнить и о наличии простых дублетов готских композитов в различных кодексах [*la*]-*leiko* (II K 12, 15 A) ⁵ — *gabaurjaba* (II K 12, 15 B)]. Учитывая указанные сложности в трактовке индексов, нужно отметить, что в основном они гарантируют в достаточной мере надежность и адекватность описания готских композитов.

1) *Aihva-tundi* «имеющий коня зуб» — $\beta\acute{\iota}\tau\omicron\varsigma$ «терновник»; L 6, 44; 20, 37; Mc 12,26 — 32000.

2) *Aina-mundiþa* «едино-мыслие» — $\acute{\epsilon}\nu\omicron\tau\eta\varsigma$ «единство»; E 4,3. 13, C 3,14; др.-инд. *eka-matīś* — 32001.

3) *Akrana-laus* «плодов лишенный» — $\acute{\alpha}\chi\alpha\rho\kappa\omicron\varsigma$ «бесплодный»; гапакс, Mk 4,19: ... *jah anþar lustjus ... afhvapjand þata waurd, jah akranalaus wairþiþ*... и другие пожелания ... заглушают слово и оно бывает без плода» — 31000.

4) *Ala-þarba* «все-нуждающийся» — $\eta\rho\acute{\epsilon}\alpha\tau\omicron$. $\acute{\upsilon}\sigma\tau\epsilon\rho\epsilon\acute{\iota}\sigma\theta\alpha\iota$ «он начал нуждаться»; гапакс, L 5, 14; *dugann alaþarba wairþan* «он начал всенуждающимся становиться» — 32000.

5) *Alja-kuns* «чужого рода» — $\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\gamma\epsilon\nu\eta\acute{\iota}\varsigma$ «чужого рода»; гапакс, R 11,24: ... *aljakuns wisands* — 11001.

6) *Awi-liuþ* «блага воспевание» — $\chi\acute{\alpha}\rho\iota\varsigma$ «благодарность» II K 2, 14 и др., *awi-liudon* — $\epsilon\upsilon\chi\alpha\rho\iota\sigma\tau\epsilon\acute{\iota}$ «благодарить» — 33000.

7) *Baira-bagms* «медвежье дерево» — $\sigma\upsilon\kappa\acute{\alpha}\mu\iota\nu\omicron\varsigma$ «смоковница»; гапакс, L 17,6: ... *qiþeiþ du bairabagma þamma* «... говорите смоковнице» — 31000.

8) *Balwa-wesei* «зло-сущее» — $\kappa\alpha\kappa\acute{\iota}\alpha$ «зло»; гапакс, K 5,8: ... *in beista balwaweseins jah unseleins* «... с закваскою порока и лукавства» — 31000.

9) *Baurgs-waddjus* «городская стена» — $\tau\epsilon\acute{\iota}\gamma\omicron\varsigma$ «стена»; гапакс, Neh 6, 15: *jah ustauhana warþ so baurgswaddjus* ... «и закончена была городская стена...» — 31000.

10) *Bloþa-rinnandei* «с кровотоком» — $\alpha\iota\mu\omicron\rho\rho\omicron\upsilon\sigma\alpha$ «с кровотоком»; гапакс, M 9,20: *qino bloþarinnandei* «женщина (страдающая) кровотоком», *runs bloþis* (L 8,44) «истекание крови» — 11200.

11) *Broþru-lubo* «брато-любие» — $\phi\iota\lambda\alpha\delta\epsilon\lambda\phi\acute{\iota}\alpha$ «брато-любие», R 12, 10, Th 4,9 B, русск. *братолюбие* — 12001.

12) *Bruþ-faþs* «невесты господин» — $\nu\omicron\mu\phi\acute{\iota}\omicron\varsigma$ «женых». L 5,34 и др., в др.-герм. языках отсутствуют лексемы, родственные гот.- *faþs* — 32010.

13) *Draukti-witoþ* «военный закон» — $\sigma\tau\rho\alpha\tau\epsilon\acute{\iota}\alpha$ «войско», гапакс, T 1, 18: ... *ei driugais in þaim þata godo draukti witoþ* «...чтобы ты воинствовал с ними согласно доброму военному закону» — 31100.

14) *Eisarna-bandi* «железные оковы» — $\acute{\alpha}\lambda\upsilon\sigma\iota\varsigma$ «оковы», гапакс, L 8, 29: ... *b u n d a n s was eisarnab a n d j o m jah þotub a n d j o m fastaiþs was* «...скован был железными оковами и скреплен ножными оковами» — 31100.

⁵ Здесь используются общепринятые сокращения готских текстов.

15) *Faihu-friks* «к имуществу жадный» — φιλάργυρος «сребро-любивый», К 5, 10,11 и др., *faihu-frikei* «к имуществу жадность» — πλεονεξία «жадность» — 13000.

16) *Faihu-gawaurkei* «имущества делание» — πορισμός «добывание, приобретение», гапакс, Т 6,5: ... *hugjandane faihugawaurki wisan gagudein...* «...думающих, будто благочестие служит для прибытка...» — 31000.

17) *Faihu-geigan* «имущество желать» — ἐπιθυμεῖν «желать», гапакс, R 13,9: ... *nih faihugeigais* ... «... не желай имущества...» — 31000.

18) *Faihu-skula* «имущества должник» — χρεοφειλέτης «долг обязательный», гапакс, L 16,5: *jah athaitands ainhvarjanoh faihus k u l a n e... qar* ... *hvan filu s k a l l fraujin meinamma?* «призвав одного из должников ... сказал ...: сколько ты должен господину моему?» — 11100.

19) *Faihu-ḡraihna* «имущества нагнетение» — μαμωνά «богатство», L 16,9; 11,13 — 32000.

20) *Fidur-ragini* «четверо-властие» — τετραρροῦντος «четверо-властие», гапакс, L 3,1: ... *r a g i n o n d i n Puntiau Peilatau Iudaia, jah fidur-r a g i n j a i s Galeilaias Herodeis...* «... когда Понтий Пилат властвовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее...» — 11100.

21) *Filu-deisei* (< *filu-leisei*) «много-знание» — παροργία «хитрость», II К 11,3, E 4,14 — 32010.

22) *Filu-faihs* «много-цветный» — πολποικίλος «много-цветный (разнообразный)», гапакс, E 3,10 A: ...*so filufaiho handugei gudis* «...разнообразная премудрость божья» — 11000.

23) *Filu-galaufs* «много-ценный» — πολύτιμος «многоценный (драгоценный)», гапакс, J 12,3; ... *balsanis ... filu-galauhis...* «... мира ... драгоценного...» — 11000.

24) *Filu-waurdei* «много-словие» — πολλολογία «многословие», гапакс, M 6,7; ...*ni filu w a u r d j a i, swaswe fai fiudo; ŷugkeiŷ im auk ei in filu w a u r d e i n seinai andhausjaindau* «... не говорите много, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны», *filu-waurdjan* — μη βλατολογήσητε «не болтайте» — 12100.

25) *Fotu-bandi* «ножные оковы» — πέδη «оковы», гапакс, L 8,29 (см. *eisarna-bandi*) — 31100.

26) *Frasti-sibja* «ребенка родство» — υιοθεσία «сына прием (усыновление)», гапакс, R 9,4: *ŷai ei sind Israeleitai, ŷizeei ist frastisibja...* «то есть Израильтян, которым принадлежит усыновление...», в др.-герм. языках отсутствуют эквиваленты *frasti-*, — 11010.

27) *Fraŷja-marzeins* «ума обольщение» — ἐξατόν φρενατατά «ума обольщение», гапакс, G 6,3; ...*sis silbin fraŷjamarzeins* «...самого себя ума обольщение» — 11000.

28) *Frijaŷwa-milds* «приязнь мягкий» — φιλόστοργος «нежно любящий», гапакс, R 12. 10 A: *broŷralubon in izwis misso frijaŷ wamildjai...* «будьте братолюбивы друг к другу с нежностью...» — 11000.

29) *Fulla-fraŷjan* «полностью понимать» — σφρανεῖν «понимать», гапакс, II К 5, 13: *unte jaŷŷe usgeisnodedum, guda: jaŷŷe fullaŷraŷjam* «если мы выходим из себя, то для бога, если же разумны, то для вас» — 31000.

30) *Fulla-weis* «полностью знающий» — τέλειος «совершенный», гапакс, K 14,20: ...*ei fullaweisai sijai* «...умом будьте совершенными», *fullaweisjan* — πείσμε «убеждать, уговаривать», II К 5,11: *w i t a n d a n s nu agis frauŷins mannans fullaw e i s j a m...* «зная же страх божий, мы делаем людей совершенными...» — 33100.

31) *Gabaurŷi-waurd* «родо-словная» — γενεαλογία «родо-словная», гапакс, I T 1,4: *niŷ-ŷan atsaihvaina spille gabaurŷiwaurd andalausaze...*

«и не занимались баснями и родословиями бесконечными...» — 11000.

32) *Galiuga-guṣ* «ложный бог» — εἰδωλον «образ (идол)», К 10,8 и др., К 10,19—20: ... *ḥatei ḥo g a l i u g a g u d a hva sijaina aiḥḥau ḥatei g a l i u g a m saljada hva sijai? jan-ni g u d a... g a l i u g a g u d a...* «...что ложный бог есть что-нибудь, или жертвовать ложно значит что-нибудь? ...ложному богу, ...а не богу...» — 32100.

33) *Galiuga-broḥar* «ложный брат» — ψεῦδᾶδελφος «ложный брат», G 2,4 и др. — 12000.

34) *Garda-waldands* «домо-властитель» — οἰκοδεσπότης «домо-властитель» L 14,21, M 10,25 — 12000.

35) *Gilstra-meleins* «налога запись» — ἀπογραφὴ «запись (долговая)», гапакс, L 2,2: ... *g a m e l j a n allana midjungard, soh ḥan gilstram e l e i n s frumista warḥ...* «...переписать всех людей, и эта перепись налогов стала первой» — 32100.

36) *Grinda-fraḥjis* «с размолотым умом» — σλιγφύγος «мало-душный», гапакс, Th 5,14: ... *ḥraḥstjaiḥ ḥans grindafraḥjans* «...утешайте малодушных...» — 11000.

37) *Grundu-waddjus* «основания стена» — θεμελίος «основание», гапакс, II T 2,19: *aḥḥan tulgus grunduwaddjus gudis standiḥ...* «но твердое основание божие стоит...» — 31000.

38) *Guma-kunds* «мужского рода» — ἄρσῆν «мужской», L 2, 23, G 3, 28: ... *nist gumak u n d nih qinak u n d* «...ни мужского рода, ни женского рода» — 32100.

39) *Hauh-ḥuhts* «высоко думающий» — τεῦρωται, «ослеплен» («высокомерный, гордый»), гапакс, T 6,4: *iḥ hauḥḥuhts, ni waiht witands...* «тот горд, ничего не знает...» — 31000.

40) *Heiwa-frauja* «семьи господин» — οἰκοδεσπότης «домо-правитель», гапакс, Mk 14,14: ... *qiḥaits ḥamma heiwafrauja...* «...скажите вы оба хозяину...» — 11000.

41) *Hraiwa-dubo* «падших голубь» — τρυγών «горлица», гапакс, L 2,24: ... *gajuk hraiwadubono aiḥḥau twos ahake* «...пару горлиц или двух молодых голубей» — 11000.

42) *Hunda-ḥaps* «сотни повелитель» — ἑκατόνταρχος «сотни повелитель», Mk 15,39 и др., др.-инд. *śatá-patiḥ* — 12011.

43) *Hunsla-staḥs* «жертвы установление (место)» — θυσιαστήριον «жертвы установление (место)», гапакс, M 5,23: *jabai nu bairais tibr ḥein du hunslastaḥa...* «если понесешь жертву свою на жертвенник...» — 11000.

44) *Laḥa-leiko* «приглашению подобно» — ἤδιστα «охотно», гапакс, II K 12,15 A: *aḥḥan ik laḥaleiko fraqima...* «я охотно погибну...» (II K 12,15 B *gabaurjaba* «охотно») — 31000.

45) *Launa-wargos* «выкупа волк» — ἀγαπίστος «неблагодарный», гапакс, II T 3,2: *jah wairḥand mannans ... launa wargos...* «и люди будут ... неблагодарны...» — 31000.

46) *Laus-qiḥrs* «с пустым животом» — ὑἥστis «неевший», Mk 8,3 и др., *laus-qiḥrei* — ἐν ὑἥστis «пост» — 33000.

47) *Lubja-leis* — «яд знающий» — γόητης «волшебник», гапакс, глосса к *liutai* «волшебник» (II T 3,13 A), *lubja-leisei* — φαρμακεία «употребление яда, волшебство» — 33010.

48) *Mana-maurjra* «человеко-убийца» — ἀνθρωποκτόνος «человеко-убийца», гапакс, J 8,44: ... *jains manamaurjra was fram frumista...* «...он был человекоубийцей от начала...» — 11000.

49) *Mana-seḥs* «человеческий посев» — κόσμος «мир, человечество»,

J 12,19 и др., L 9,25: *þo allis þaurfte gataujþ sis m a n n a, gageigands þo m a n a sed alla...* «ибо что пользы человеку приобрести все человечество...» — 32100.

50) *Mari-saiws* «морское море» — *λίμνη* «море», гапакс, L 8, 33: *...jah rann sa wriþus and driuson in þana marisaiw...* «...и побежало стадо и бросилось в море...» — 31000.

51) *Mati-balgs* «еды мешок» — *πήρα* «сумка», L 9,3 и др.— 32000.

52) *Midgardi-waddjus* «мира стена» — *μεσότοιχον* «промежуточная стена (перегорodka)», гапакс, E 2,14: *sa auk ist gawairþi unsar, saei gatawida þo ba samin jah midgardiwaddju faþos gatairands* «ибо он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» — 11000.

53) *Mota-staþs* «пошлины место» — *τελώνιον* «таможня», M 9,9 и др., L 5,27; *gasahv m o t a r i ...sitandan ana m o t a s t a d a* «увидел мытаря ...сидящего на месте мыта» — 32100.

54) *Muka-modei* «мягко-душие» — *ἐπιείκεια* «мягкость», гапакс, II K 10,1: *...bidja izwis bi qairrein jah mukamodein Xristaus* «...убеждаю вас кротостью и снисхождением Христа» — 31000.

55) *Naudi-bandi* «принуждения оковы» — *άλυσες* «оковы», гапакс, Mk 5,4: *...naudib a n d j o m eisarneinaim g a b u n d a n s...* «...оковами железными окован...» — 31100.

56) *Peika-bagms* «пальмовое дерево» — *φοίνιξ* «пальма», гапакс, J 12.13: *...astans peikabagme* «...пальмовые ветви» — 31000.

57) *Qina-kunds* «женского рода» — *θήλος* «женский», гапакс, см. *guta-kunds* — 31100.

58) *Qiþu-hafto* «живот имеющая» («беременная») — *ἐν γαστρὶ ἔχουσα* «живот имеющая», I Th 5,3 и др.— 22000.

59) *Sama-fraþjis* «едино-мысленник» — *τὸ ἐν φρονούντες* «одного умонастроения», гапакс, Ph 2,2: *...ei þata s a m o hugjaiþ, þo s a m o n frijaþwa habandans, s a m a saiwalai, s a m a fraþjai* «...имейте одни мысли, имейте одну и ту же любовь, будьте единомысленны и единомысленны» — 21100.

60) *Sama-lauþs* «одинаковой величины» — *τὰ ἴσα* «равное», гапакс, L 6,34: *... ei andnimaina samalaud* «...чтобы получить обратно столько же» — 31000.

61) *Sama-saiwals* «едино-душный» — *σὺμφυλος* «едино-душный», см. *sama-fraþjis* — 31100.

62) *Sigis-laun* «победная награда» — *βραβεῖον* «награда», K 9,24 и др.— 32000.

63) *Silba-siunis* «сам видящий» — *αὐτόπτης* «сам видящий» («очевидец»), гапакс, L 1,2: *swaswe anafulhun unsis þai ei ... silbasiunjos ... wesun is waurdis* «как передали нам то бывшие ... очевидцы ... того слова» — 11000.

64) *Silba-wiljis* «сам желающий» — *αὐθαίρετος* «сам избирающий» («добровольный»), II K 8,3: *...jah ufar maht silbawiljos wesun* «... и сверх сил добротны были» — 11000.

65) *Skauda-raip* «башмака ремень» — *εμάς* «ремень», гапакс, L 3,66: *...andbindan s k a u d a r a i p s k o h i s i s* «... развязать ремень обуви» (*skauda-* и *skohis* — этимологически родственны <и.-е. *skeu-) — 31000.

66) *Smakka-bagms* «вкусное дерево» — *σῆλη* «смоковница», гапакс, Mk 11,21: *... smakkabagms þanei fraqast gaþaursnoda* «...смоковница, которую ты проклял, засохла» 31000.

67) *Stau-stols* «судьи престол» — *βῆμα* «возвышение», M 27,19 и др., R 10,14: *hva s t o j i s broþar þeinana? ...allai auk gasatjanda faura s t a*

u s tols Xristau «Что ты осуждаешь брата твоего? ... все мы предстанем перед престолом суда Христа» — 32100.

68) *Swi-kunþs* «(себе) самому известное» — φανερός, πρόδηλος «ясный, очевидный», R 10,20 и др., *gaswikunþjan* — φανερώσθαι «делать очевидным», L 8,17: ...*nih fulgin, þatei ni g a k u n n a i d a i jah in swek u n þ a m t a qimai*... «...ни тайного, что не было бы узвано и не перешло бы в известное (узнанное)» — 33100.

69) *Swulta-wairþja* «к смерти становящийся» — ἤμελλον τελευτᾶν «к смерти близкий», гапакс, L 7,2: ...*sumis skalks siukands swultawairþja was*... «...один слуга был болен при смерти...» — 21000.

70) *Þiudan-gardi* «повелителя владения» — βασιλεία «царство», L 18,29 и др., L 18, 29: ...*aflelandane g a r d... in þiudang a r d j o s gudis* «...из оставивших дом ... для царствия (повелителя владения) божия» — 32100.

71) *Þiu-magus* «слуга-мальчик» — παῖς «слуга», M 8,6 и др. — 32000.

72) *Þiuþi-giss* «благо-словение» — εὐλογία «благословение», гапакс, K 10,16: *stikls þiuþigissais gaveiham*... «чаша благословения, которую освящаем...» — 11000.

73) *Þiuþ-spillon* «благо-вестновать» — εὐαγγελίζεσθαι «благо-вестновать», гапакс, L 3,18: ...*þrafstjands þiuþspilloda managein* «...утешая, благо-вествуя многим» — 11000.

74) *Þusundi-faþs* «сотни повелитель» — χιλιάρχος «сотни повелитель», J 18,12 и др. — 12010.

75) *Þut-haurn* «шума рог» — σάλπιγξ «труба», K 15,52 и др., *þut-haurnjan* — σαλπίζειν «трубить» — 33000.

76) *Ubil-tofis* «зло-дей» — κακοποιός, κακοῦργος «зло-дей», J 18,30 и др. — 12000.

77) *Ubil-waurds* «зло-словающий» — λοιδορός «поносящий», гапакс, K 5,11: ... *jabai hvas broþar namnids sijai ... ubilwaurds ...* «...кто, называясь братом, остается ... злоречивым», *ubil-waurdjan* — κακολογῆσαι «позорить» — 33000.

78) *Unmīna-riggws* «нечеловечески яростный» — ἀήμερος «дикий», гапакс, II T 3,3: *jah wairþand t a n n a n s... u n t a n ariggwai* «и станут люди не по-людски яростными», в др.-герм. языках нет соответствия гот. -riggws — 31010.

79) *Untila-malsks* «неподходяще слабый» — προπετής «необдуманный», гапакс, II T 3,4: *jah wairþand mannans... untilamalskai* «и станут люди ...наглы» — 31000.

80) *Wadja-bokos* «залога книги» — χειρόγραφο «рукописание», гапакс, C 2,14: *afswairbands þos ana uns wadjabokos raginat seinaim*... «истребив учением бывшее о нас рукописание...» — 11000.

81) *Waihsta-stains* «угла камень» — ἀκρογωνία «остро-угольный», гапакс, E 2,20: ... *at wisandin auhumistin waihstastaina silbin Xristau Iesu* «...имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», в др.-герм. языках нет соответствия гот. *waihsta-*, — 11010.

82) *Waurda-þiuka* «слово-прение» — λογομαχία «слово-прение», гапакс, T 6,4: ... *ak siukands bi soknins jah waurdaþiukos*... «... но заражен страстью к состязаниям и словопрениям...» — 11000.

83) *Weina-tains* «виноградная ветка» — κλήμα «лоза», 15,5 и др., J 15,5: *ik im þata we i n a triu, iþ jus we i n atainos*... «я есмь виноградная лоза, а вы виноградные ветви...» — 32100.

84) *Wilja-halþei* «желанья склонность» — προσωποληψία «лице-приятие» («пристрастие»), E 6,9 и др. — 12000.

85) *Winþi-skauro* «размалывающая лопата» — πτόν «веялка», гапакс,

L 3,17: *habands winþiskauron in handau seinai jah gahrainiþ gaþrask sein...* «имея лопату в руке, он очистит гумно свое...» — 31000.

86) *Witoda-fasteis* «закон укрепляющий» — νομικός «законник», L 10,25 и др., L 10,25—26: *...w i t o d a f a s t e i s s u m s u s s t o þ ... i n w i t o d a h w a g a m e l i þ i s t ? ...* «...законник один встал... а в законе что написано?...» — 32100.

87) *Witoda-laisareis* «законо-учитель» — νομοδιδάσκαλος «законо-учитель», L 5,17 и др., I T 7,8: *wiljandans wisan w i t o d a l a i s a r j o s ... a þ þ a n w i t u m þ a t e i g o þ i s t w i t o þ* «желая быть законоучителями ... а мы знаем, что закон добр...» — 12100.

88) *Witoda-laus* «закона лишенный» — ἄνομος «беззаконный», K 9,21 и др., I T 1,9: *witands þatei garaihtamma nist w i t o þ, s a t i þ a k w i t o d a l a u s a i m ...* «зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных...» — 32100.

Индексы оригинальности готских композитов ⁶

33100: *fulla-weis, swi-kunþs*

33010: *lubja-leis*

33000: *awi-liuþ, laus-qifrs, þut-hauru, ubil-waurds*

32100: *galiuga-guþ, gilstra-meleins, guma-kunds, mana-seþs, mota-staþs, staua-sols, þiudan-gardi, weina-triu, witoda-fasteis, witoda-laus*

32010: *bruþs-faþs, filu-deisei*

32001: *aina-mundiþa*

32000: *aihva-tundi, faihu-þraihna, mati-balgs, sigis-laun, þiu-magus*

31100: *drauhti-witoþ, eisarna-bandi, fotu-bandi, naudi-bandi, qina-kunds, sama-saiwals, skauda-raip*

31010: *unmana-riggws*

31000: *akrana-laus, ala-þarba, baira-bagma, balwa-wesei, baurgs-waddjus, faihu-gawaurkei, faihu-geigan, fulla-fraþjan, grundu-waddjus, hauh-þuhts, laþa-leiko, launa-wargs, mari-saiws, muka-modei, peika-bagms, samalauþs, smakka-bagms, untila-malsks, winþi-skauro*

22000: *qiþu-hafto*

21100: *sama-fraþjis*

21000: *swulta-wairþja*

13000: *faihu-friks*

12100: *filu-waurdei, witoda-laisareis*

12011: *hunda-faþs*

12010: *þusundi-faþs*

12001: *broþru-lubo*

12000: *galiuga-broþar, garda-waldands, ubil-tojis, wilja-halþei*

11200: *bloþa-rinnandai*

11100: *fidur-ragini, faihu-skula*

11010: *frasti-sibja, waihsta-stains*

11001: *alja-kuns*

11000: *filu-faihs, filu-galauþs, fraþja-marzeins, frijaþwa-milds, gabaurþi-waurd, grinda-fraþjis, heiwa-frauþa, hraiwa-dubo, hunsla-staþs, mana-maurþrja, midgardu-waddjus, silba-siunis, silba-wiljis, þiuþi-giss, þiuþ-spillon, wadþa-bokos, waurda-þiuka*

⁶ За каждым индексом следуют характеризующие им композиты.

19	—	31000
17	—	11000
10	—	32100
7	—	31100
5	—	32000
4	—	33000, 12000
2	—	33100, 32010, 12100, 11010, 11100
1	—	33010, 32001, 31010, 22000, 21100, 21000, 13000, 12011, 12010, 12001, 11200, 11001

Общий балл оригинальности готских композитов⁸

7:	33100, 33010
6:	33000, 32100, 32001
5:	32000, 31100, 31010, 12011
4:	31000, 22000, 21100, 13000, 12100, 12010, 12001, 11200
3:	21000, 12000, 11100, 11010, 11001
2:	11000

В результате исследования можно определить роль различных показателей индекса при конституировании оригинальности готских сложных слов. Решающее значение в этом процессе принадлежит первому показателю, характеризующему соотношение готской и греческой лексем. Трансформация семантики оригинала производится в одном направлении, сущность которого заключается в достижении максимальной образности, метафоричности выражения (ср. *laus-qifrs* «с пустым животом» и *ἄριστος* «неевший», *grinda-fraþjis* «с размолотым умом» и *ὀλιγόψυχος* «малодушный» и др.). Выполнению поставленной задачи служат различные приемы — уточнение, детализация или спецификация понятия (например, *ἐπιθυμῆσαι* «желать» — *faihu-geigan* «имущество желать», *ἄλοσις* «оковы» — *eisarna-bandi* «железные оковы», *πτύον* «веялка» — *winþi-skauro* «размалывающая лопата» и др.), присоединение орнаментальных (*ἄλοσις* «оковы» — *naudi-bandi* «принуждения оковы») или усилительных (*σοφρονεῖν* «понимать» — *fullaþraþjan* «полностью понимать») элементов, — восходящие к общему источнику — семантическим моделям, свойственным эпическому творчеству. Использование эпических эталонов отражает действие древнегерманских мифопоэтических архетипов, отчетливо проступающих вопреки диктату греческих форм. Автономные древнегерманские концепции функционируют в различных семантических сферах: 1) макрокосм (пространство — *midgardi-waddjus*), 2) микрокосм — а) антропоцентрическая область [*mana-seþs* «мир» («человеческий посев»)], б) социально-юридическая [*brup-faþs* «жених» («невесты господин»), *heiwa-frauþa* «домо-правитель», *witoda-fasteis* («законоукрепитель», *launa-wargs* «выкупа преступник», *stau-stols* «судьи престол»], в) магико-сакральная (*filu-deisei* «много-знание», *lubja-leis* «яда знание» и др.). Таким образом, древнегерманская модель мира накладывает заметный отпечаток на формирование готских лексем и объясняет причины их отклонения от греческих образцов.

⁷ Число до тире указывает количество лексем, а после него — индексы, имеющие столько репрезентантов.

⁸ Общий балл равен сумме пяти показателей индекса, например, у композитов с индексом 31000 он равен 4 (3 + 1 + 0 + 0 + 0).

Специального внимания заслуживают результаты изучения встречаемости готских композитов в тексте (второй показатель индекса), поскольку обнаруживается, что более половины сложных слов (55 лексем, 62% общего объема) представляют гапаксы; неоднократно употребляются 26 лексем (30%) и лишь 7 слов (8%) обладают продуктивностью (имеют производные), т. е. очевидна уникальность — и тем самым оригинальность — композитов, функционально близких к поэтическому продуцированию имен.

Семантическая мотивированность значительной части композитов (24 лексемы, 27%) свидетельствует о том, что формирование сложных слов находится в стадии становления, их внутренняя форма продолжает актуализироваться и отчетливо осознаваться. Роль оставшихся показателей не слишком существенна: только для четырех готских элементов (-*fajps*, -*riggws*, -*leis*, *waihsta*-) отсутствуют эквиваленты в других древнегерманских языках и 5 слов (6%) имеют индоевропейские параллели: *ainamundiþa*, *alja-kuns*, *broþru-luto*, *hunda-fajps*, *silba-wiljis*, следовательно, при вычислении общего балла оригинальности наиболее важны первые три показателя индекса.

При анализе готских композитов обнаруживается, что максимальное (и приблизительно одинаковое — 19 и 17) количество лексем принадлежит индексам, указывающим на довольно высокую (31000) и самую низкую (11000) степень оригинальности. Такое распределение создает определенное семантическое равновесие и устойчивость. Большое число композитов (10 — 7 — 5 — 4) отличается значительной самобытностью (32100, 31100, 32000, 33000). На этом фоне обращает на себя внимание прямо пропорциональная зависимость между возрастанием численности индексов и снижением оригинальности сложных слов (ср. репрезентивность 13 индексов, большая часть которых занимает нижнее положение на шкале оригинальности, лишь одной лексемой). Показательны также заметные колебания в дистрибуции лексем в зависимости от индекса (от 19 до 1) и концентрация композитов вокруг пиков — максимального (19) и минимального (1). Иными словами, наблюдается поляризация сложных слов, образующаяся в результате оппозиции «оригинальность» — «неоригинальность».

Общий балл, свидетельствующий о мере своеобразия готских композитов, характеризуется непрерывностью градации очков (7 — 6 — 5 — 4 — 3 — 2), отсутствием резких перепадов. Полученные результаты позволяют констатировать, что наибольшее количество индексов (8) приходится на центральный элемент — 4. Этот кульминационный пункт можно рассматривать в качестве точки отсчета при возрастании или падении балла оригинальности, причем оба процесса практически симметричны (балл 5 представлен четырьмя индексами, балл 3 — пятью).

Поэтика готских композитов⁹

Оригинальность готских композитов в формальном и содержательном аспектах в сильной мере повышается благодаря их поэтической организации, реализующейся при помощи:

1) аллитерации: *baira-bagms*, *faihu-friks*, *filu-faihs*, *fulla-fraþjan*, *galiuga-guþ*, *laþa-leiko*, *lubja-leis*, *mana-maurþrja*, *muka-modei*, *sama-saiwals*, *silba-siunis*, *stau-stols*;

⁹ О поэтике готского языка см. [6].

2) сингармонизма: *smakka-bagms, ala-þarba, sama-þraþjis, mati-balgs, garda-waldands, silba-wiljis, silba-siunis, gabaurþi-waurd, guma-kunds*;

3) общего согласного: *grundu-waddjus, hauh-þuhts, gilstra-meleins, untila-malsks, wilja-halþei, filu-galaufs, qina-kunds, aina-mundiþa, grindafraþjis, balwa-wesei, swulta-wairþrja*;

4) звуковых повторов:

a) АВ — АВ: *faihu-þraihna, silba-wiljis, gabaurþi-waurd*;

b) АВ — ВА: *drauhti-witop, eisarna-bandi*;

с) АВА — АВА: *garda-waldands, naudi-bandi*;

5) семантической тавтологичности (первый и второй элементы дублируют друг друга по смыслу): *mari-saiws* «море-море», *naudi-bandi* «принуждения оковы», *wilja-halþei* «воли склонность»;

6) декоративных (усилительных) компонентов: *ala-þarba* «все-нуждающийся», *filu-deisei* «много-хитрость», *filu-faihs* «много-пестрый», *filu-galaufs* «много-ценный», *sigis-laun* «победная цена (выкуп)»;

7) элементов оценки

a) количественной: *sama-þraþjis* «одного мнения», *sama-lauþs* «одного роста», *sama-saiwals* «едино-душный», *aina-mundiþa* «едино-мыслие», *fulla-weis* «полно знающий», *fulla-þraþjan* «полно понимать»;

b) качественной: *faihu-friks* «жадный к имуществу», *þraþja-marzeins* «чума обольщение», *frijaþwa-milds* «с любовью мягкий», *galiuga-guþ* «ложный бог», *galiuga-broþar* «ложный брат», *muka-modei* «с мягким духом», *þiuþi-qiss* «благо-словение», *þiuþ — spillon* «благо-вествовать», *ubil-tojis* «зло-дей», *ubil-waurds* «зло-словающий», *untila-malsks* «неподходяще слабый», *balwa-wesei* «зло-сущность»;

8) кеннингов: *bruþ-faþs* «невесты господин» (жених), *lubja-leis* «яд знающий» (колдун, чародей), *mana-seþs* «человеческий посев» (мир), *þiudan-gardi* «царя дом» (царство), *þut-haurn* «шума рог» (труба).

В. Структура текста

Ниже приводятся некоторые готские фрагменты определенной структуры — *figurae etymologicae*, не имеющие греческих аналогий и недвусмысленно свидетельствующие о творческом отношении к переводу с греческого, убедительно демонстрирующие ориентацию на древнегерманские поэтические приемы. Список готских фраз указанной структуры ни в коей мере не претендует на полноту и исчерпывающее описание, но в данном случае преследуется иная цель — привлечь внимание к своеобразию готских фактов и подчеркнуть актуальность воздействия древнегерманской поэтики и на готский материал, который на первый взгляд может показаться весьма неблагоприятным и невосприимчивым к ней. Прежде чем перейти к перечислению готских контекстов, следует отметить, что *figurae etymologicae* понимаются в широком смысле: в их состав входят как тавтологические выражения на синхронном уровне («лежать на ложе»), так и сочетания лексем, имеющих общие генетические истоки (т. е. возводимых к одному и тому же общегерманскому корню). Такая трактовка *figurae etymologicae* находит оправдание в формальном критерии — наличии одинакового элемента в различных словах.

М 9,2: *ana ligra ligandan* «на ложе лежащего» — ἐπὶ κλίνης βεβλημένον;

Мк 7,30: *ligandein ana ligra* «лежащую на ложе» — βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης;

Л 7,25 : *in ... wastjom gawasidana* «в одежды одетого» — ἐν... ἱματίοις ἡμφιεσμένον;

L 8,27: *wastjom ni gawasiþs* «в одежды не одет» — ἰμάτιον οὐκ ἐνεδιδόσκατο;
J 19,2: *wastjai ... gawasidedun* «одеждами ... одели» — ἰμάτιον... περιέβαλον;
Mk 7,35: *andbundnoda bandi* «отвязались связи» («отверзлись узы») — ἐλύθη ὁ δεσμός;

L 8,29: *bundans ... eisarnabandjom* «связан ... железными связями (узами)» — ἐδεσμεῖτο ἀλύσειν;

L 15,12: *dail... disdailida* «долю разделил» — μέρος... διεῖλεν;
afdailja ... taihondon dail (L 18,12) «разделю... десятую долю» — ἀποδεκατῶ;

Tim 4,6: *laiseinais þoei galaistides* «учением („следованием“), которому ты последовал» — δι δασκαλίας ἢ παρηκολούθησας;

II Tim 3,10: *þu galaista ... laiseinai* «ты последовал ... учению (следованию)» — δὲ παρηκολούθησας τῇ διδασκαλίᾳ;

G 6,5: *baurþein bairiþ* «бремя понесет (берет)» — φορτίον βαστάσει;

Tim 5,14: *barna bairan* «детей (носимых) рождали (носили)» — τεκνογονεῖν;

J 8,41: *taijiþ toja* «делаете дело» — ποιεῖτε τὰ ἔργα;

J 14,4: *waurstw ... waurkjan* «дело ... делать» — τὸ ἔργον... ποιῶσα;

Mk 8,1: *filu managai managein wisandein* «очень многое множество» — παμπόλλου ὄχλου ὄντος;

J 7,40: *managai ... manageins* «многие... из множества» — πολλοὶ... τοῦ ὄχλου;

M 5,43: *fiais fiand* «ненавидишь врага (ненавистного)» — μισήσεις τὸν ἐχθρόν;

M 5,16: *liuhtjai liuhap* «да светит свет» — λαμπράτω τὸ φῶς;

M 9,23: [*haurnjans haurnandans*] «роговых музыкантов, дующих в рог»;

K 13,1: *klismo klismjandei* «кимвал звучащий (кимвалящий)» — κύμβαλον ἀλαλάζον;

L 2,29: [*frauwinond*] *frauja* «господствующий господин» — δέσποτα;

L 6,17: *gastof ana stada* «остановился на месте (установлении)» — ἔστη ἐπὶ τόπου;

K 6,1: *staua habands stojan* «суд имея судить» — πρῆγμα ἔγων... κρίνεσθαι;

II Th 2,1: *in qumis frauþins... jah gaqumþais unsaraizos* «о пришествии господа... и собрании (сошествии) нашем» — ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου... καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς;

Th 4,1: *anahaitam bidai... jah bidjam* «призываем молитвой... и молим» — ἐρωτῶμεν... καὶ παρακαλοῦμεν;

II K 10,2: *gatrauau trauainai* «доверяю доверие» — θαρῆσαι τῇ πεποιθήσει;

E 5,17: *unfrodai, ak fraþjandans* «не разумными, но понимающими (разумеющими)» — ἄφρονες ἀλλὰ συνιέντες;

E 3,4: *fraþjan frodein* «понять (разуметь) разумение» — νοῆσαι τὴν σύνεσιν;

C 3,12: *gawalidai ... walisans* «избранные ... возлюбленные (избранные)» — ἐλεκτοὶ... ἠγαπημένοι;

Mk 8,15: *saihvif ei atsaihvif* «смотрите и берегитесь (рассмотрите)» — ὁρᾶτε βλέπετε;

Mk 11,15: *frabugjandans jah bugjandans* «продающих и покупающих» — πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας;

В целом насчитывается довольно много случаев отступления готского текста от греческого, в которых представлены *figurae etymologicae*, не зафиксированные в оригинале. Их возникновение можно интерпретировать по-разному: отсутствие соответствующего понятия, выраженного другим корнем (например, *stada* «место» в L 6,17 при *gastandan* «останавливаться»), или намеренное привлечение однокорневых лексем. Предпочтение, по-видимому, следует отдать последнему предположению, в пользу

которого недвусмысленно свидетельствуют многочисленные факты, например, вставка готских сочетаний данной структуры (M 9,23), расширение греческого эквивалента аналогичными средствами (L 2,29), создание инноваций [гапакс *klismjandei* «звучащий» (кимвалящий) по образцу *klismo* «кимвал»], прояснение элемента композита при помощи притяжения однокорневого слова (L 8,29) или деривация (Mk 11,15). В подавляющем большинстве примеров речь идет о столкновении однокорневых лексем на синхронном уровне (т. е. о *figurae etymologicae* в собственном смысле слова) и лишь иногда — на диахроническом, когда одна и та же идея воплощается как непосредственно, так и в семантической мотивировке понятия (*barna bairan* «детей (носимых) носить (вынашивать)»). Каково бы ни было происхождение *figurae etymologicae*, совершенно очевидно, что они изофункциональны в тексте, выполняя одну и ту же роль — актуализацию внутренней формы слова. Избыточные в плане содержания *figurae etymologicae* могут получить удовлетворительное объяснение лишь в рамках древнегерманской поэтики, неотъемлемой частью которой они и являются.

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что оригинальность готского языка реализуется как в области композитов, так и целых фрагментов текста и проявляется в нестандартном подходе к греческому оригиналу, своеобразных приемах его модификации и сознательном использовании древнегерманских поэтических средств, образующих в совокупности стройную систему методов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Die gotische Bibel / Hrsg. von Streitberg W. I. Tl.: Der gotische Text und seine griechische Vorlage. Mit Einleitung, Lesarten und Quellennachweisen sowie den kleineren Denkmälern als Anhang. Darmstadt. 1965.
2. Friedrichsen G. W. S. The Gothic version of the Gospels. L., 1926.
3. Friedrichsen G. W. S., The Gothic version of the Epistles. L., 1939.
4. Feist S. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939.
5. Lehmann W. P. A Gothic etymological dictionary. Leiden, 1986.
6. Kaufmann F. Der Stil der gotischen Bibel // Zeitschrift für deutsche Philologie; 1919—1920. Bd. 48; 1921, Bd. 49.

МАТВЕЕВ А. К.

СУБСТРАТНАЯ МИКРОТОПОНИМИЯ КАК ОБЪЕКТ
КОМПЛЕКСНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Дискуссия о происхождении субстратной топонимии (СТ) Русского Севера, которая развернулась в 60-х годах и отражена в многочисленных публикациях, несомненно способствовала прогрессу в изучении этой сложной проблемы, однако в течение последних пятнадцати лет новые работы по СТ севернорусского ареала почти не появлялись. Обычно так бывает, когда проблема полностью исчерпана или окончательно запутана и когда без новых фактов и идей дальнейшее продвижение невозможно. Но применительно к данной проблеме нельзя говорить об исчерпанности и запутанности, поскольку всестороннее изучение этой во многом загадочной топонимии еще только начинается. В распоряжении исследователей СТ Русского Севера всегда было много фактов, не было недостатка и в идеях, а научная дискуссия помогала совершенствованию методов изучения топонимического материала. Тем не менее молчание последних лет показательно: необходимо было время, чтобы еще раз осмыслить проблему и пересмотреть стратегию изучения СТ Русского Севера, этого весьма значительного, крайне интересного для лингвистов и историков, но трудного для исследования массива субстратных топонимов нашей страны. Разумеется, за это время был накоплен и новый материал, собранный, в частности, топонимической экспедицией Уральского университета. Совершенствовались и приемы изучения субстратной топонимии [1, 2].

Новые возможности открывает прежде всего целенаправленное и всестороннее исследование субстратной микротопонимии. Сейчас уже ни один серьезный исследователь не сомневается в том, что язык субстрата может отражаться не только в гидронимии, но и в микротопонимии. Хорошо известно и то обстоятельство, что субстратная микротопонимия характерна для многих территорий Русского Севера. Однако субстратная микротопонимия, подобно гидронимии, до сих пор рассматривалась как совокупность названий, характерных для Русского Севера в целом или для какой-либо его крупной части, например, бассейна Пинеги [3]. Поэтому и принято говорить о севернорусских субстратных гидронимах на *-еньга*, *-юга*, *-юг* и т. п. и о севернорусских субстратных микротопонимах на *-нема*, *-мина*, *-лахта* и т. п. Отсюда эффект усреднения, стирание лингвогеографической специфики названий, искажение реального соотношения топонимических зон, смешение типов русской адаптации, а главное — нарушение регионального принципа исследования топонимии, как показывает практика, наиболее целесообразного при изучении субстратных микротопонимов, которые должны рассматриваться в рамках территориальных микросистем.

Первоочередная задача исследователей СТ Русского Севера — выявить и этимологически идентифицировать верхний слой субстратных названий, представленный прежде всего микротопонимией, чтобы затем перейти

к интерпретации субстратной гидронимии. В общих чертах этот верхний слой в северо-западной половине Русского Севера, заключенной в треугольнике между Онежской губой, Белым озером и устьем Мезени, уже выявлен и определен как прибалтийско-финско-саамский (А. М. Шёгрэн, М. Фасмер, А. И. Попов, А. К. Матвеев и др.), однако до установления реального соотношения прибалтийско-финских и саамских элементов еще далеко. Между тем от определения микротопонимических зон и уточнения локализации прибалтийско-финских и саамских микротопонимов зависит и выявление прибалтийско-финской и саамской гидронимии, что в свою очередь позволит аргументированно выделить гидронимический субстрат.

Другими словами, важнейшей задачей становится создание детальной лингвотнической карты Русского Севера на период, непосредственно предшествовавший обрусению заволочской чуди. Эта карта даст точку отсчета для послойной идентификации субстратных топонимов.

Таким образом, предстоит сделать следующий шаг — перейти от макрорегиональных исследований к микрорегиональным, к комплексному анализу микротопонимии отдельных небольших территорий. Это позволит осуществить сплошной сбор субстратной микротопонимии, намного повысит надежность анализа и создаст дополнительные возможности для интерпретации топонимов, поскольку последние будут рассматриваться не только как совокупность названий с тем или иным формантом, но и как отражение некогда существовавших топонимических микросистем. Сам по себе этот прием не нов, но к СТ Русского Севера он по существу не применялся. Правда, попытки М. Фасмера рассматривать топонимию по уездам [4] в какой-то мере являлись реализацией микрорегионального принципа, но весьма ограниченные топонимические материалы при почти полном отсутствии микротопонимии не могли стать базой для существенно новых результатов.

Предлагаемый принцип исследования находит историко-этнографическое обоснование в том надежно установленном факте, что для Русского Севера характерен кустовой тип поселений, этническая пестрота в прошлом и связанная с ней языковая (диалектная) мозаичность субстратной микротопонимии, плотные очаги которой возникали при обрусении местной чуди. Именно поэтому изучение отдельных микротерриторий и может дать очень интересные результаты. Ясно, что такой подход не имеет ничего общего ни с глобальным изучением СТ Русского Севера в целом, охватывающим и Костромщину и даже Волго-Окское междуречье, ни с интеррегиональными сравнениями субстратной топонимии Русского Севера и Сибири.

Для реализации намеченной программы территорию СТ Русского Севера придется разделить на микрорегионы разного порядка, в конечном счете деление может производиться до кустов деревень и даже до отдельных населенных пунктов. Выделение таких микротерриторий достаточно условно и должно корректироваться результатами последующего анализа. Естественно, что окончательная картина членения всей территории Русского Севера на микрорегионы будет очень отличаться от моделируемой.

Эта статья — первая из ряда задуманных работ, посвященных субстратной микротопонимии отдельных территорий Русского Севера, — является иллюстрацией к охарактеризованной выше методике, которая применена к названиям одного микрорегиона — бассейна нижнего течения Онеги. Статья целиком основана на материалах топонимической экспедиции Уральского университета.

Нижнеонежский микротопонимический регион СТ Русского Севера был выделен на следующих основаниях: 1) в этом регионе до сих пор функционирует многочисленная субстратная микротопонимия, тяготеющая к отдельным кустам населенных пунктов; 2) границы региона на севере, юге и востоке совпадают с административно-территориальными границами Онежского района Архангельской области; 3) регион обособлен в физико-географическом отношении (низовья Онеги и южное побережье Онежской губы). Таким образом, исследованием охвачена территория бассейна Онеги от устья до населенного пункта Ярнема близ границы с Плесецким районом Архангельской области, охватывающая Кокоринский, Устькожский, Чекуевский, Хачельский, Прилукский и Ярнемский сельсоветы Онежского района, а также кусты деревень Нименьга, Малошуйка и населенные пункты Кушерека и Ворзогоры на южном побережье Онежской губы в Нименьгском сельсовете того же района. Естественно, что южнопоморские деревни и нижнеонежские населенные пункты объединены условно. В то же время надо иметь в виду, что Нименьга, Малошуйка, Ворзогоры и Кушерека занимают особое место и среди поморских деревень¹.

Для определения и выявления верхнего пласта СТ Русского Севера важна трактовка термина «микротопонимия». О содержании этого термина давно идут споры, хотя его внутренняя форма (*микро-* «малый») четко определяет семантику: микротопонимы — названия малых объектов. Поэтому к микротопонимам следует относить не только названия урочищ — лугов, полей, участков леса, как это обычно делается, но и островов, мысов, небольших возвышенностей (микрооронимы), ручьев и небольших озер (микрогидронимы). Поскольку субстратные названия населенных пунктов на Русском Севере в своем большинстве восходят к названиям урочищ или других микрообъектов, практически их также приходится рассматривать вместе с микротопонимией. Так как граница между топонимией и микротопонимией условна, важны формальные критерии, которые иногда удается установить. Например, полукальки со словом *ручей* (*Лепручей*) следует относить к микрогидронимам, а полукальки, в состав которых входит слово *река* (*Кушерека*) — к гидронимам.

Изучение субстратной микротопонимии нижнеонежского региона позволяет выделить ряд детерминативов — географических терминов, входящих в состав топонимов, которые легко интерпретируются на прибалтийско-финской почве, причем наиболее близки карельские, включая ливвиковские и людиговские, и вепские соответствия. Таковы детерминативы *нема* (*Хижнема*), варианты *мена*, *мина*, *нима*, *нама* и др., ср. карел. *niemeti* «мыс»², *вонга* (*Сивонга* из *Сивонга*), ср. карел. *voŋga* «глубокое место, омут», *коска* (*Саркоска*), ср. карел. *koški*, ливв. *koski* «порог», *ранда* (*Кавкаранда*), ср. карел. *randa* «берег», *ма* (*Пертема*), ср. карел. *toa* «земля, местность», *матка* (*Хайматка*), ср. карел. *matka* «путь, дорога», *пелда* (*Папелда*), варианты *палда*, *полда*, *пелды*, ср. карел. *peldo* «поле», *шелга*, *шлгга* (*Пёхшлгга*). ср. карел. *šelgä* «лесная возвышенность», *вары*

¹ На карте, составленной Т. А. Бернштам, именно эти русские населенные пункты выделены как «поселения, время появления которых точно не установлено» [5, с. 40—41]. Отсутствие таких сведений косвенно указывает на обрусение местного населения. Правда, в другом месте Т. А. Бернштам пишет, что Кушерека и Ворзогоры возникли в XVII в. [5, с. 72].

² Ливвиковские, людиговские и вепские данные приводятся в тех случаях, когда факты собственно карельского наречия недостаточны для интерпретации названия. Примеры в основном извлечены из [6].

(*Пилявары*), ср. карел. *voaga* «гора, сопка», *орга* (*Кыскорга*), ср. карел. *orgo* «сырая долина, низина между возвышенностями», *янга* (*Марьянга*), ср. карел. *jäjkä* «болото», *оя* (*Тумоя*), ср. карел. *oja* «ручей». Уже этих примеров более чем достаточно для того, чтобы считать микротопонимию региона прибалтийско-финский по крайней мере по происхождению детерминативов и попытаться интерпретировать основы топонимов на базе прибалтийско-финских языков, в частности, карельского.

Единственный часто встречающийся микротопонимический детерминатив, допускающий разные толкования — *ванга* (*Кляованга*), — тоже бесспорно является прибалтийско-финским (ср. ливск. *važga* «речной луг»). Принятая нами этимологическая трактовка этого детерминатива не находит подтверждения в материалах карельских наречий [7], но нельзя исключить, что соответствующее слово было в них утрачено или пока не зафиксировано.

Кроме субстратных микротопонимических названий с прибалтийско-финскими детерминативами, в нижеонежском регионе широко распространены полукальки, возникшие в результате перевода географического термина, входящего в состав топонима, на русский язык. Среди них наиболее обычны названия, включающие в свой состав географические термины *гора* (*Лингора*), *мох* (*Кондемох*), *наволоок* (*Хомнаволоок*), *остров* (*Хижостров*), *поля* (*Хойкополя*), *ручей* (*Сивручей*). Сразу заметим, что количественное соотношение микротопонимов с субстратными детерминативами и соответствующими русскими географическими терминами различно. Так, для полукалек с термином *остров* в прибалтийско-финской субстратной микротопонимии вообще не нашлось соответствий, названия с термином *наволоок* встречаются во много раз реже, чем микротопонимы с соответствующим прибалтийско-финским детерминативом *нема*, напротив, русское слово *ручей* господствует в полукальках и почти везде в нижеонежском регионе вытеснило соответствующий прибалтийско-финский детерминатив *оя*.

Судьба каждого конкретного прибалтийско-финского детерминатива в русском языке складывалась по-разному на различных участках территории нижеонежского региона. Она зависела от частотности субстратного детерминатива, его фонетической структуры, наличия или отсутствия соответствующего заимствованного апеллятива в русском языке, процессов унификации и аналогии и т. п. В будущем предстоит составить подробные карты с учетом всех таких соотношений, и тогда многое прояснится и даже будет иметь определенное методическое значение для интерпретации названий. Пока же следует считать, что при широком распространении субстратных микротопонимических детерминативов прибалтийско-финского происхождения русские географические термины в микротопонимических полукальках в большинстве случаев являются «переводами» прибалтийско-финских детерминативов.

Анализ основ субстратных микротопонимов и субстратных географических терминов в самостоятельном топонимическом употреблении позволяет значительно расширить тематическую группу географических терминов прибалтийско-финского происхождения, отраженных в нижеонежской топонимии, ср.: *Аланга* (название луга) — карел. *alango* «низина», *Калистров* — карел., ливв. *kal'ivo*, люд. *kal'vi*, вепс. *kal'vi* «скала», *Корбручей* — карел. *korbi* «глухой лес», *Ламба* — карел. *lambi* «пруд, лесное озеро», *Латтаское* (озеро) — карел. *lakši*, ливв. *lahti*, люд. *laht* «залив», *Летемина* — карел. *liete* «наносный песок», *Лухта* — карел. *luhta* «прибрежный луг», *Паломина* — карел. *palo* «выжженный лес, пал», *Саркоски*,

Сарпорог — карел. *soari, suari*, люд. *suaf* «остров», *Тайбола* — карел. *lai-bal* «волоок», *Уйтмох* — карел. *uitto* «низкое сырое место», *Урежмина* — карел. *uureh* «промоина», *Ярнема* (из *Ярнема*) — карел. *järvvi* «озеро».

Не менее показательно представлены в субстратной микротопонимии нижеонежского региона и другие тематические группы прибалтийско-финской лексики, обычные для топонимии. Ср.:

Животный мир (кроме домашних животных): *Каламина* — карел. *kala* «рыба», *Кондемох* — карел. *kondie* «медведь», *Кургоручей* — карел. *kurgi* «журавль», *Лингора* (из *Линдгора*) — карел. *lindu* «птица», *Нядручей* — карел. *ñeäädä*, вепс. *ñäd* «куница», *Ревошалга* — карел. *gero* (род. п. *revon*) «лиса», *Телькручей* — ливв. *telkki* «гоголь (вид утки)».

Растительность (кроме сельскохозяйственных культур): *Кортеванга* — карел. *korteh* «хвощ», *Кужручей*, *Кузручей* — карел. *kuuzi*, *kuuzi* «ель», *Лепручей* — карел. *leppä* «ольха», *Мареванга*, *Марьянга* — карел. *marja* «ягода», *Мяндручей* — карел. *mändü* «сосна (мяндовая)», *Няра* — карел. *näre* «молодая ель», *Сарамина* — карел. *sara* «осока», *Хабшалга* — карел. *hoaba*, люд. *huab*, вепс. *hab* «осина», *Хомनावолок* — ливв. *ho.gu*, люд., вепс. *ho.g* «сосна (кондовая)».

Широко представлены и прилагательные, обозначающие признаки микрообъектов: *Коверница* — ливв. *koveri*, вепс. *kover* «кривой, изогнутый», *Косторучей* — ливв. *kostei* «сырой», *Монепелды* — карел. *toini* «многий» (= «Многополье»), *Пикостров* — карел. *rikko* «маленький», *Рабдамина* — карел. *rauda* «железо», *Сиваручей*, *Сивручей* — карел. *sivä*, вепс. *sivä* «глубокий», *Хойкополя*, *Хойкоручей* — карел. *hoikka* «тонкий, узкий», *Шилостров* — карел. *šilie* «гладкий, ровный», *Юржомина* — карел. *jürkkä* «крутой» и мн. др.

Традиционный охотничье-рыболовецкий быт финно-угорских народов в микротопонимии региона отражен слабее, чем обычно, хотя есть довольно много ярких примеров, ср.: *Венехольские* (пороги) — карел. *veneh* «лодка», *Кимручей*, *Кимшалга* — карел. *kiima* «ток (глухаринный, тетеревиный)», *Коламена* — карел. *kola* «вид рыболовного запора», *Нотованга* — карел. *nuotta*, вепс. *not* «невод», *Русованга* — карел. *rusä* «мережка», *Шигломина* — карел. *šigla* «крыло невода».

Напротив, богато представленная лексика полеводства и животноводства свидетельствует, что местное прибалтийско-финское население уже прочно освоило оседлый, преимущественно земледельческо-скотоводческий образ жизни: *Варзиха* — карел. *varza* «жеребенок», *Воздрамина* — карел. *ostra* «ячмень», *Кагрево* — карел. *kagra* «овес», *Каскоручей* — карел. *kaški*, ливв. *kaski*, вепс. *kask* «подсека», *Ламбасмена* — карел. *lammas*, ливв. *lmmas*, люд. *lambas*, вепс. *lambaz* «овца, баран», *Сарги* — карел. *sarga* «полоса, надел», *Сеньга* — карел. *sähgi* «жнивье», *Хайноручей* — карел. *heinä*, ср. южн.-эст. *hain* «сено, трава», *Хумальнема* — карел. *humala*, ливв., вепс. *humal* «хмель» и т. п.

Хорошо отражены в топонимии названия жилищ и хозяйственных построек: *Лавручей* — карел. *lava* «настил, навес», *Патованга* — карел. *pato* «плотина, запруда», *Пачепелда* — карел. *pät't'ši* «печь», *Пертема*, *Пертнема* — карел. *pertti*, люд. *per'ī'*, вепс. *peŋ'i'* «изба, баня», *Пордасмена* — карел. *porras*, люд. *pordaz*, вепс. *pordaz* «мостики, гать», *Пурноручей* — карел. *purpu* «закром».

Многосторонне представлена в топонимии и общественная жизнь, а также религия: *Канзамина*, *Канзепелда* — карел. *kañza*, ливв. *kanzi*, вепс. *kanz* «народ, общество, семья», *Ургуручей* — карел. *urho* «богатырь; смелый человек», *Хопамина* — карел. *horri*, люд. *hõr* «ссора», *Шугне-*

ма — карел. *šigi* «род, родня», *Папелда* (из Паппелда) — карел. *рарри*, люд. *ра̄р*, вепс. *рар* «священник, поп», *Хижнема*, *Хижостров* — карел. *hisi*, ливв. *hiisi* «злой дух, леший» (подробнее см. [8]).

В статье приведена только часть интерпретированного материала, на основе которого можно было бы составить довольно значительный словарь лексем, употребляемых в географических названиях.

В субстратной микротопонимии нижеонежского региона находим и типичные прибалтийско-финские словообразовательные форманты, которые или входят в состав используемых в топонимии лексем или служат для топонимообразования. Таков широко распространенный в топонимии прибалтийско-финских народов суф. места *la* (*Ковкула*, *Пицла*, *Хачела*, *Хаяла*, *Чаколы* и т. п.), а также локативно-собирательный суф. *(i)kko*: *Вумика* — карел. *viita* «молодая роща», *viitikko*, *Юрика* — ливв. *juureikko* «место со множеством корней» [9, с. 129].

Если о прибалтийско-финском происхождении нижеонежской микротопонимии можно говорить с полной уверенностью, то вопрос о конкретном языке-источнике отличается большой сложностью. Скорее всего источники были разные. На это недвусмысленно указывают такие параллельные формы, как *Хижнема* и *Хиднема* со значением «Чертов мыс», из которых первая явно тяготеет к карело-ливвиковским данным (см. выше), а происхождение второй неясно (ср. фин. *hiisi*, род. п. *hiiden*, эст. *hiid* и саам. *hiid'dâ*). И без того сложная картина еще более затемняется далее зашедшей русской адаптацией. Если из названия ручья *Вирманец* нетрудно извлечь исходную карельскую форму *virtaäni* «быстрый, стремительный», то для микротопонима *Кагрево* прибалтийско-финский оригинал точно установить невозможно: им может быть карел. *kagra*, ливв. *kagru*, люд. и вепс. *kagr*.

Особенно активно взаимодействуют звуки на стыке лексических компонентов, входящих в состав топонима. Выпадение конечного гласного атрибутивной части может произойти еще в прибалтийско-финском языке-источнике, ср. ливв. *leppi + oja > leppo* [9, с. 113]. Именно поэтому при субстратном детерминативе *нема* «мыс» в топониме *Немручей* находим основу *нем* (**neti + oja > netoja* или *netoi* с последующим калькированием детерминатива *oja, oj*). Однако в субстратной микротопонимии обычны параллельные формы *Каскручей* и *Каскоручей*, *Сивручей* и *Сиваручей* и т. п., происхождение которых в каждом конкретном случае объяснить трудно, тем более что соответствия типа *Канзапелда* при *Канозеро* (из *Канзаозеро*) встречаются нечасто. Наконец, как в языке-источнике, так и в русском языке могут упрощаться группы согласных: *Матнема* из *Маткнема*, *Хайматка* из *Хайнматка*, *Ярнема* из *Ярнема*, *Лингора* из *Линдгора*, *Пехнаволок* из *Пехкнаволок*. Некоторые топонимы можно рассматривать как свидетельство существования лексем без конечного гласного, ср. *Пертнема* и *Хумальнема* (см. выше), хотя и в таких случаях нельзя совершенно исключить возможность исчезновения гласного на русской почве. Это означает, что форма *Па(н)пелда* может восходить к *Раррипелдо*, *Рарпелд* и т. п.

Противоречивы и данные изучения звукового состава основ, чему в незначительной степени способствует неполнота данных о лексическом составе диалектов карельского языка, разновременность усвоения топонимов русским языком и возможность отражения ими более древнего состояния, а также русская фонетическая и морфологическая адаптация. Приведем несколько примеров.

Едополь, ср. фин. *etupioli*, карел. *ed'i-puoli* «передняя сторона». Компо-

неит *поль* точно соответствует вепс. *pol'* «сторона», однако нельзя исключать и переработку слова на русской почве (ср. *Каргополь* и *Чистополь*).

Кошопелда, ср. карел. *košše randa* «тихий (заветренный) берег», следовательно, *Кошопелда* — «Тихое (заветренное) поле»³, но для *Кавкаранда* соответствие находим уже только в финском языке (фин. *kaikko* при ливв. *kaigoī* «далекий»), таким образом, *Кавкаранда* — «Далекий берег», причем источником этого топонима должны быть севернокарельские говоры.

Шильтя Вердойская. Название легко объясняется как «Мост на верхнем ручье» (карел. *šilta* «мост», *oja* «ручей»). Оно обозначает урочище (поле) и отражает далеко зашедшее взаимодействие с русским языком. Вместе с тем на территории микрорегиона находим и название речки *Воя*, ср. ливск. *voja* «пруд, лужа», саам. *voj*, *vioid*. «ручей», (впрочем, протеза могла возникнуть и в русском языке: *острый* > *вострый*). Однако названия соседних ручьев *Ширвоя* и *Пенвоя* объясняются из карельского языка как «Большой ручей» (карел. *šuurī* «большой») и «Малый ручей» (карел. *rieni* «малый»).

Из более или менее регулярных фонетических явлений обращают на себя внимание следующие две особенности.

Во-первых, в названиях бассейна Онеги часто встречается интервокальная группа согласных *мб*, ср. *Вамбас*, *Ламбаснема*, *Ламбур*, *Нямбала*, *Самбала*. Эту черту можно считать либо вепско-людиковской (ср. еще *Пордасмена*), либо архаизмом, зафиксированным в субстратной карельской топонимии.

Во-вторых, в этой же зоне неоднократно отмечена архаическая основа *хайн* «сено, трава» (*Хайматка* < *Хайнматка*, *Хайноручей*, ср. в гидронимии *Хайнога*, *Хайнозеро*, *Хайнора*), отраженная в южн.-эст. *hain* (из общеприбалт.-фин. **žaina*). Здесь же прибалт.-фин. *й* может передаваться русским *ы* (*Сырнема*, *Сырья*), что характерно для ранних этапов усвоения субстратной топонимии русскими [10].

Так как для топонимии населенных пунктов побережья Онежской губы эти черты нетипичны, можно высказать предположение, что она формировалась в рамках другого диалектного источника или была освоена русскими в более позднее время. Во всяком случае здесь находим микро-топонимы. *Сюръя* (ср. выше *Сырья*, а также карел. *sürjä*, вепс. *sürǵ* «сторона»), *Хейनावолок* (из *Хейнनावолок*, ср. карел. *heinä* «сено») и явно связанное с карело-ливвиковскими данными *Хижнема* (см. выше). Предположительно поморские деревни были заселены северными карелами.

Попытки выявить специфику субстратной микро-топонимии еще более узких микротерриторий — кустов населенных пунктов — не принесли ощутимых результатов. Это связано прежде всего с несовершенством методики полевого сбора субстратных микро-топонимов, не рассчитанной на системное изучение микро-топонимии отдельных кустов населенных пунктов. Кроме того, дополнительные трудности создавались близостью кустов друг к другу и, следовательно, пересечением топонимических микросистем. В настоящее время разработана более совершенная методика сбора микро-топонимов, которая позволит успешнее дифференцировать отдельные топонимические микросистемы.

Особенности распределения микро-топонимов по отдельным кустам деревень, которые удалось установить, относятся не к происхождению мик-

³ В этом и некоторых других случаях могут быть предложены иные этимологии. Даже при обращении к хронологически наиболее позднему слою топонимического субстрата не всегда возможны однозначные решения и остается место для этимологических альтернатив.

ротопонимии, а к ее усвоению и функционированию. Так, выяснилось, что для поморских деревень, особенно Кусереки и Малошуйки, характерно преобладание микрогидронимических полукалек со словом *ручей*, напротив Пименьга, смежная с низовьями Онеги, в этом отношении приближается к собственно онежским деревням с их богатой субстратной микропонимией в названиях урочищ и множеством детерминативных форм. Оказалось, что особенно много субстратных названий урочищ зафиксировано близ населенных пунктов Вонгуда и Поле, которые в старину, видимо, были местожительством чуди, впоследствии обрусевшей.

В основах субстратных микропонимов часто встречаются русские лексемы, которые следует делить на две группы.

Первую группу составляют заимствования, давно усвоенные прибалтийскими финнами и известные во многих прибалтийско-финских языках. Таковы *пап* в *Па(n)пелда* (карел. *rappi* «священник, поп»), *паче* в *Пачепелда* (карел. *pät't'š'i* «печь»), *пышталь* в *Пыштальнема* (карел. *piššal'i*, люд. *piššal* «пищаль»), *ржж* в *Ржжково* (карел. *reähka* «грех»).

Вторую группу образуют слова, проникшие из русского языка в местные прибалтийско-финские диалекты скорее всего в период двуязычия: *заяц* > *заяч* (*Заячнема*, если только не из *За* + *Ячнема*), *коза* (*Козамина*), *чисть* > *чищ* (*Чищнема*), может быть, *Кустручей*, *Мысनावолок*, *Овесьгора*, *Хомутручей*, *Чайручей*. Конечно, часть этих названий может оказаться результатом действия «народной этимологии» на русской почве.

Встречаются в микропонимии и русские по происхождению антропонимы: *Ваняручей*, *Лукамена*, *Климасорга*, *Якомина* (если не от *дьак*). Среди них тоже могут быть названия, изменившиеся по «народной этимологии».

Субстратные топонимы усваивались русскими в разное время. На это указывают фиксации *Лажтасское* наряду с *Лохта*, *Сарги* наряду с *Сорга* (карел. *sarga* «полоса, надел») [11]. Некоторые сведения о времени усвоения можно извлечь из следующих фактов. Во-первых, в ряде микропонимов отражен известный в истории русского языка переход *e* > *o*, имевший силу закона до XV в. (*Вёхручей*, ср. карел. *vehka* «вахта трилистная». *Пёхручей*, ср. карел. *rehko* «сухое или гнилое дерево, пень»). Во-вторых, русское слово *пищаль* зафиксировано в конце XV в. [12]. В-третьих, если только основа *пирза* в названии *Пирзопелда* не является антропонимом (ср. фин. *pirsa*, вепс. *pirz* «плакса», следовательно, *Пирзопелда* — «Плаксино поле?»), то в компоненте *пирза* надо видеть карел. *pirža*, ливв. *pirsi* «лесопилка; поленица» (< русск. *биржа*, которое появилось в русском языке только на рубеже XVII—XVIII вв.). Все эти данные указывают на неодновременность усвоения субстратной микропонимии русскими, причем в некоторых местах обрусение могло произойти уже после XVII в.

Наблюдения над субстратной микропонимией нижеонежского региона и вывод о том, что она является карельской в широком смысле этого слова хорошо согласуются с показаниями этнопонимии, а именно с названиями деревни *Карельская*, леса *Карелка*, ручья *Карелов*, поля *Кареловщина*. В то же время в названиях деревень *Пянтимо* и *Чекуево*, ручья *Кукуево* (ср. еще название луга *Подуево*) явно отражены карельские личные имена и фамилии. В писцовых книгах XV—XVI вв., относящихся к территории Обонежья, упоминаются *Ульянко Кукуев* и деревня *Кукуевская* (ср. карел. *kikko*, ливв., люд. вепс. *kikoī* «петух»), *Васко и Прока Пянтимины*, *Ивашко Чевкуй*, а также фамилии *Чикоев*, *Чикоев* [13].

Таким образом, есть основания думать, что заселение нижеонежской микротерритории происходило из разных мест — из северной Карелии,

скорее всего, морем, и Обонежья, что и создает столь пестрый топонимический ландшафт. При этом севернокарельский компонент распространился на южное Поморье и низовье Онеги, тогда как переселенцы из Обонежья осваивали только Онегу и ее притоки. Остается открытым вопрос о существовании особого нижнеонежского диалекта карельского языка. Для его решения пока мало данных.

Определив прибалтийско-финское происхождение верхнего (микротопонимического) пласта нижнеонежской топонимии, можно допустить, что прибалтийско-финской является и часть собственно гидронимии. Действительно, в некоторых названиях озер обнаруживаются прибалтийско-финские по происхождению топоформанты *aru*, *ora*, возникшие из топонимической формы детерминатива *järvi* «озеро» (Хангари, Хайнора и т. п.). Прибалтийско-финскими являются и некоторые гидронимы с «речными» суффиксами *-ega*, *-oga*, *-uga*, *-yoga*, восходящими к детерминативу *jogi* «река» (*Хайнога*, *Хильдюга*. ср. ливв. *hi'l'v'u*, вепс. *hi'l'd'* «тихий»). Поэтому есть основания думать, что часть полукалек с русскими географическими терминами *озеро* и *река* также восходит к прибалтийско-финским источникам. Прежде всего это относится к названиям озер (наименования типа *Кушерека* в нижнеонежском регионе встречаются редко), ср. *Куйкозеро* — карел. *kuikka* «гагара», *Орехозеро* — карел. *o'eh* «жеребец» и т. п. Возможно, однако, что среди речных и озерных гидронимов есть и саамские.

Вычленение и изучение топонимических микрорегионов на всей территории Русского Севера позволит с течением времени создать его подробную лингвоэтническую карту на период, предшествовавший русскому усвоению, ускорить появление обобщающих работ по топонимической этимологии и лексикографии, приблизить решение проблемы происхождения глубинных слоев гидронимии. В дальнейшем было бы заманчиво определить лингвоэтническую принадлежность микротопонимии отдельных кустов населенных пунктов, но это возможно только при наличии значительных материалов по каждому кусту и проведении целенаправленных повторных выездов на места. При этом большую помощь могла бы оказать фиксация местных антропонимов, а также субстратных включений в лексику, хотя топонимия все равно останется наиболее значительным системообразующим источником для изучения вымерших языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Матвеев А. К. Взаимодействие языков и методы топонимических исследований // ВЯ. 1972. № 3.
2. Матвеев А. К. Этимологизация субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем // ВЯ. 1976. № 3.
3. Сижина Г. Н. Дославянская топонимия Пинежья // Географические названия. Вопросы географии. № 58. М., 1962.
4. Vasmer M. Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. II. Die ehemalige Ausbreitung der Westfinnen in den heutigen slavischen Ländern // SPAV. Phil.-hist. Klasse. 1934. XYIII.
5. Бернштам Т. А. Поморы. Л., 1978.
6. Suomen kielen etymologinen sanakirja. I—VI. Helsinki, 1955—1978.
7. Матвеев А. К. Топонимические этимологии. I // СФУ. 1969. V. № 4. С. 300.
8. Матвеев А. К. Топонимические этимологии. VIII // СФУ. 1976. XII. № 3.
9. Мамонтова Н. Н. Структурно-семантические типы ливвиковского ареала Карельской АССР. Петрозаводск, 1982.
10. Матвеев А. К. Некоторые вопросы адаптации ударных гласных в финно-угорских субстратных топонимах Русского Севера // СФУ. 1972. VIII. № 1. С. 5—6.
11. Матвеев А. К. Об отражении одного финско-русского фонетического соответствия в субстратной топонимике Русского Севера // СФУ. 1968. IV. № 2.
12. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1971. С. 271.
13. Попов А. И. Материалы по топонимике Карелии // Советское финно-угроведение. V. Петрозаводск, 1949. С. 57—59.

МЕДВЕДЕВА Л. М.

ТИПЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ И СЕМАНТИКА
ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА

Проблема мотивации в лингвистике самым тесным образом связана, во-первых, с подходом к языку как знаковой системе особого рода и, во-вторых, с рассмотрением слова как основного знака языка, структурно и социально обусловленного. Понятие «мотивация» (в лингвистическом смысле) восходит к постулатам древнегреческой философии и непосредственно связано с установлением природы названия, отражающей характер связи между именем вещи и самой вещью. Таким образом, это понятие изначально связано с номинацией, с анализом механизма формирования в языке обозначения разных фрагментов познаваемого человеком окружающего мира.

Анализируя философские работы Л. Фейербаха, В. И. Ленин одобительно отозвался («bien dit») о следующем высказывании немецкого философа: «Чувственное восприятие дает *предмет*, разум — название для него... Что же такое название? Отличительный знак, какой-нибудь бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы представить его себе в его тотальности» [1]. Такой отличительный знак, признак обозначаемого предмета, лежащий в основе его названия и указывающий на связь структуры номинации с обозначаемым номинатом, принято рассматривать как внутреннюю форму, или мотивированность языкового знака¹. Восходящее к В. фон Гумбольдту разграничение внутренней и внешней формы в языке находит развитие в работах отечественных ученых, прежде всего А. А. Потебни [6], а также ряда советских ученых.

Известная современной теории номинации общая типология мотивированности номинации включает такие оппозиции, как мотивированные / немотивированные, абсолютно / относительно, полностью / частично, прямо / косвенно мотивированные номинации [7, с. 274—278].

Особое место понятие мотивации занимает в словообразовании, выделяющемся на современном этапе развития лингвистической теории в самостоятельную дисциплину, с одной стороны, связанную с грамматикой и лексикологией, а с другой, располагающую собственным понятийным аппаратом, объектом исследования и законами. Выполнение номинативной функции производными словами, вторичными единицами языка, являющимися объектом изучения словообразования, осуществляется не прямо, а через посредство лежащих в их основе первичных языковых единиц. Исходное слово и производное слово соотносятся как мотивирующее и мотивированное. Установление характера и сущности мотивационных отношений во вторичной единице языка представляет собой важную часть

¹ О различных определениях понятия мотивации в лингвистике и употреблении терминов «мотивация» и «производность» см. [2—5].

словообразовательного анализа, т. к. обеспечивает проникновение в семантику производного слова, выявление наличия / отсутствия так называемых «приращений» и «надбавок», «фразеологичности» их семантики, установления особенностей словообразовательного значения производного слова. Понятие словообразовательной мотивации вполне логично поэтому рассматривается как занимающее центральное место в теории словообразования. Мотивированный характер лексического значения производных слов обуславливает их особое место в корпусе номинативных единиц языка.

Отношения словообразовательной мотивированности, свойственные вторичным единицам языка, выступают как проявление обусловленности одной языковой единицы другой в формальном и семантическом отношениях. Вполне справедливым представляется то, что отношения типа «врач — лечить», «обслуживать — клиент», связывающие слова в семантическом плане, но не подкрепленные формально, не признаются достаточным основанием для отнесения слов в ряд единиц, связанных собственно словообразовательными отношениями [8, 9].

Анализ семантики слов различных словообразовательных моделей, в морфологической структуре которых фиксируются те или иные мотивационные отношения, свидетельствует, во-первых, об обусловленности их номинативных особенностей характером их словообразовательной мотивированности (это проявляется через посредство их формальных и семантических связей с другими словами, лежащими в их основе) и, во-вторых, о возможности сведения словообразовательных мотиваций к конкретным типам, свойственным целым группам производных слов.

Производные слова, образующиеся в результате суффиксальной деривации, являются универбами. Это не означает, однако, что все они характеризуются однотипным механизмом мотивации. В известных в словообразовании теориях мотивации основное внимание уделяется, как правило, лексической семантике мотивирующего слова, а также особенностям его формальной связи с производным. Мотивация, ориентирующаяся на собственно мотивирующее слово, называется простой. С точки зрения формальной связи с мотивирующим словом она может быть одновременно непосредственной, если само мотивирующее слово — непроизводное (*учить — учитель*; англ. *teach — teacher*), или опосредованной, если мотивирующая единица — производное слово (*читать — читабельный — читабельность*; англ. *read — readable — readability*). С точки зрения смысловой связи производного и мотивирующего слов мотивация может быть прямой, когда производное выявляет связь со смыслом мотивирующих слов в их собственно-номинативном плане, и переносной, или косвенной, когда семантика производного ориентирована на образное, коннотативное значение исходного слова. Прямая мотивация называется также понятийной, а переносная — метафорической (русск. *небоскреж*; англ. *sky-scraper*). Простые мотивации могут быть единственными и неединственными, или множественными (*невероятный — вероятность — невероятность*; англ. *incredible — credibility — incredibility*)². При этом задачей словообразовательного словаря языка считается исчерпывающее описание всех слов, имеющих более чем одну мотивацию, в то время как характеристика всех типов мотивации, существующих в словообразовательной системе языка, формулируется в качестве задач грамматики [11, с. 135].

² Подробнее о названных типах мотивации, выведенных применительно к производным русского языка, см. [10—16].

Установление всех названных типов мотивации, как нетрудно убедиться, основывается на характере формально-семантических связей собственно исходного и производного слов как самостоятельных языковых единиц. С учетом именно этих отношений мотивирующего и мотивированного слов дается и определение понятия словообразовательной мотивации в «Русской грамматике»: «С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я м о т и в а ц и я — это отношение между двумя однокоренными словами, значение одного из которых либо а) определяется через значение другого..., либо б) тождественно значению другого во всех своих компонентах, кроме грамматического значения части речи...» [11].

Следует обратить внимание на возможность употребления термина «мотивация» не только для обозначения отношений, связывающих исходную и производную единицы, но также и для обозначения самих языковых единиц — носителей мотивационных отношений. Теория мотивации, как и теория номинации, ориентирована на ономастиологию. Если номинация исследует главным образом вопрос, «как объекты получают названия» [7, с. 238], то мотивация изучает, как формируется семантика производного слова, в чем состоит роль исходных единиц в формировании номинативной сущности вторичных единиц языка, какую роль выполняет исходное, непосредственно мотивирующее слово в конституировании семантики производного.

Анализируя приведенное выше определение словообразовательной мотивации, учитывающее лексическую семантику собственно (формально) мотивирующего слова, с этой точки зрения, можно говорить о ее узком понимании. Поскольку итогом словообразовательных актов является создание знаков-названий, то сам процесс словообразования правомерно рассматривать как процесс превращения знаков-сообщений в знаки-названия [17]. Словообразовательное истолкование производного слова оказывается связанным с представлением его смысловой структуры такой дефиницией, которая включает в качестве своей составной части мотивирующее слово, занимающее в дефиниции определенную синтаксическую позицию [17, с. 15], реализующее те или иные синтагматические связи, что, в свою очередь, требует более широкого понимания словообразовательной мотивации. Обращение не к одному лишь мотивирующему слову, а к высказыванию, его включающему, позволяет яснее представить семантику производного слова, выявить семантические различия однокоренных образований, относящихся к одной части речи, особенности их лексико-семантического варьирования.

Так, различия в семантике английских производных существительных, называющих лицо — объект действия, можно представить как обусловленные различиями модальных значений мотивирующих их суждений, включающих общий для данных производных исходный глагол *employ*: *employee* «one who is employed»; *employable* «one who can be employed». Различия значений производных *reader*₁ и *reader*₂ также становятся ясными только при обращении к мотивирующим их суждениям, включающим один и тот же исходный глагол: англ. *reader*₁ «person who reads»; *reader*₂ «textbook which can be read in class». Анализ семантики не только отглагольных существительных, но и других классов производных на синтаксической основе, например, отглагольных прилагательных, также требует анализа особенностей предиката и его дополнений и обстоятельств: англ. *justifiable* «that can be legally or morally justified»; *killable* «capable of being killed (esp.) legally».

Важным для теории мотивации представляется также тот факт, что

языковыми единицами в качестве носителей мотивационных отношений могут выступать как лексические, так и грамматические единицы. Лексические единицы обладают самостоятельной функцией номинации, в то время как грамматическим средствам свойственна несамостоятельная, связанная функция номинации [7, с. 236]. Следовательно, с точки зрения внешней формы реализации мотивационных отношений мотивации также могут быть разделены на самостоятельные и несамостоятельные или, точнее, самостоятельные и смешанные. Последний способ мотивации находим, например, у английских производных существительных, прилагательных и наречий, предикат мотивирующего высказывания которых выражен переходным глаголом в пассивном залоге: англ. *addressee, founding, readable, trustworthy, allegedly* (подробнее см. [18]).

Варьирование источников деривации по уровневому статусу (слово — словосочетание — предложение) непосредственно связано со степенью эксплицитного выражения содержания мотивации (одной или нескольких единиц) в словообразовательной структуре производных, которые с этой точки зрения будут характеризоваться разной степенью мотивированности. Расхождение формальной и семантической мотиваций имеет место также в производных, которым свойственна множественность мотиваций, однако не только лексического, но и грамматического характера. Примерами могут служить абстрактные имена действия — производные переходных глаголов, — характеризующиеся сохранением актантов исходного предиката и способностью выражать значения обоих залогов — активного и пассивного, — оставаясь формально немаркированными в залоговом плане, например: *чтение — чтение книги и чтение мальчика*; англ. *conquest — Caesar's conquest и Gaul's conquest*. Причина нерасчлененности залоговых значений подобных существительных состоит в их способности номинализовать действия, выраженные глаголом в активном и пассивном залогах. Иначе говоря, формально одно и то же существительное, реализующее активное залоговое значение, имеет в качестве источника мотивации глагол в активном залоге, в то время как глагол в пассивном залоге выступает в качестве источника мотивации существительного, реализующего пассивное залоговое значение. Правильность вывода о двумотивированности отглагольных существительных по залогоу подтверждается особенностями существительных в тюркских языках, где существует два способа выражения объектного значения при отглагольном существительном: 1) сочетание существительного от пассивного глагола с родительным падежом и 2) сочетание имени от активного глагола с винительным падежом. Например, в узбекском языке отглагольное существительное может употребляться не только в активной, но и в пассивной форме: *ўқиллиш* «чтение» — от *ўқилмок* «быть читанным». Введение в отглагольное существительное показателя пассивности возможно также в болгарском и македонском языках [19].

Асимметрия формальной и семантической мотиваций, обусловленная невыраженностью какого-либо компонента мотивационной структуры в формальной структуре деривата, может быть своеобразным следствием лексико-грамматического значения непосредственной мотивации. Так, при отыменном словообразовании может иметь место инкорпорация предметных значений в семантику производного глагола, ведущая к усложнению его ролевых характеристик, поскольку инкорпорируемое производным глаголом предметное значение содержательно соотносится с его ролью в семантической структуре включающего его предложения, например: *платить (фактитив), асфальтировать (материал), ночевать (темпоратив):*

англ. *to hammer, to nail, to paper*. Перевод семантической роли, выполняемой мотивирующим словом в исходном предложении, на уровень компонента семантической структуры производного называется минизацией семантической роли [20]. Асимметрия формальной и семантической мотиваций у отыменных глаголов с инкорпорированными семантическими компонентами ролевой природы состоит в формальной невыраженности подразумеваемых предикатов, например, англ.: *to hammer* «strike or beat with a hammer»; *to nail* «fasten with a nail». Если у отыменных производных семантическое «домысливание» предиката сопровождается минизацией его семантической роли, то у глагольных производных явное выражение предиката в их словообразовательной структуре может сопровождаться лексикализацией семантической роли (ср. «лексикализацию валентности» [21, 22]): англ. *payee* «one to whom smth. (money) is paid» (объект). Лексикализация семантической роли не обязательно предполагает эксплицитное выражение предиката. Формальная невыраженность предиката, а следовательно, и асимметрия формальной и семантической мотиваций свойственна производным, которые непосредственно мотивируются существительным, занимающим в исходном суждении актантами или сирконстантными позициями, например: англ. *Y is bequeathed a legacy to* → *Y is a legatee*.

Для описания номинативной сущности целого ряда производных учет семантики и синтаксических связей непосредственно мотивирующего их слова во включающем его суждении оказывается недостаточным. Установление семантики целого ряда таких, например, производных, как английские имена лица разных словообразовательных моделей, в том числе и образованные с помощью суффикса *-ee*, требует выхода за пределы суждения, включающего мотивирующее слово, и, следовательно, расширения понятия мотивации. При широком понимании мотивации во внимание принимаются не только закономерности лексической и синтаксической сочетаемости мотивирующего слова в исходном суждении, но также и развиваемые им отношения импликации, выходящие за пределы непосредственно включающего его суждения, в связи с чем есть основания выделять элементарную и комплексную мотивацию соответственно.

Комплексная мотивация свойственна производным, адекватное описание семантики которых оказывается возможным при обращении не к одному исходному суждению, как это имеет место у производных с простой мотивацией, а к двум и более высказываниям, связанным между собой отношениями импликации. Например, особенность употребления глаголов-конверсивов [англ. *buy (purchase)* и *sell (vend)*], основывающегося на принципе взаимной двунаправленной и обязательной импликации, имеет самое непосредственное отношение к особенностям семантики их производных, в данном случае существительного *vendee*. Если акт купли предполагает акт продажи (именно поэтому данная ситуация описывается одновременно двумя глаголами), то каждый из участников акта выполняет как бы усложненную роль: человек, которому что-то продают, является одновременно покупателем и, наоборот, человек, который продает что-то, является тем, у кого покупают. Двунаправленность и взаимность связей глаголов-конверсивов переходит к их производным — актантами именам: англ. *sell / vend* \supseteq *buy/purchase* → *vendee* \supseteq *buyer*.

Следствием взаимной, одновременной и обязательной импликации, свойственной глаголам-конверсивам, для семантики мотивированных ими имен лица является совмещенность конъюнктивно организованных сем актива и пассива, имеющих общую точку соприкосновения — *buyer* и *vendee* называют получателей. Первый, однако, является получателем, будучи

субъектом, а второй — контрагентом. На этом основании можно дополнить дефиницию производного, включив в нее компонент, имплицуруемый существительным — вторым членом конверсивной пары: англ. *buyer* «a person who buys, vendee»; *vendee* «a person to whom smth. is sold, buyer». Совмещение залоговых сем актива и пассива у производных не означает, однако, их абсолютной тождественности как единиц номинации. Если представить значение слов как некоторое множество его компонентов, то существующие между ними связи можно описать в терминах оппозиций³. Производные типа англ. *vendee* — *buyer* образуют эквиолентную оппозицию, поскольку ни одно из них не включает другое. Сама форма и лексическая семантика этих существительных как знаков языковой номинации указывает на то, что в первом случае в основе означивания — ориентация на акт продажи, во втором — купли. В словообразовательной структуре каждого из дериватов эксплицитное выражение получает одно из залоговых значений: пассивное у *vendee* и активное у *buyer*; противоположное залоговое значение присутствует в семантической структуре обоих производных в виде имплицитной семы.

Аналогичным способом может быть представлена семантика других производных существительных, мотивированных глаголами-конверсивами и также связанных поэтому отношениями взаимной, двунаправленной, одновременной и обязательной импликации, например: англ. *loanee* \supseteq *borrower*, *debtee* \supseteq *creditor*. Из двух конъюнктивно связанных залоговых сем у первого производного эксплицитной является пассивная сема (*loanee* «one to whom a loan has been granted, a borrower»), у второго — активная сема (*borrower* «one who borrows, a loanee»). Ср. также *debtee* «one to whom a debt is due» и *creditor* «one who gives credit for money or goods; one to whom a debt is owing», которые описывают одно и то же лицо, одного из участников ситуации «дать в долг — взять в долг». В расчлененной структуре деривата *debtee* фиксируется указание на объектную роль, выполняемую мотивирующим его существительным в одном из исходных суждений, в то время как субъектное значение производного, восходящее к другому суждению, не получает непосредственного выражения в формальной структуре деривата и переходит на уровень импликации. Словообразовательная структура его русского эквивалента *заимодавец*, *кредитор* ориентирована на активную роль называемого именем лица, что в определенной степени объясняется ограниченными возможностями русского языка в создании имен лица — объекта действия.

В семантической структуре каждого из производных глаголов-конверсивов находит отражение, следовательно, указание на их роль в обоих суждениях, предикат которых выражен мотивирующими глаголами. Производные глаголов-конверсивов представляют собой лексикализацию валентности не одного глагола, как это свойственно другим актантным существительным, а лексикализацию одной из валентностей обоих глаголов (контрагента и субъекта, субъекта и контрагента). Варьирование значения таких производных по залоговому выходу, следовательно, за рамки словообразовательного значения, обычно приписываемого существительным на *-ee* — «one who is -ed». Свойственная производным конверсивных глаголов обязательная, одновременная и взаимная импликация подсказывает необходимость их включения в словарях тезаурусного типа в одну тематическую группу (см., однако [24, 25]).

³ О применении оппозиционного анализа к анализу значений слов, рассматриваемых как самостоятельные рубрики в статье толкового словаря, см. [23].

Предикаты, к которым восходят производные рассматриваемого типа, могут быть связаны между собой не только дву-, но и однонаправленными имплицативными отношениями, или отношениями следования (entailment). Импликация, формализующие эти отношения, называются импликациями следования (слабыми импликациями) [26]. Существенным в данном случае является характер импликации, ее обязательность (строгость)/необязательность (нестрогость). Отношения нестрогой импликации, связывающие непосредственно мотивирующее предложение (предложение основания) и вытекающее из него (выводное) предложение, не являются значимыми для семантики производного. Так, англ. *X addressed Y to Z* может только предполагать или ослабленно имплицировать, но не просто имплицировать предложения (*A*) *Z answered Y* или (*B*) *Z didn't answer Y*. «Нестрогость» импликации вытекает из дизъюнкции имплицлируемых предложений: $A \vee B$. Поэтому для правильного толкования производного *addressee* достаточно обратиться к единственному (собственно исходному) предложению *X addressed Y to Z* или *Z was addressed Y (to)* [ср.: *addressee* «the person to whom mail is addressed»; *advertisee* «one advertised for, one to whom an advertisement is addressed, who is expected to respond to it (but may or may not respond to it)»]. Эта особенность свойственна также производным *indictée*, *accusee* и т. п. Следствием нестрогости импликации у предложений, мотивирующих указанные производные (т. е. импликации не одного, а двух дизъюнктивно организованных предложений), является то, что эти существенные сохраняют в своей семантике единственное залоговое значение — значение пассива, — которое свойственно непосредственно мотивирующему суждению. Отражение значения активного залога глаголов-сказуемых нестрогой имплицлируемых дизъюнктивно организованных предложений сводится у производных к нулю. Именно поэтому можно утверждать, что у таких производных мотивирующим является единственное суждение, в котором функционирует слово, являющееся исходным для производного.

Элементарной мотивации противостоит усложненная, или комплексная, мотивация, в основе которой лежит обязательность имплицативных связей исходных предложений, являющихся «равноправными» (как, например, у производных, восходящих к конверсивам) или представленных предложениями-основаниями и выводными предложениями. Предложение-основание и выводное предложение (или предложения) могут быть связаны отношениями обязательной, или строгой, импликации, при которой каждая последующая единица семантически выводится из предыдущей: $A \supset B \supset C$. Производное, формально мотивированное глаголом-сказуемым одного из таких предложений, выявляет семантическую связанность со всеми другими предложениями. Например, семантика производного *employee* восходит фактически не к одному (англ. *X employs Y/Y is employed by X*), а к нескольким предложениям. Номинализация, в результате которой происходит преобразование предиката предложения *Y is employed by X*, фиксирует не только связи предиката внутри данного высказывания, но и связи, выходящие за его пределы, т. е. «внешние» связи. Из того, что (*A*) *Y is employed (by X)*, следует, что (*B*) *Y works (for X)*, (*C*) *Y receives wages (salary)*. Комплексная мотивированность производного может быть представлена следующим образом: $X \text{ employs } Y/Y \text{ is employed (by } X) \supset Y \text{ works (for } X) \supset Y \text{ receives wages} \rightarrow Y \text{ is an employee}$. Имплицативные отношения, связывающие эти предложения, являются обязательными, однонаправленными и не одновременными, как у конверсивов, а упорядоченными во временной последовательности. Выводные предложения, следующие

щие за основными, не исключают друг друга (ср. предложения, выводимые из $X \text{ addressed } Y \text{ to } Z$). Таким образом, связанными оказываются предложения, грамматические субъекты которых, совпадающие по референтной соотнесенности, представлены пациенсом и агенсом соответственно.

Понятие семантического следования применимо к описанию предложений, мотивирующих такие производные, как, например, англ. *bailee*, *licensee*, *assignee*, *trustee*, *petitionee*, *referee*, *appellee* и др. В качестве идентифицирующих их предложений выступают непосредственно мотивирующие суждения, включающие компонент, с которым существительное связано отношениями формальной производности (иногда представленной опосредованно), а также предложения (или их номинализации), связанные с первыми отношениями семантического следования, например: «*assignee*» «one appointed (assigned) to act for another; «*referee*» «a person to whom smth. is referred for decision or settlement». Однонаправленность отношений семантического следования, связывающих мотивирующие конструкции производных, свидетельствует о существовании между ними причинно-следственной связи: составляющие мотивирующей части таких производных могут быть соединены каузативной связкой: англ. *one acts (will act) for another / because / he is appointed (appointee)*; *one decides, settles (smth.) / because / he is referred to (referee)*. Причинно-следственные отношения могут быть синонимичными с отношениями каузации [27]. Отношения каузации в приведенных выше группах мотивирующих предложений носят опосредованный характер: выполнять то или иное действие называемое производным именем лицо обязано «по должности».

Отношения причинно-следственной связи выявляются также и у суждений, мотивирующих производные *legatee*, *licensee*, *allotee*, *covenantee*, *patentee* и др., у которых роль формальной мотивации выполняет субстантивная основа. Синкретизм семантики этих производных состоит в совмещении у них значений лица — объекта действия и субъекта обладания. Состояние обладания является каузированным извне. Роль каузативной связки берет на себя английский глагол *give*, вместо которого в каждом конкретном случае употребляется необходимый синонимичный глагол, например: *patentee* «a person to whom a patent is issued (is given), one who holds a patent»; *licensee* «a person to whom license is granted (is given), one who holds a license». Значение глагола *give* можно описать с помощью глаголов *make* и *have* (*give smb. smth. = make smb. have smth.*). Следует напомнить, что к способам выражения отношений каузации Ш. Балли относил каузативные связки *faire avoir* «снабжать» (букв. «заставить иметь») и *faire être à* «отдавать» (букв. «заставить быть у»), замечая при этом, что *faire être à* можно заменить глаголом *donner* «давать» [28]. Таким образом, конструкции, мотивирующие производные типа *licensee* («one is given a license / X gives one a license, one holds a license»), соотносятся как каузативная конструкция и некаузативный вариант каузативной конструкции. Отношения между компонентами предложения следования (субъектом и предикатом) правомерно рассматривать как опосредованные, поскольку они возникают благодаря каузативной связке: $X \text{ has } Z / \text{ because } / X \text{ was given } Z$.

Производные, формирование семантической структуры которых происходит с опорой на связи семантического следования, также характеризуются осложнением их семантической структуры. Если в предложении основания такие производные представляют объектную валентность предиката, то в последующем (выводном) предложении они представляют субъектную валентность предиката, связанного с первым обязательными отношениями

семантического следования. Например: англ. *Y is referred to* \supset *Y decides and settles* \rightarrow *Y is a referee*; *Y is appointed (trusted)* \supset *Y administers the affairs of a company (institution)* \rightarrow *Y is a trustee*; *Y is given a license* \supset *Y has a license (to sell alcoholic liquor)* \rightarrow *Y is a licensee*. Обязательность перевода паиенса исходного предложения (предложения основания) в ранг субъекта выводного предложения обуславливает сохранение в семантической структуре производных обеих залоговых сем — пассива и актива, присутствующих в ней в виде конъюнктивно организованных сем. Именно поэтому *employee* называет лицо, являющееся также «worker» и «wage earner»; *trustee* — «guardian», *referee* — «arbitrator, umpire» и т. д. Каждое из таких толкуемых существительных образует с существительными, с помощью которых оно толкуется, привативную оппозицию. Оппозиции *employee* (A) — *worker (wage earner)* (B), *referee* (A) — *arbitrator (umpire)* (B) привативны в пользу определяемых слов (*employee, referee*), между теми и другими (A—B) складываются родо-видовые отношения. Производное может выступать как гипероним общего значения, например, в общенародном языке, и реализовать терминологическое значение (проявляясь как гипоним) в отдельных подъязыках. Интерес в этом плане представляет существительное *employee*. Комплексный характер мотивации производного, в результате которого его значение осложнилось семами активного лица («one who works and receives wages») и прошло стадию конкретизации и терминологизации, является основой гиперо-гипонимических связей с существительными — названиями конкретных занятий и профессий человека, с которыми оно связано родо-видовыми отношениями. Существительное *employee*, являясь гиперонимом и, следовательно, доминантой гипонимического поля слов со значением профессий, присутствует в значении каждого слова в качестве семантического инварианта, а само, как и свойственно доминанте, не входит в поле как равноправный элемент; ср.: *employee, worker, clerk, agent, office worker, white-collar worker, workman, workingman, secretary, salesman, assistant, attendant, operator, servant, typist, stenographer, executive, craftsman, provider, breadwinner* и т. д. [24, 25]. В номинации данного производного, в его формальной структуре, в частности, находит отражение обобщенное значение «занятости» («быть нчятым»), значение субъекта (дающего работу) выходит за пределы номинативного значения слова в сферу его синтагматических связей. Семантический субъект, получающий выражение через связь производного с другими словами в синтагматической цепи, косвенным образом указывает на характер работы называемого лица, его социальный статус, например: *the bank's employee, the mill's employee, mill-town store and factory employee(s), United Nations employee(s)*.

Нетрудно заметить, что отношениями семантического следования связаны только такие предложения, представляющие собой комплексный источник мотивации для производных на *-ee*, которые указывают на постоянное занятие лица, его профессию или занятие определенной продолжительности. Это относится к существительным *trustee, referee, employee*, а также к производным *prisoner, convict, exile* и т. д. Основная роль в их конструировании как знаков языковой номинации принадлежит предложениям следования.

Особенность комплексного характера семантики некоторых производных состоит в вариативности свойственных им значений предшествования и следования, отражающей лексико-семантическое варьирование существительных: одно и то же предложение из группы мотивирующих предложений может выступать в качестве предложения-основания и предложения-

следования, как, например, у существительного *prisoner*: 1) *a person kept in prison for some crime = X has been found guilty of a crime* \supset *X is kept in prison*; 2) *a person kept in prison while waiting to be tried = X is kept in prison* \supset *X will be tried*.

Большинство рассматриваемых производных с комплексной мотивацией являются лексикализацией объектной (субъектной) валентности формально мотивирующего глагола и субъектной (объектной) валентности выводного глагола (или глаголов). Отсюда — возможность разграничения непресуппозиционного и пресуппозиционного компонентов содержания в их семантической структуре⁴. Явное (эксплицитное) выражение пресуппозиционного содержания делает предложение, как известно, неотмеченным. Неотмеченными будут и предложения, в которых функционируют производные с пресуппозиционными компонентами, получающими эксплицитное выражение. Ср.: 1)...he enforced them within his family and among the employees at River Valley Farm (T. Capote. In cold blood) \rightarrow ... *within his family and among the employees who work and receive wages at River Valley Farm; 2) I myself have seen these foundlings in their nest displaying a strange ferocity of nature (Oxford English dictionary) \rightarrow *I myself have seen these foundlings who had been abandoned (deserted) by their parents in their nest displaying a strange ferocity of nature.

Проведенный анализ позволяет определить характер семантических различий производных, образующих общую тематическую группу, например: *accused, defendant, respondent, litigent, prisoner, libellee* [24]. Семантически наиболее элементарным является существительное *accused* «a person charged with a crime»; это значение включается в семантику следующего слова в качестве его пресуппозиции: *defendant* «one is defended (defends himself) because he is accused» (ср.: **The defendant wasn't accused of anything*). Аналогичный пресуппозиционный компонент находим также и у существительных *respondent, litigent* «one has to answer because he is charged (with...)». Производному *prisoner*, как было показано выше, также свойственны подобные, но варьирующиеся в порядке следования или предшествования пресуппозиционные компоненты. Не является исключением и производное *libellee*, ср. его русский эквивалент «ответчик; обвиняемый» (в церковном или мирском суде): *one has to answer because he is charged (with...)* Слово, возглавляющее тематическую группу, связано со словами, входящими в нее, гиперо-гипонимическими отношениями. Компонент значения ведущего слова имеет в семантической структуре слов-гипонимов статус пресуппозиции. Особенность комплексной мотивации, опирающейся на отношения семантического следования, состоит в неполном совпадении ее формальной и семантической частей. Если формально мотивирующим является глагол — предикат одного предложения (в большинстве случаев предложения-основания), то семантически мотивирующими являются предикаты как предложения-основания, так и предложения-вывода (следования). Поэтому «one who is -ed» как обобщенный способ представления семантики производных на *-ee* не может считаться адекватным отражением семантики всех существительных этой словообразовательной модели. Пресуппозиционные компоненты семантики таких производных фиксируют-

⁴ Понятие пресуппозиции, понимаемое как определенное логическое условие, выполнение или соблюдение которого необходимо в предложении для установления между ним и другим предложением отношений следования, обычно используется для описания семантики предложений [29, 30]. Проведенное исследование показывает, однако, что пресуппозиционные отношения обнаруживаются также в семантике производных с комплексной мотивацией.

ся в памяти параллельно с непресуппозиционными, передаваемыми непосредственно их словообразовательной структурой⁵.

Существительные с комплексной мотивацией, компоненты которой организованы по принципу семантического следования, характеризуют называемое ими лицо как по непосредственно или опосредованно выраженному действию, обозначенному, например, в исходной основе производного, так и по действию, выполняемому лицом временно или постоянно. Имеющая место терминологизация значений таких производных основывается на второй части их комплексной мотивации. Например: *assignee* «one appointed to act for another»; *trustee* «a person appointed to administer the affairs of a company»; *referee* «a person to whom smth. is referred for decision or settlement»; *bailee* «a person to whom goods are delivered to be held for some purpose, as for surety of a contract»⁶.

Особенностью производных с комплексной мотивацией, как уже отмечалось, является несовпадение границ их формальной и семантической мотивации. Если основное предложение является определяющим для установления формальной структуры большинства производных, то решающая роль в определении их номинативной сущности принадлежит предложению (предложениям) следования. Эта черта производных выступает отчетливо в их русских эквивалентах, ориентированных главным образом на предикаты следования, например: *employee* «рабочий», «служащий» (ср. «работающий по найму», где имеет место отражение значений основного и выводного предикатов одновременно); *rawnee* «залогодержатель»; *bailee* «ответственный хранитель имущества», «депозитарий»; *appellee* «ответчик по апелляции»; *assignee* «представитель», «правопреемник»; *trustee* «попечитель, опекун»; *referee* «судья, рефери»; *trainee* «стажер»; *goalee* «вратарь».

Таким образом, осознание комплексности организации семантической структуры производных, сопряженности образующих ее семантических компонентов как обусловленной разными типами мотивации позволяет полнее представить их номинативную сущность. Расширенное понимание мотивации, ориентирующееся не только на собственно мотивирующее слово, но и развиваемые им связи во включающем его суждении и за его пределами обладает значительной объяснительной силой и может обеспечить описание значения производного слова (т. е. его отношения к обозначаемому им предмету), смысла производного (т. е. его внутренней формы), вскрыть всю заключенную в производном информацию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ленин В. И. Философские тетради // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 74.
2. Сафарова К. А. Двойственная природа словообразовательной мотивировки слова в английском языке // Вопросы романо-германской филологии. Ташкент. 1967.
3. Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. М., 1976.
4. Козина Е. В. Мотивация как лингвистическое явление // Семантика и структура слова. Калинин, 1984.
5. Иванова Т. Ф. К вопросу о семантической мотивации производных слов // Языковая практика и теория языка. Вып. 1. М., 1974.
6. Потеев А. А. Из записок по русской грамматике. 3-е изд. М., 1958.

⁵ Это же свойственно и особенностям сохранения в памяти предложенческой информации: различие между информацией, заключенной в значении предложения и его пресуппозиции, является, как отмечает Г. Г. Почепцов, несущественным для носителей языка [31].

⁶ Приводимые в статье толкования производных даются по словарям [32—35].

7. *Гак В. Г.* К типологии лингвистических номинаций // Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977.
8. *Кубрякова Е. С.* Словообразование // Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972. С. 372.
9. *Лопатин В. В.* Русская словообразовательная морфемика. М., 1977. С. 6—7.
10. *Улужанов И. С.* Словообразовательная мотивация и ее виды // ИАН СЛЯ. 1971. № 1.
11. Русская грамматика. Т. 1. М., 1980. С. 133.
12. *Азнаурова Э. С.* Принципы анализа стилистически маркированных производных слов // Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореца. 1980. Вып. 164.
13. *Новиков Л. А.* Некоторые виды словообразовательной семантики // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982.
14. *Земская Е. А.* Заметки по современному русскому словообразованию // ВЯ. 1965. № 3.
15. *Ермакова О. П.* Расхождение формальной и семантической производности // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982.
16. *Ширинов А. И.* Словообразовательная цепь и явление полимотивированности // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982.
17. *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981. С. 82.
18. *Медведева Л. М.* Части речи и залог. Киев, 1983.
19. *Резвин И. И.* Трансформационное исследование конструкций с субъектным и объектным приименным дополнением (Genitivus Subjectivus и Genitivus Objectivus) // Проблемы семантического моделирования. М., 1973. С. 93, 95.
20. *Почепцов Г. Г.* Минизация семантических ролей (об одном аспекте взаимодействия словообразования и синтаксиса) // Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореца. 1980. Вып. 164.
21. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974. С. 131.
22. *Степанова М. Д., Хельбиг Г.* Части речи и проблема валентности в современном немецком языке. М., 1978. С. 147.
23. *Караулов Ю. Н.* Структура лексико-семантического поля // ФН. 1972. № 1.
24. *The New Roget's thesaurus in dictionary form.* New York — Tokyo, 1964.
25. *Laird Ch.* Webster's new world thesaurus. N. Y., 1974.
26. *Карри Х.* Основания математической логики. М., 1967. С. 389.
27. *Недялков В. П., Сильницкий Г. Г.* Типология каузативных конструкций // Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969. С. 10.
28. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955. С. 124—125.
29. *Keenan E.* Two kinds of presuppositions in natural language // Studies in linguistic semantics. N. Y., 1971. P. 45.
30. *Богданов В. В.* Семантико-синтаксическая организация предложения. Л., 1977. С. 137.
31. *Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г.* Теоретическая грамматика современного английского языка. М., 1981. С. 262.
32. The compact edition of the Oxford English dictionary. V. 1—2. Oxford, 1980.
33. The Oxford English dictionary. Supplement. Oxford, 1976.
34. The Random iHouse dictionary of the English language. New Delhi, 1980.
35. Webster's Th rd New International dictionary of the English language. V. 1—2. Springfield (Mass.), 1961.

КИЯК Т. Р.

О ВИДАХ МОТИВИРОВАННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Проблематика мотивированности языковых знаков органически вошла в круг интересов целого ряда наук, и прежде всего социологии, психологии, семиотики, лингвистики, хотя в каждой из этих дисциплин терминование данной категории и пределы ее функционирования различны. В настоящей работе вопросы мотивированности рассматриваются только с точки зрения лингвистики.

На современном этапе развития языковедческой науки особую важность приобретают исследования внутреннего механизма взаимозависимостей между планом выражения и планом содержания. Лингвисты разных направлений, как в нашей стране, так и за рубежом, все более убеждаются в ошибочности изолированного изучения этих уровней языка в отрыве друг от друга при решении кардинальных проблем теоретического и прикладного языкознания. Вплоть до настоящего времени лингвисты спорят относительно природы мотивированности языкового знака, возможностей исследования этой категории, свойств мотивированности и их отличий от характеристик других категорий. Мотивированность выступает иногда под различными наименованиями: «знак значения», «осмысленность внутренней формы», «обусловленность внутренними отношениями», «лексическая объективация», «словообразовательное значение», «мотивация», «мотивировка», «этимологическая структура слова» и др. Раскрытие этого понятия ищут то в диахронии, то в синхронии. Мотивированность приравнивают к внутренней форме или же разграничивают их. Ясно одно: мотивированность как языковое явление представляет собой отражение средствами языка одного или нескольких признаков предмета в его названии. При этом суть мотивированности не меняется, если в первую очередь подчеркиваются деривационные отношения между производным и производящим словами (см., например [1—19]).

Категория мотивированности является ключевой при рассмотрении вопросов взаимоотношения между внутренней формой и лексическим значением слова или выражения. При этом под внутренней формой лексической единицы мы понимаем умственный интериоризованный образ, потенциально абстрагирующий и отражающий в виде алтерцепционного представления один или несколько существенных признаков денотата, вызываемых и фиксируемых в памяти носителя языка морфемной структурой слова или выражения [7]. Следовательно, внутренняя форма не сводится однозначно ни к инварианту значения, ни к этимологии слова, ни к лексическому значению, ни к мотивированности, ни к простой сумме составляющих морфем выражения. В свою очередь лексическое значение является объективным и относительно динамичным отражением денотата в сознании, социально обусловленной категорией, выступающей как система необходимых и достаточных концептуальных характеристик лексической единицы, которые ориентируют на соответствующее понятие о дан-

ном предмете и составляют его (понятия) интенциональную основу. Для решения многих практических задач можно считать, что дефиниция слова способна в значительной степени вербально эксплицировать лексическое значение, являясь вместе с тем лишь мгновенным слепком эволюционирующего ядра интенционала понятия (см. [6]: в работе Ю. С. Степанова описывается 16 типов определений).

Отношение между внутренней формой и значением в рамках проблемы мотивированности в значительной степени аналогично взаимосвязи целого и части языковых выражений. В части языкового целого проявляются или должны проявляться определенные признаки отражаемого понятия. Другие признаки частей не теряются в рамках целого, а фигурируют как потенциальные, но в данный отрезок времени качественно не реализованные возможности. Именно внутренняя форма обладает многими признаками, присущими понятию части в рамках языкового целого, если под целым подразумевать лексическое значение. Форма (как и часть) проявляет те свойства, которые необходимы для образования значения. Но между данными категориями существует и противоречие, состоящее в том, что значение слова ориентировано на принадлежность данной единицы к системе языка, т. е. отражает также необходимые взаимосвязи между лексическими единицами в рамках плана содержания всего языка, в то время как внутренняя форма ориентирует, главным образом, только на соответствующее значение. Отсюда и наличие в этих двух категориях различных формообразующих и отражательных компонентов.

Средством процесса мотивации, таким образом, становится не значение, а наименование, вернее — его внутренняя форма, которую можно интерпретировать как основу мотивированности.

Разница между ними проявляется также в самостоятельности значения, гипостазировании его функций по отношению к мотивированности языкового выражения. При этом не следует также забывать о разных гносеологических функциях внутренней формы и мотивированности. Внутренняя форма — неперменная семантическая характеристика любого слова, «умственный образ» предмета, объективируемый социальным опытом человека и «подсказанный» ему структурными особенностями самого слова. Мотивированность же присуща далеко не каждой лексической единице, а точнее — ее внутренней форме. Семантические слагаемые внутренней формы, возникшие случайно и не нашедшие (resp. потерявшие) отношения с соответствующим лексическим значением, не раскрывают мотивированности слова, а, напротив, уменьшают, ослабляют ее, делают слово в целом ложно мотивированным. Более того, мы убеждены в том, что мотивированность должна быть не просто фиксатором общих характеристик внутренней формы и значения, констатировать наличие семантической связи между ними, но и служить своеобразным индикатором как количественных, так и качественных особенностей этих общих слагаемых, их информационной роли в пределах всего лексического значения.

На уровне мотивированности осуществляется ассоциативная связь между семантическими элементами номинативной единицы и соответствующим лексическим значением. Если же такая связь не реконструируется посредством ментальных операций коммуниканта, то для него слово лишено мотивированности. Незнакомые лексические единицы могут вызвать лишь случайную ассоциативную связь со значением слова, опирающуюся на языковое сознание индивида. Но подобная связь не имеет ничего общего с категорией мотивированности. Внутренняя форма хотя бы

исторически присуща любой лексической единице, в то время как этимологизация слов не способствует обнаружению мотивированности [20, 21]. Следовательно, мотивированность слова всегда является синхронной по отношению к языку, будь то «историческая» или «современная» синхрония [22—28]. Поэтому мы не согласны понимать, как это делает Л. Р. Зиндер, под мотивированностью семантический анализ означаемого, семантическую структуру знака или его внутреннюю форму [29, с. 347]. Можно согласиться с тем, что семантическая структура знака воплощает его внутреннюю форму, однако последняя еще нисколько не предопределяет семантического анализа означаемого, а следовательно, и не обнаруживает еще мотивированности. Недостаточно также понимать под мотивированностью «структурно-семантическое свойство слова, позволяющее осознать рациональность связи значения и звуковой оболочки слова на основе его лексической и структурной соотносительности» [30, с. 30]. Такое свойство слова может быть характерным для фонетической мотивированности, но кроме нее мы не обнаружим никакой другой семантической связи между звучанием слова и его лексическим значением.

Понятие мотивированности относится только к сложным морфемным образованиям и не характерно для непроеводных слов. В этом проявляется еще одно отличие мотивированности от внутренней формы в нашем понимании. Непроеводные лексические единицы, морфемы могут быть мотивированными только вследствие семантического переноса или звукоподражательных ассоциаций [8, с. 34]. Мотивированность проективных единиц выступает в основном как результат целенаправленного словообразовательного процесса, определяемого наличием в лексической единице, помимо ее непроеводной корневой части, хотя бы одного словообразовательного форманта. Сопоставляя мотивированность проективных и проективных слов, отметим, что практически все особенности мотивированности дериватов в большей или меньшей степени свойственны и сложным словам.

Мотивированность может иметь различный характер в зависимости от того, какую из сторон анализируемого понятия подчеркивает соответствующее выражение. С. Ульман предлагает различать три вида мотивированности: 1) фонетическую или естественную (например, для междометий), 2) морфологическую, 3) семантическую [31, с. 255]. В соответствии с этой известной классификацией И. С. Торощев выделяет следующие способы мотивировки: 1) мотивировку подражанием, 2) мотивировку признаком, 3) мотивировку содержанием [22, с. 59—60]. В. Г. Гак называет фонетическую мотивированность абсолютной (или внешней), остальные виды — относительной (или внутренней) мотивированностью. Последняя подразделяется на морфологическую (значение слова вытекает из значения составляющих его частей) и семантическую (значение образуется вследствие переосмысления) [8, с. 34].

Следует подчеркнуть, что классификация видов мотивированности С. Ульмана претерпела значительные изменения и дополнения, порою нерационально усложняющие метаязык лингвистической теории. Кроме указанных видов, многие языковеды предлагают различать лексическую, словообразовательную, синтаксическую и другие виды мотивированности. При этом далеко не всегда проводится четкая и однозначная грань между ними. Так, К. А. Тимофеев считает, что лексическая мотивация касается отдельных слов, образующих словообразовательный ряд, лексическую мотивацию имеют главным образом проективные слова, словообразовательная мотивация свойственна всем полнозначным словам, обла-

дающим морфемной структурой [32, с. 33]. В. В. Левицкий определяет связь значения слова и его морфологической структуры как морфологическую мотивированность [33, с. 21]. В. М. Лейчик полагает, что если объясняется новое слово другим словом, на базе которого оно было образовано, то мы имеем дело со словообразовательной мотивированностью [34, с. 30]. М. Д. Степанова утверждает, что семантическая мотивированность слова определяется лексическим значением первичных основ и семантикой той словообразовательной модели, которой соответствует вторичная основа [35, с. 210].

Все это свидетельствует о нечеткости границ между этими видами мотивированности и одновременно является следствием их непосредственной взаимосвязи. Причину некоторой несогласованности и нерационального нагромождения терминов мы видим также в недифференцированности семиотических функций мотивированности и внутренней формы, в отрицании отдельными лингвистами особого категориального статуса последней.

Попытаемся систематизировать главные подходы к определению категории мотивированности и построить ее краткую типологию. Во-первых, нам представляется оправданным различать два плана мотивированности: языковой и речевой. В плане речи мы имеем дело с референтной мотивированностью, которую Г. П. Мельников называет «мотивированностью по смыслу» [36, с. 4]. Речевая мотивированность имеет контекстуальный и нередко даже субъективный характер, поэтому ее исследование относится к кругу вопросов референции. Следует отметить, что данный план мотивированности также тесно связан с языковой мотивированностью, поскольку среди всех возможных признаков денотата можно обнаружить по крайней мере один регулярный и в значительной степени детерминирующий актуальный признак (resp. признаки). Именно такой обязательный, имманентный (хотя бы имплицитно) признак слова должен служить основой для образования внутренней формы лексической единицы.

На языковом уровне мы различаем три вида мотивированности: 1) знаковую (семиотическую), 2) формальную (словообразовательную), 3) содержательную (интенциональную). Знаковую мотивированность мы понимаем как мотивированность в «слабом» смысле: она свойственна всем лексическим единицам, реально функционирующим в языке в виде языковых знаков. При этом «структура знака не может не быть мотивирована структурой означаемых элементов объективного мира» [37, с. 28—29]. Данный вид мотивированности не требует количественных измерений или логической верификации. Здесь слово мотивируется самим фактом существования и употребления. Дело в том, что в языке не существует абсолютно немотивированных слов. Все они взаимосвязаны с соответствующим значением хотя бы до уровня общей лексико-семантической категории. Кроме этого лексическая единица мотивируется своими системными характеристиками. В терминологической лексике, например, помимо «предметной мотивировки» существует также мотивировка, «включающая термин в систему» [38, с. 84]. Еще Парацельс образно утверждал, что в природе нет скрытых вещей и если даже определенные вещи пребывают в скрытом состоянии, то они все равно не оставлены без внешних видимых знаков с особыми отметинами — подобно тому, как человек, закопавший клад, метит это место, чтобы его можно было найти [39, с. 72]. К этому остается добавить, что всякий клад тем легче обнаружить, не спутать с другими, чем определеннее будет эта

метка. Следовательно, если слово не мотивировано своей предметной соотношенностью, то его способны мотивировать некоторые системные характеристики, хотя, вполне понятно, желаемой является конкретная соотношенность формы и содержания языкового знака, предусматриваемая другими видами мотивированности лексических единиц.

Формальную мотивированность мы подразделяем на два типа: 1) мотивированность по внешней форме т. е. фонетическая, абсолютная или эксплицитная мотивированность, например, *хлоп*, *шуршать*, *кукарекать*; 2) мотивированность по внутренней форме.

Природа фонетической мотивированности своеобразна, пределы ее функционирования ограничены. Для языка точных наук, например, она не является типичной. Фонетическая мотивированность одновременно изменчива и субъективна и поэтому в меньшей степени, чем другие виды, допускает подсчеты, трудно поддается точному анализу. Внутренняя форма как апперцептивный образ, определяемый морфемной структурой слова или выражения, предусматривает учет их морфологических и семантических особенностей. Поэтому, говоря о мотивированности во внутренней форме, следует различать соответственно морфологическую и семантическую мотивации.

Морфологическая мотивация определяется прежде всего словообразовательной моделью лексической единицы, в то время как семантическая является результатом взаимоотношений между словообразовательными формантами и основой, между новым и предыдущим значением, между различными модификациями внутренних форм (например, интенсификации, квантификации, указания и т. п.). Различия между морфологической и семантической мотивациями особенно четко проявляются в сложных словах, где структурные особенности отступают на второй план, а определяющую роль играет именно «семантическое прочтение» взаимосвязей между словами-элементами. К семантическому типу мотивации следует отнести также переосмысления, где структурная модель нового образования остается без изменения, т. е. морфологическая мотивация не проявляется. Но учитывая тесную взаимосвязь и одновременно некоторую размытость границ между этими подтипами мотивации, нередко целесообразно их объединить в один тип — семантико-морфологическую мотивацию, всесторонне характеризующую структурно-семантические особенности словообразовательной архитектоники лексической единицы.

В особый вариант семантико-морфологической мотивации мы выделяем аббревиатурные образования и, вслед за Е. С. Кубряковой, считаем, что сокращенные варианты слов или выражений мотивируются их полной формой [7, с. 13]. Условно назовем это явление опосредованной мотивацией. Исключение здесь могут составлять аббревиатуры типа *проф-орг*, *вуз*, *загс*, почти утратившие признаки сокращения и ставшие полноценными словами. Именно поэтому «тем самым и имплицитное в них не имеет определенной значимости, хотя следы его все же остаются» [40, с. 25].

Будучи основой образования внутренней формы производных и сложных лексических единиц, процесс семантико-морфологической мотивации, протекая на словообразовательном уровне, все же далеко не всегда обуславливает отражение во внутренней форме наиболее релевантных элементов значения. Поэтому нам представляется практически оправданным понятийное разграничение терминов «мотивация» и «мотивированность». Мы считаем, что «мотивация» — целенаправленный процесс,

а «мотивированность» — желаемый результат отражения в лексической единице средствами языка определенного признака (признаков) денотата, входящего (входящих) в корпус признаков его лексического значения. Различая подобным образом понятия мотивировки и мотивированности, И. С. Горюпцев пишет: «Не являясь неотъемлемым свойством, мотивированность слов может быть утрачена, чего нельзя себе представить в отношении мотивировки» [41, с. 124]. Таким образом, используя предлагаемые нами термины, всякий процесс создания новой внутренней формы — это одновременно и процесс мотивации, но еще не мотивированность как результат процесса. Заметим, что понятию мотивации здесь соответствует семантико-морфологическая мотивированность, а под мотивированностью подразумевается содержательная (интенциональная) мотивированность.

На содержательном уровне обнаруживается мотивированность как связующий элемент между внутренней формой и семантическим содержанием языкового знака. Поэтому мы вполне согласны с Р. Бартом, который утверждает, что знак мотивирован, если между означаемым и означающим существует отношение аналогии [42, с. 136]. Содержательная мотивированность характеризует способность внутренней формы отражать наиболее релевантные признаки языкового содержания слова или выражения, т. е. раскрывает ее структурно-семантические особенности в сопоставлении с лексическим значением. Интенциональная мотивированность синтезированно учитывает как словообразовательную структуру, так и содержательную сторону языкового знака, что предопределяет системное изучение формы и значения. Такая мотивированность определяет степень соответствия внутренней формы лексическому значению, или, говоря терминами теории управления, эффективность и надежность построения внутренней формы. Из этого следует также, что мотивированность (при ее наиболее широком понимании) — это то количество информации, заключенной во внутренней форме, которое нашло отражение в соответствующем значении лексической единицы. Исходя из изложенного, можно предложить следующее определение этого вида мотивированности: содержательная мотивированность — это структурно-семантическая характеристика лексической единицы, эксплицирующая средствами языка рациональную лексико-семантическую связь между значением и внутренней формой данной единицы.

Содержательная мотивированность представляется нам наиболее важным ее видом, ибо одно из условий языкового совершенства — это требование, чтобы мотивированность «была по возможности не внешней и условной, а внутренней и логической, чтобы она вскрывала сущность самого понятия» [43, с. 76]. Е. Вюстер называет данное свойство формы наглядностью понятия или самостоятельной понятностью ее. Разумеется, такое требование особенно существенно для научно-технической терминологии и менее применимо в общепотребительной лексике.

Исходя из нашего дифференцированного подхода к явлению мотивированности, нельзя считать неправомерным утверждение, что производность слова — это всегда мотивированность его другим однокоренным словом [3, с. 57]. На содержательном (но не словообразовательном) уровне обнаруживаются две неточности такого утверждения. Во-первых, производное слово мотивировано не каким-то одним словом-источником, а всей совокупностью своего морфемного состава. Мы не расчленяем производное образование на мотивирующую и мотивируемую части. Хотя между этими частями и существует отношение «определяющее-определяемое»,

они с одинаковым правом принимают участие в процессе мотивации. Поэтому в качестве мотивированной следует рассматривать всю лексическую единицу, а ее части (морфемы) считать мотивирующими по отношению ко всему данному выражению. Во-вторых, установить словообразовательный состав — это значит определить внутреннюю форму (даже затемненную), которая присуща данному слову в течение всего периода его существования. Мотивированность слова, которая в начальный период его возникновения могла выступать в качестве результата акта мотивации (если внутренняя форма не была «ложно ориентирующей»), в дальнейшем может и не сохраниться в связи с эволюционированием лексического значения. Поэтому В. Матезиус с полным правом утверждает, что мотивированные наименования постепенно переходят в разряд немотивированных, поскольку с течением времени обозначаемая действительность может измениться, хотя она все же будет обозначаться первоначальным названием [44, с. 452—453].

В противоположность внутренней форме, содержательная мотивированность далеко не всегда находится в прямой зависимости от количественного состава основ устойчивого словосочетания. Такое явление особенно характерно для терминологических единиц. Приведем пример. Четырехосновный термин *машина с внутренним самовозбуждением*, обладающий «прозрачной» внутренней формой, дефинируется в словаре следующим образом: «Коллекторная машина, в которой основной магнитный поток создается одной из обмоток ротора» [45]. Сопоставляя термин и его словарное толкование, мы видим, что признаки внутренней формы и лексического значения не совпадают, т. е. термин мотивирован не всем своим морфемным составом. В качестве других примеров можно привести лексические единицы *громоотвод*, *самолет*, *чернорабочий*, *громоговоритель*, *атом*, *кибернетика*, *живопись* и т. п., где из-за «отставания» внутренней формы от ушедшего вперед лексического значения ухудшаются показатели содержательной мотивированности.

Таким образом, между внутренней формой, мотивацией и мотивированностью обнаруживаются существенные отличия как в гносеологическом, так и в функциональном плане. Попытаемся их систематизировать:

1) мотивация — процесс, внутренняя форма — средство, мотивированность — результат словообразовательного акта;

2) внутренняя форма — регулярная характеристика любого слова, мотивация свойственна не всем единицам языка (она отсутствует, например, в корневых словах), мотивированность — факультативная характеристика в словообразовании, т. е. при наличии одного и того же акта мотивации она может реализоваться или же терять свою актуальность;

3) мотивированность — следствие взаимоотношений между внутренней формой и значением, в то время как мотивация ориентирована главным образом на внутреннюю форму;

4) мотивированность и мотивация — явления синхронии, внутренняя же форма может предполагать также раскрытие этимологии языковых единиц;

5) степень мотивированности меняется в связи с эволюционированием значения слов, в то время как их внутренняя форма более стабильна;

6) мотивированность придает внутренней форме свойство *э к з о ц е н т р и ч н о с т и*, т. е. обращенности к обозначению, «высвечивания» наиболее ярких сторон денотата;

7) мотивированность и внутренняя форма (как и мотивация) могут отличаться по объему заключенной в них информации.

Исходя из объема информации, можно различить: 1) полную мотивированность внутренней формы (когда форма выражает признак, целиком входящий в значение); 2) частичную мотивированность (когда существует общая для внутренней формы и лексического значения часть языкового содержания единицы); 3) отсутствие мотивированности (ни одна морфема, входящая в состав внутренней формы, не находит соответствия в значении); 4) редко распространенный тип — абсолютную мотивированность (полное совпадение семантических признаков внутренней формы и лексического значения).

Абсолютная мотивированность внутренней формы — весьма редкое явление в языке, что также свидетельствует о его саморегуляционных способностях, поскольку невозможным было бы общение при помощи слов-«монстров», внутренняя форма которых всегда бы совпадала с лексическим значением. Одна из особенностей языка состоит именно в гомоморфном употреблении знаков как реальных, синтезирующих, «впштывающих» целые семантические «сгустки» и конвенционально употребляемых всеми носителями языка. Что же касается полной мотивированности внутренней формы, то тут следует подчеркнуть важность данного явления, поскольку форма, целиком согласованная со значением, больше способствует взаимопониманию, чем форма, включающая «лишние» или нерелевантные для значения характеристики.

Изложение понятия мотивированности было бы неполным, если бы мы не упомянули еще одну ее существенную особенность: содержательная мотивированность по-разному может проявлять себя в зависимости от языкового узуса. В первую очередь это относится к выделению в языке общеупотребительной лексики и научно-технической терминологии. Здесь к языковым единицам предъявляются разные требования относительно их мотивированности, что связано с особенностями функционирования слов в этих слоях лексики. Не менее существенны также отличия содержательной мотивированности в плане микролингвистики, т. е. на уровне индивидуального употребления или восприятия лексических единиц. С полным основанием В. В. Акуленко пишет, что «мотивировка многих терминов и части фразеологизмов по-разному воспринимаются средним носителем языка, образованным человеком и квалифицированным специалистом» [46, с. 55—56].

Вопросы, связанные с этими и другими особенностями проявления мотивированности, весьма важны и еще ждут своего решения. Рассматривая данную проблему, мы не ставили перед собой задачу окончательно решить вопрос соотношения внутренней формы и мотивированности и получить при этом безукоризненные дифиниции затронутых категорий. Нами предпринята попытка терминологически и онтологически разграничить взаимосвязанные понятия и наметить некоторый общий подход к их исследованию. Не исключено, что рассмотренным здесь понятиям мотивации и мотивированности можно дать несколько иную трактовку или терминологически обозначить по-другому. Но бесспорным остается тот факт, что выделенные объекты занимают существенное место в таксономии языка и их исследование лингвистически правомерно. Кроме этого, подобный анализ мотивированности (в первую очередь содержательной) способствует созданию методики ее эксплицитного представления. Это может найти практическое применение, например, при нормализации терминологии, о чем свидетельствуют некоторые полученные результаты [47].

ЛИТЕРАТУРА

1. Гамкрелидзе Т. В. К проблеме «произвольности» языкового знака // ВЯ. 1972. № 6.
2. Бенвенист Э. Природа языкового знака // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
3. Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика / Сост. Степанов Ю. С. М., 1983.
4. Мельников Г. П. Теория знака и особенности языкового знака // Изв. Северо-Кавказского Центра высшей школы. Общественные науки. 1977. № 3.
5. Хазагеров Т. Г. К вопросу о мотивированной и произвольной связи означающего и означаемого // Изв. Северо-Кавказского Центра высшей школы. Общественные науки. 1977. № 3.
6. Степанов Ю. С. Номинация, семиотика, семиология (виды семантических определений в современной лексикологии) // Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977.
7. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений: Семантика производного слова. М., 1981.
8. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977.
9. Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. М., 1979.
10. Лопатин В. В. Рождение слова. М., 1973.
11. Маслова-Лашанская С. С. Из заметок по шведской лексикологии // Уч. зап. Ленингр. ун-та, 1958, № 243. Серия филол. наук. Вып. 2.
12. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. М., 1956.
13. Baldinger K. Zum Einfluß der Sprache auf die Vorstellungen des Menschen. Heidelberg, 1973.
14. Gauger H. M. Durchsichtige Wörter: Zur Theorie der Wortbildung. Heidelberg, 1971.
15. Karlsson F. Phonology, morphology and morphophonemics. Göteborg, 1974.
16. Marchand H. Studies in syntax and word-formation // Selected articles by Hans Marchand. München, 1974.
17. Сафарова К. А. Соотношение мотивировки и значения слова // Уч. зап. Ташкент. гос. пед. ин-та им. И. Низами. Вопросы романо-германской филологии. 1972. Т. 34.
18. Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов. М., 1977.
19. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. М., 1964.
20. Маковский М. М. Лингвистическая комбинаторика. М., 1988.
21. Трубачев О. Н. Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988.
22. Горохов И. С. Лексическая мотивированность // Уч. зап. Орловского пед. ин-та. 1964. Т. 22.
23. Улужанов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977.
24. Coseriu E. Inhaltliche Wortbildungslehre // Perspektiven der Wortbildungsforschung. Bonn, 1977.
25. Dokulil M. Zum wechselseitigen Verhältnis zwischen Wortbildung und Syntax // Travaux linguistiques de Prague. Prague, 1964.
26. Rozwadowski J. Wortbildung und Wortbedeutung (eine Untersuchung ihrer Grundgesetze). Heidelberg, 1904.
27. Кияк Т. Р. О внутренней форме лексических единиц // ВЯ. 1987. № 3.
28. Leška O. Zur Invariantenforschung in der Sprachwissenschaft // Travaux linguistiques de Prague. Prague, 1964.
29. Зиндер Л. Р. Условность и мотивированность языкового знака // Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.
30. Блинова О. И. Термин и его мотивированность // Терминология и культура речи. М., 1981.
31. Ульман С. Семантические универсалии // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970.
32. Тимофеев К. А. Смысловая структура слова и его словообразовательное значение // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Вып. IV. Новосибирск, 1975.
33. Левицкий В. В. Виды мотивированности слова, их взаимодействие и роль в лексико-семантических изменениях // Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака. М., 1969.
34. Лейчик В. М. Люди и слова. М., 1982.
35. Степанова М. Д. О словообразовательных моделях: на материале современного немецкого языка // Как подготовить интересный урок иностранного языка. М., 1963.

36. Мельников Г. П. Типы мотивированности языковых знаков // Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака. Л., 1969.
37. Зильберт Б. А. Мотивированность языковых знаков: опыт типологии // Проблемы мотивированности языкового знака. Калининград, 1976.
38. Капанадзе Л. А. О понятиях «термин» и «терминология» // Развитие лексики современного русского языка. М., 1965.
39. Фуко М. Слово и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.
40. Багдасарян В. Х. Проблема имплицитного: Логико-методологический анализ. Ереван, 1983.
41. Торонцев И. С. Язык и речь. Воронеж, 1985.
42. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
43. Вюстер Е. Международная стандартизация и техника. М., 1935.
44. Матезиус В. Язык и стиль // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
45. Международный электротехнический словарь. Группа 10: Машины и трансформаторы. М., 1958.
46. Ахуленко В. В. Лексические интернационализмы и методы их изучения // ВЯ. 1976. № 6.
47. Кияк Т. Р. К проблеме мотивированности научно-технических терминов // Структурно-семантические особенности отраслевой терминологии. Воронеж, 1982.

МАСЛОВА В. А.

К ПОСТРОЕНИЮ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
КОННОТАЦИИ

Язык является гибким и чутким орудием для выражения человеком самого себя. В. Гумбольдт писал: «Нет ничего внутри человека настолько глубокого, настолько тонкого и всеобъемлющего, что не переходило бы в язык и не было бы через его посредство познаваемым» [1]. В каждом языке существуют слова, обозначающие явления, связанные с сознанием, духовным миром, психикой носителя языка. В значении таких слов, кроме рациональных информативных факторов, важную роль играют коннотативные аспекты. Со времени появления термина «коннотация» прошло почти сто лет, за которые его содержание неоднократно менялось. Нет однозначного понимания явления коннотации и в современной лингвистике. Ее интерпретируют то как «стилистическое сознание» (Ш. Балли), «стилистическое значение» (Т. Г. Винокур, Ю. М. Скробнев), «эмотивное значение» (Л. А. Новиков), «прагматическое значение» (Л. А. Киселева, В. Н. Комиссаров), то как «эмоциональные наслоения» (Д. Н. Шмелев), «потенциальные признаки» (В. Г. Гак), «лексический фон» (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров) и т. д. К сегодняшнему дню известны различные теории коннотации: философская (В. Алстон), семиотическая (Р. Барт), психологическая (А. А. Леонтьев), стилистическая (Э. С. Азнаурова, К. А. Долинин), лингвистическая (Л. Блумфилд, В. Н. Телия, В. И. Goverдовский, В. И. Шаховский и др.). Проблеме коннотации посвящена обширная литература (к 1984 г. только на русском языке было около 200 публикаций), которая ждет специального критического обзора и систематизации. Не вдаваясь в подробный анализ существующих концепций, примем рабочее определение коннотации, которое будет затем уточнено в ходе исследования. **К о н н о т а ц и я** — особый компонент, дополнительный смысл, сопутствующий значению языковой единицы. Именно в коннотации заложены элементы семантической динамики. Слова, отягощенные коннотациями, мы будем называть коннотативными словами, коннотативной лексикой.

Представляется, что для глубокого и всестороннего исследования явления коннотации необходим комплексный подход, требующий приложения объединенных усилий представителей разных наук, не последнее место среди которых должно быть отведено психолингвистике. Ведь реально язык существует лишь в речевой деятельности, а поэтому едва ли правомерно считать объектом изучения только языковую систему, изолированную от деятельности человека. Не случайно американский лингвист В. Ингве называет «жесточкой исторической случайностью» тот факт, что носитель языка вплоть до последнего времени ютился на задворках лингвистической теории. Отсюда необходимость и преимущества психолингвистического подхода, так как а) психолингвистические методики обращены непосредственно к носителю языка; б) они выявляют отноше-

ние носителей языка к коннотативным аспектам языкового знака, а кроме того, специально организуют семантическую рефлексию или семантическую интроспекцию; в) используемые методики способствуют раскрытию имплицитных значений, существующих реально в сознании носителей языка. Эксперимент важен еще и потому, что он позволяет проверить различные, нередко слишком умозрительные, теоретические построения, дает возможность более тонкого и глубокого наблюдения за явлениями, подлежащими изучению.

Некоторые конкретные психолингвистические методики были разработаны А. А. Брудным, А. А. Леонтьевым, А. П. Клименко, В. В. Левицким, О. Н. Селиверстовой, Э. Бендиксом, Ч. Осгудом и другими отечественными и зарубежными исследователями. Как правило, с помощью каждой из этих методик анализируется только один какой-либо аспект значения. Однако данный недостаток преодолим путем комплексных изысканий, т. е. применением различных методик в пределах психолингвистического подхода.

Ц е л ь нашей работы — попытка внести посильный вклад в построение психолингвистической модели коннотации. Полная модель, включающая в себя а) причины возникновения коннотаций, их источники; б) психологические механизмы; в) лингвистические способы воплощения коннотаций; г) структуру коннотаций, их функционирование; д) свойства; е) взаимосвязи и отношения в психике говорящего, — дело отдаленного, хотя и обозримого будущего. Данная цель конкретизируется следующими з а д а ч а м и: 1) исследование восприятия и оценки коннотативных аспектов значения реальными носителями языка; 2) изучение коннотативных слов как феномена психики говорящего индивида; 3) экстериоризация результатов осознания коннотативных аспектов значения носителями языка.

Для решения этих задач применялись самые различные экспериментальные методики, как уже известные, так и модифицированные и разработанные нами. В ходе экспериментов проходили проверку несколько гипотез, относящихся к построению психолингвистической модели коннотации. Так, в ходе ассоциативного эксперимента проверялись следующие г и п о т е з ы: 1) если коннотации не входят в план содержания языкового знака, а возникают лишь в результате отбора и употребления языковых единиц в процессе коммуникации, это находит отражение в ассоциативной структуре коннотативных слов; 2) разнообразие ассоциативных реакций в эксперименте свидетельствует об отсутствии относительно устойчивых коннотаций у слов-стимулов, а обилие тождественных ответов указывает на их наличие; 3) коннотация — это признаковый элемент значения (ср. точку зрения Дж. Милля: «соозначающее имя обозначает вещи п р я м о, а признаки — к о с в е н н о, оно означает предметы и обнимает, включает, указывает признаки, или атрибуты» [2]). Если это так, то данные признаки могут быть выявлены в эксперименте при возникновении большого числа оценочных и других реакций синтагматического типа.

Применяя ассоциативный эксперимент, мы исходили из следующих соображений. Ассоциативный эксперимент по праву считается методикой, которая может быть приложима к большому числу различных исследований, ибо ассоциативные реакции — это как бы сосредоточение сущностей, которыми испытуемые показывают, как они понимают данное слово, что за ним стоит. Известно, что слово, актуализируясь в речи, реализует «помимо своих прямых и переносных значений еще и потенциальную

энергию быть выражением или отображением побочных, ассоциативно связанных с ним образов, чувств, идей» [3]. Эта потенциальная энергия и есть, с нашей точки зрения, та основа, на которой возникает коннотация. Весь комплекс значения слова как бы пронизан ассоциативными лучами, связывающими как аспекты отдельного значения, так и аспекты значений разных слов. Каждое движение человеческой мысли включает в себя ассоциативные связи, и не случайно И. П. Павлов писал, что «ничего в разуме нет, кроме ассоциаций» [4]. Человек владеет словами с закрепленными конвенционально их значениями в первичной номинации, во вторичной же номинации появляются смысловые приращения (коннотации), привносимые ассоциативной деятельностью сознания, связывающей данный знак с различными элементами действительности. К сегодняшнему дню можно считать доказанным тезис об ассоциативной природе семантических компонентов слова [5], т. е. анализ ассоциативной структуры слов-стимулов может стать основой для описания семантики этих слов.

Однотичность ассоциативных реакций в нашем эксперименте позволяет рассматривать ассоциации «как более или менее типичные не только для определенной группы испытуемых, но и для языкового коллектива в целом» [6].

Наш ассоциативный эксперимент был организован следующим образом.

Испытуемые: 110 студентов Витебского пединститута обоего пола в возрасте от 19 до 22 лет.

Экспериментальный материал: *вода, встретить, бумага* (ассоциативные реакции на эти слова не подсчитывались, т. к. предлагались они для «ввода» испытуемых в эксперимент); *жаба, мышь* (взяты для большей объективности сравнения); *осел — глупец, свинья — грязнуля, кляча — лошадь, вожак — вождь, пресловутый — знаменитый, главарь — глава, шпион — разведчик, гордыня — гордость, плестись — идти, тащиться — идти, пилить — ругать, группировка — группа, донос — жалоба*.

При отборе материала принимался во внимание тот факт, что для исследования коннотативных аспектов значения наибольший интерес представляет пласт вторичной номинации, обслуживающей аксиологическую, оценочную сферы. Содержание вторичного знака всегда мотивировано, опосредовано сигнификативным содержанием переосмысляемой единицы [ср.: *осел, свинья* (о человеке)], но эта мотивированность не выражена материальной оболочкой, за исключением суффиксов субъективной оценки [7]. Из обширного пласта вторичной номинации были отобраны в основном существительные, т. к. именно они занимают центральное место в системе языка — составляют ядро лексикона, первичны в развитии речи как в филогенезе, так и в онтогенезе [8]. Из всей коннотативной лексики они (как и прилагательные), фиксируя энциклопедические знания о мире, являются наиболее частотными и употребительными в языке. Глаголы же — «самая емкая и сложная категория языка» (В. В. Виноградов) — могут быть предметом исследования, как нам кажется, только при наличии большого набора сведений о коннотативной системе языка. Коннотативные аспекты в словах, принадлежащих к другим частям речи, за исключением наречий, — явление довольно редкое.

Процедура эксперимента: группе испытуемых предлагалось записать на листе порядковые номера от 1 до 31, соответствующие будущим ответам. Затем экспериментатор вслух, с промежутками в

5 секунд, зачитывал слова, на которые испытуемые отвечали письменно первым пришедшим в голову словом.

Результаты ассоциативного эксперимента и их обоснование. Результаты можно представить в виде следующей таблицы:

№№ п/п	Коннотативное слово	Кол-во вариантов ассоциац.	Всего ответов	Из них атрибутивных реакц.	Слово	Кол-во вариантов ассоциац.	Всего ответов	Из них атрибутивных реакц.
1.	<i>вожак</i>	28	110	12	<i>вождь</i>	26	110	11
2.	<i>главарь</i>	34	110	13	<i>глава</i>	25	110	7
3.	<i>гордыня</i>	42	110	101	<i>гордость</i>	39	110	31
4.	<i>группировка</i>	49	110	64	<i>группа</i>	41	110	43
5.	<i>донос</i>	63	110	81	<i>жалоба</i>	61	110	60
6.	<i>кляча</i>	27	110	73	<i>лошадь</i>	43	110	94
7.	<i>осел</i>	28	110	76	<i>глупец</i>	42	110	34
8.	<i>пилить</i>	56	110	19	<i>ругать</i>	50	110	17
9.	<i>плестись</i>	32	110	44	<i>идти</i>	31	110	35
10.	<i>пресловутый</i>	30	110	41	<i>знаменитый</i>	21	110	20
11.	<i>свинья</i>	28	110	94	<i>грязнуля</i>	40	110	31
12.	<i>тащить</i>	38	110	46	<i>идти</i>	31	110	35
13.	<i>шпион</i>	42	110	70	<i>разведчик</i>	31	110	42
14.	—	—	—	—	<i>жаба</i>	26	110	98
15.	—	—	—	—	<i>мышь</i>	21	110	86

Примечание. Всего по каждому слову получено 110 ответов.

Как известно, ассоциативный эксперимент позволяет выявить характер доминирующей информации у данного языкового знака, позволяет извлечь из «мутной семантической среды индивидуальных представлений» [9] те ассоциации, на основе которых возникают коннотативные приращения. Поскольку для проверки гипотезы № 3 нас интересовали именно атрибутивные реакции, они выделены в таблице в особую графу. Слова, предлагаемые испытуемым в эксперименте, в большинстве своем многозначны либо имеют омонимы в системе русского языка; поэтому ассоциаты могут оказаться членами различных парадигматических рядов. Чтобы этого не произошло, т. е. чтобы часть возможных ассоциаций не погасалась контекстом или ситуацией. Например, при стимуле ПИЛИТЬ задавалась ситуация «ругать», при стимуле ГЛАВА, чтобы нейтрализовать ассоциации типа *книги, повести, большая* и т. п., был задан контекст «глава семьи».

Анализ экспериментальных данных позволяет в рабочем порядке заключить следующее. Объем ассоциативной структуры, т. е. количество вариантов ассоциаций на коннотативные слова-стимулы, превышает количество ассоциаций на соответствующие им неконнотативные: на стимул ГЛАВАРЬ было дано 34 варианта ответов, а на ГЛАВА лишь 25; на ШПИОН — 42, а на РАЗВЕДЧИК — 31 вариант и т. д. (см. приводимую выше табл.). Исключением здесь явились три стимула — ОСЕЛ, СВИНЬЯ, КЛЯЧА. Рассмотрим подробнее их ассоциативные структуры: СВИНЬЯ — *грязная* (38 ответов), *неопрятная* (16), *неаккуратная* (6), *жирная* (5) и т. д. Как показывают экспериментальные данные, слово-стимул СВИНЬЯ воспринималось испытуемыми в первичном значении, следовательно, с нашей точки зрения, не являлось коннотативным.

ОСЕЛ — *глупый* (32 ответа), *упрямый* (21), *тупой* (15) и т. п. Ассоциативная структура стимула ОСЕЛ уменьшилась за счет обилия тождественных ответов атрибутивно-оценочного характера, что свойственно коннотативной лексике. Слово-стимул КЛЯЧА, несмотря на аналогичную картину в ассоциативной структуре, стоит особняком, ибо это слово, являясь первичным наименованием, несет в себе информацию не только о предмете (объекте), но и об устойчивых, социально типичных для носителей языка оценках-отношениях к этому объекту (= плохая лошадь). Количество атрибутивных реакций на КЛЯЧА [*старая* (30 ответов), *дохлая* (10), *худая* (9), *плохая* (4) и т. д.], вероятнее всего, объясняется тем, что у слова *кляча*, по сравнению со словом *лошадь*, уже объем и, соответственно, шире содержание, т. е. в его значении нашло отражение больше признаков денотата, что и отразилось в ассоциативной структуре. По частотности ассоциативных реакций мы можем установить, какой признак идентифицированного слова оказался наиболее актуальным, причем если более 20% испытуемых обнаруживают какую-то реакцию, то ее можно считать релевантной для языковой компетенции данного языкового коллектива.

Велика роль ассоциативных механизмов в формировании и функционировании коннотаций, ибо коннотация формируется на основе постоянных ассоциативных связей у носителей данного языка. Тем самым коннотация не указывает на мир, а как бы отсылает к ассоциации, создавая «невидимый» мир, но сама она не есть ассоциация. Таким образом, представляется уместным использовать данные ассоциативного эксперимента при исследовании явления коннотации. Как известно, всякая методика ценна не сама по себе, а как способ проверки гипотез, сформированных на основе общетеоретических представлений. Ассоциативная методика как раз и позволяет проверить выдвинутые в работе гипотезы, а также заглянуть в глубинную организацию языковой способности человека.

Для большей объективности выводов в эксперименте были представлены слова, которые гипотетически могли бы быть коннотативными, но в русском языке таковыми не являются, — *жаба* и *мышь*. Реакции оценочного характера в ассоциативной структуре этих слов являются преобладающими: на стимул ЖАБА их 65 из 110 (*противная, страшная, скользкая, гадкая, отвратительная, серая, мерзкая, уродливая, бугристая, бородавчатая, грязная* и т. п.), а на стимул МЫШЬ 78 реакций из 110. Следовательно, внешне ассоциативные структуры у коннотативных слов и у слов типа *жаба, мышь* сходны, что объясняется следующим: отдельные слова русского языка имеют экстралингвистические (энциклопедические) пресуппозиции, обусловленные реальными свойствами референта. Коннотации же закрепляются, как правило, за денотатом, т. е. за классом сущностей, а не за референтом. Богатство и разнообразие индивидуального опыта носителя языка является фоном, базой, на которой возникают новые коннотации и более тонко, дифференцированно осознаются уже зафиксированные в языке. Но для возникновения коннотаций необходим также достаточно высокий уровень лингвистической компетенции, языкового чутья, ибо коннотации — не только элемент знания мира, но и элемент знания языка.

Коннотации характеризуют слова по оценочному, эмоциональному и стилистическому параметрам и отображают знания о свойствах. Именно поэтому наличие большого ассоциативного спектра атрибутивного характера образует объективную основу для их возникновения. Атрибутивные ассоциации — механизм, который актуализирует коннотации, делает

их реальными для коммуниканта. Коннотации фокусируют в своей глубинной сущности те ассоциации, которые отражают знания языка говорящим, их прагматическую интенцию, но сами коннотации не есть ассоциации. Это, скорее всего, эпидигматический компонент, имеющий непосредственное отношение к внутренней форме языкового знака. Таким образом, коннотации основываются на мире ассоциаций, вызываемых семантикой слова, его внутренней формой, и обусловлены восприятием, которое может быть исследовано с помощью несложной методики ассоциативного эксперимента.

Коннотации исследовались нами также с помощью психометрической методики признакового шкалирования [10—12]. В основе ее лежит разработанный Ч. Осгудом метод семантического дифференциала [13], который квалифицировался им как модификация ассоциативного метода. Основываясь на тезаурусе Роже, Ч. Осгуд и его ученики выбрали 289 антонимических пар, и в этот экспериментальный континуум помещались исследуемые слова. В связи с техническими трудностями, возникшими при обработке экспериментального материала, количество шкал уменьшили до 76, а затем свели к универсальному¹ трехмерному (декартову) пространству с тремя шкалами: «активный — пассивный», «слабый — сильный», «плохой — хороший».

Г и п о т е з а. Для доказательства языковой реальности коннотаций необходимо показать, что коннотативные слова по-иному воспринимаются носителями языка, чем слова неконнотативные, а следовательно, показатели на шкалах у них должны быть разными: у коннотативных слов — ближе к полюсам (+3 или —3), а у слов неконнотативных ближе к «нулю». Для проверки данной гипотезы к трехмерному универсальному пространству Ч. Осгуда было подключено еще девять шкал, названия которых составлены из лексикографических помет, объединенных в антонимические пары, ибо именно пометы являются наиболее четким и экономичным способом фиксации эмоционально-экспрессивных и стилистических коннотаций, хотя номенклатура существующих в современной лексикографии помет далека от совершенства [14]. Были составлены следующие шкалы: 1) бранное — нейтральное; 2) возвышенное — разговорное; 3) вульгарное — поэтическое; 4) ироническое — торжественное; 5) неодобрительное — одобрительное; 6) официальное — фамильярное; 7) пренебрежительное — уважительное; 8) просторечное — публицистическое; 9) серьезное — шутливое. Испытуемые должны были по 12 семибалльным шкалам указать точки, которые соответствовали бы оценкам следующих слов (уже доказано, что проходя через сознание человека, его опыт, все слова неизбежно оцениваются человеком): *базар* (о всяком шумном месте), *долговязый* (о человеке), *замызанный* (о волосах), *трюк* (о ловкой проделке) и т. п. Для большей объективности выводов испытуемым предлагались не только коннотативные, но и соответствующие им неконнотативные слова: *высокий* (соотносительное с *долговязый*), *делать* (соотносительное с *творить*) и др. Все ответы испытуемых (50 на каждое слово) суммировались и усреднялись.

Результаты можно представить в виде следующей таблицы:

¹ Ч. Осгуд и другие исследователи показали универсальность этих шкал не только для представителей различных языковых культур, но и для испытуемых с разным уровнем умственного развития, для детей разного возраста, для испытуемых с психопатологией.

Шкалы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Слова												
<i>базар</i>	-2,2	-1,6	-1,1	-1,8	-1	-1,5	-1,8	-1,9	-1,3	+1,1	-1,5	+1,5
<i>глядут</i>	+1,8	+2,6	+2,6	+2,2	+2,7	+1,8	+1,8	+1,5	+1,6	-0,8	+1,4	+1,3
<i>наступают</i>	+0,4	-0,8	+0,6	+0,01	+0,06	+0,4	+0,6	+0,06	+0,1	+2,2	+0,4	+0,6
<i>долговязы</i>	-1	-2,2	-1,7	-1,5	-2,8	-1,6	-1,8	-1,8	-0,8	0,4	-1,4	-1,2
<i>заблагорассудиться</i>	+1,3	+1	+1	+1	+2,6	-1,7	-0,9	+1,9	+1	-0,5	+1,7	+0,9
<i>захочется</i>	-0,6	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4	-0,8	+0,8	+1,5	-0,3	-0,3
<i>зализанный</i>	+1	-2,1	-1,5	-1,6	-2,8	-1,5	-2	+1,6	+1,2	-0,3	-1,6	-0,9
<i>махровый</i>	+0,9	+0,9	+0,04	-0,3	-2,7	+0,3	-0,4	-0,08	+0,8	+0,9	+0,24	+0,8
<i>мнить</i>	+0,5	+0,7	+0,8	-0,7	+2,8	-0,6	-0,7	-0,8	+0,7	-0,6	-0,4	-0,3
<i>нытье</i>	-0,8	-2,2	-1,7	-1,9	-1,8	-1,9	-2,4	-2,1	-0,8	-0,6	-2,2	-0,7
<i>обгадетельствовать</i>	+1,3	+2,3	+1,7	+1,3	+1	+0,5	+0,6	+1,2	+1,1	-0,2	+0,8	+0,8
<i>обождать</i>	+0,4	-0,4	-0,02	-0,5	+0,02	-0,7	-0,7	-0,8	-0,2	+0,5	+0,4	+0,6
<i>оголтелый</i>	-0,5	-1,8	-1,4	-0,9	-0,4	-1,6	-1,9	-0,8	-0,3	+0,5	-1,5	+0,2
<i>пресловутый</i>	+0,7	+1,8	+1,1	+1,2	+1,6	+1	+0,6	+1,1	-0,8	+1	+0,9	+1
<i>известный</i>	-0,2	-0,7	+0,2	-0,3	+0,2	+0,4	-0,06	-0,06	+0,2	+2,3	+0,01	+0,25
<i>процветать</i>	+1,8	+1,5	+1,7	+0,9	-0,9	+1	+1	+1	-0,8	+1,6	+1,5	+1,4
<i>рафинированный</i>	+0,9	+0,2	+0,3	-0,9	-0,2	+0,7	+0,4	+0,6	+0,8	-0,04	+0,32	-0,24
<i>талмуд</i>	-0,8	-1,5	-0,8	+1,6	+2,4	-0,8	-1	-1,2	-1,1	-0,8	-0,8	+0,6
<i>легкое чтение</i>	+0,01	-0,6	0	-0,1	+0,2	-0,6	-0,3	-0,4	+0,6	0	-0,5	+0,2
<i>творить</i>	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+0,9	+1,2	+1,7	+1	+1,7	+1,8	+1,8
<i>делать</i>	0	+0,4	0	-0,1	+0,2	+0,2	+0,3	+0,1	+1,2	+2,3	+0,3	+0,2
<i>трюк</i>	+1,3	+2	+0,7	+0,3	+2,3	+0,5	-2,3	+1,1	+0,8	+1,2	+1,6	+1,3
<i>уколобы</i>	-2,2	-1,7	-1	-1,1	-2,6	-1,2	-1,1	-1,2	-2,4	+0,2	-1,2	-1,2
<i>цыганщина</i>	-1,1	-1,9	-1,7	-1,2	-2,4	-1,2	-1,5	-1,6	+0,9	+0,2	-1,2	+1,4

Номера первых девяти шкал в таблице соответствуют приведенному выше перечню, шкала № 10 — «активный — пассивный», № 11 — «плохой — хороший», № 12 — «слабый — сильный».

Известно, что существует множество процедур для обработки многомерных массивов данных: кластерный анализ, различные варианты факторного анализа и т. д. Как справедливо утверждает Б. М. Величковский, главная проблема здесь «состоит не в отсутствии средств формальной обработки, а в их избыточности и трудностях последующей интерпретации результатов» [15]. Наша обработка данных — один из возможных ее способов. Рассмотрим на примере слов *наступают* — *грядут* результаты эксперимента. По шкале «бранное — нейтральное» эти слова имеют следующие показатели: $-0,4$ (*наступают*) и $+1,8$ (*грядут*); по шкале «возвышенное — разговорное» — $-0,8$ (*наступают*) и $+2,6$ (*грядут*); по шкале «вульгарное — поэтическое» — $+0,6$ (*наступают*) и $+2,6$ (*грядут*); по шкале «ироническое — торжественное» — $+0,01$ (*наступают*) и $+2,2$ (*грядут*); по шкале «неодобрительное — одобрительное» — $+0,06$ (*наступают*) и $+2,7$ (*грядут*); по шкале «официальное — фамильярное» — $+0,4$ (*наступают*) и $+1,8$ (*грядут*); по шкале «пренебрежительное — уважительное» — $+0,6$ (*наступают*) и $+1,8$ (*грядут*); по шкале «просторечное — публицистическое» — $-0,06$ (*наступают*) и $+1,5$ (*грядут*); по шкале «серьезное — шутливое» — $+0,1$ (*наступают*) и $+1,6$ (*грядут*); по шкале «активный — пассивный» — $+2,2$ (*наступают*) и $-0,8$ (*грядут*); по шкале «плохой — хороший» — $+0,4$ (*наступают*) и $+1,4$ (*грядут*); по шкале «слабый — сильный» — $+0,56$ (*наступают*) и $+1,3$ (*грядут*). Анализ данных, содержащихся в таблице, позволяет заключить:

1) Коннотация — это языковая реальность, она осознается всеми носителями языка, а коннотативная лексика квалифицируется ими как отличная от соответствующей неконнотативной: у обычных слов типа *наступают*, *захочется*, *делать* и др. показатели по всем шкалам близки к «нулю», а соответствующие им коннотативные слова оцениваются испытуемыми от ± 1 до ± 3 . Исключение составляют лишь показатели по универсальной шкале Ч. Осгуда «активный — пассивный», которые «не работают» на нашу гипотезу. Возможно, что данная шкала не может быть предназначена для оценки коннотативной лексики. Не поддаются однозначной интерпретации ответы испытуемых на слова *махровый*, *рафинированный*, оценки которых по ряду шкал также близки к «нулю».

2) Методика Ч. Осгуда позволяет констатировать: наиболее существенными психологическими компонентами значения являются компоненты общей эмоционально-оценочной реакции субъекта на значащий стимул [16]. Следовательно, данная методика рассчитана не на анализ различения значений, а на дифференциацию реакций носителей языка на эти значения. Отсюда ограниченность данного метода, неспособность его объяснить психологическую природу некоторых аспектов значения. Учитывая этот и другие недостатки (например, необратимость шкал, невозможность определить слово по данным эксперимента), мы использовали методику Ч. Осгуда во взаимодействии с другими методами анализа семантики как дополнительную характеристику коннотаций.

К одной из эффективных методик исследования коннотативного аспекта значения можно причислить методику Э. Бендикса. Испытуемые: 50 студентов Витебского пединститута (обоих полов) в возрасте от 18 до 22 лет. Экспериментальный материал: 80 словарных единиц, 40 из которых было с коннотативными значениями, а 40, им соответствующи-

щих, — неконнотативные. Были построены экспериментальные конструкции, в которых исследуемое слово (коннотативное) противопоставлялось другому в пределах одной и той же фразы: *Он не разведчик, а шпион, потому что... Это не лошадь, а кляча, потому что...* Испытуемым предлагалось дополнить текстовую конструкцию, эксплицировав признак, по которому, с их точки зрения, противопоставляются слова. Например, *Это не группа, а группировка, потому что* а) *связана с негативными интересами* (10 ответов); б) *занимаются чем-то нехорошим* (9 ответов); в) *их мало, они не правы* (7 ответов); г) *они не образуют коллектива, это лишь сборище* (3 ответа) и т. д. Обобщив ответы информантов, мы получили признаки коннотативного слова, отличающие его, по мнению испытуемых, от обычного слова. Так выглядит таблица, составленная с учетом трех доминирующих вариантов ответов на коннотативные слова (см. с. 117).

Приступая к эксперименту, мы рассчитывали, что с его помощью удастся выявить подлинную психологическую реальность восприятия коннотативных слов русского языка его конкретными носителями. При этом предполагалось, что результаты эксперимента вовсе не обязательно должны совпадать с данными существующих толковых словарей. Анализ восприятия коннотативных слов испытуемыми и сопоставление дефиниций этих же слов в словарях позволили предположить следующее.

1) Коннотативные слова русского языка его носители воспринимают по-иному, чем это нашло отражение в толковых словарях. Так, *заблагорассудиться* — это «показаться правильным, нужным, желанным» [17]; помет данное слово, как свидетельствует словарь, не имеет. Испытуемые же выделили следующие дифференциальные признаки: «упрямство и самонадеянность, граничащие с самодурством»; «действовать по прихоти»; «обдумать заранее». Вероятно, в реальном функционировании языка данное слово приобретает негативную коннотацию. Следовательно, коннотация хотя и осознается носителями языка, но является имплицитной, а потому не находит отражения в существующих словарях. Эта мысль имеет принципиальный характер, т. к. без понятия «имплицитность» строить теорию коннотации бессмысленно. В противном случае коннотация — это просто оттенок значения (подобная теория не включит в себя индивидуальные динамические коннотации, которые возникают в конкретном общении и являются имплицитными). Доказательством имплицитности коннотации является тот факт, что они довольно редко участвуют в тождествах и различиях, лишь «при определенных условиях актуализации выполняют дистинктивные функции» [18]. Именно такие условия были созданы в нашем эксперименте. Итак, опрос испытуемых по методике Э. Бендикса позволяет выявить имплицитность, потенциальность, дополнительность коннотативного аспекта значения.

2) Следует отметить, что данные, полученные в результате различных методик, удачно дополняют друг друга, что делает выводы более убедительными. Например, на стимул *ВОЖАК* в ассоциативном эксперименте были получены ответы: *дикой стаи, племени; плохой* и т. п., что коррелирует с ответами по Э. Бендиксу: «В нем есть что-то дикое» и т. д. Подобное явление можно отметить при исследовании стимулов *ГРУППИРОВКА, КЛЯЧА, ОСЕЛ, ПИЛИТЬ, ПЛЕСТИСЬ, ПРЕСЛОВУТЫЙ, ТАЩИТЬСЯ, СВИНЬЯ, ШПИОН* и др., что дает основание судить о надежности полученных результатов.

Эффективным для исследования коннотации представляется и метод лингвистического интервьюирования (непосредственное обращение с вопросами к испытуемым). Исследование проводилось нами в две серии.

Базар (а не собрание)*Вожак* (а не вождь)*Главарь* (а не глава)*Гордыня* (а не гордость)*Группировка* (а не группа)*Грядут* перемены (а не наступают)*Долговязый* (а не высоки)*Донос* (а не заявление, жалоба)*Заблагорассудится* (а не захочется)*Зализанные* (а не причесанные волосы)*Кляча* (а не лошадь)*Мнить* (а не думать, считать)*Облагодетельствовать* (а не помочь)*Оготели* (а не несдержанны)*Обожатель* (а не влюбленный)*Осел* (а не глупец)*Пилить* (а не ругать)*Питье* (а не вода)*Плестись* (а не идти)*Пресловутый* (а не известный)*Процветать* (а не жить)*Рафинированный* (а не уточненный)*Свинья* (а не грязнуля)*Талмуд* (а не трудное чтение)*Тащиться* (а не идти)*Творить* (а не делать)*Трюк* (а не ловкая проделка)*Узкокобий* (а не глупый)*Шпион* (а не разведчик)

шум и крик; масса народа с разными интересами; отсутствие порядка

ведет вперед стихийно, инстинктивно; руководит чем-то плохим; в нем есть что-то дикое состоит во главе банды, шайки; держит власть силой, грубостью, страхом; цели, которые он преследует, антигуманны

тухая, упрямая, излишняя гордость; бессмысленная, ни с чем не считающаяся гордость; проявляется в мелочах, основана на самолюбии

связана с негативными интересами; их мало, они несправы; приносит вред **важные; неизбежные; хорошие перемены****высокий и худой; нескладный; непропорциональный**

сделано исподтишка с целью повредить кому-либо; клевета; выдача чужой тайны для своего блага упрямство и самонадеянность, граничащие с самодурством; действовать, принимая во внимание прихоть; обдумать заранее

грязные; гладкие и блестящие; мокрые

очень худая; старая; слабая, не может быстро бежать высокомерие; не прислушивается к мнению другого человека; мыслит не широко, мелочно

помочь чему-то хорошему, доброму; помочь в безвыходной ситуации; оказать нужную услугу фанатик; поступает во вред другим; совершает преступление

боготворить предмет любви; создавать себе кумира, идеал; назойливый

глупый, упрямый человек; не имеет «ни ума, ни фантазии»; все поничает с трудом

слишком нудно ругать; долго ругать; ругать постоянно визгливым голосом

годно для употребления; хорошо утоляет жажду; приятно на вкус

идти медленно, еле передвигая ноги; заплетается нога за ногу; очень устал

известный чем-то нехорошим; излишне известен; отсутствие уважения

преуспевать во всем; помогает везение; богатеет материально и духовно

особенный; воспитанный; слишком аристократичный

всегда грязный; даже не пытается быть чистым; даже руки не моет

скучное до тошноты чтение; утомляющее чтение; сплошная неразбериха

медленно двигаться, еле передвигая ноги; двигаться по инерции, таща ноги; усталость или беда мешают идти быстро

делать что-то хорошее; мастер своего дела производит; работать с любовью и душой

выполненный мастерски; связанный с риском; мощеннический поступок

глупый; тугодум; внешне непривлекательный приносит вред напей стране; самыми низкими путями

добывает информацию; работает на хозяина, а не служит народу

В первой испытываемым предлагалось ответить письменно на вопросы: «Вы назвали бы человека бараном (боровом, бревном, вороной и т. п.), если бы...». Во второй серии на основе выделенных здесь диспозициональных признаков были составлены вопросы: «Названием какого животного (предмета) Вы бы воспользовались для обозначения человека, который а) упрямо-глуп, б) хитер, в) жесток и т. д.» И с п ы т у е м ы е: 50 студентов пединститута (обоих полов) в возрасте от 17 до 20 лет. Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й м а т е р и а л: три группы единиц вторичной номинации, которые могут быть употреблены для характеристики человека: 1) названия животных: *баран, боров, ворона, жеребец, ишак, лиса, медведь, осел, слизняк, тигр* и др.; 2) названия предметов: *барахло, бревно, валенок, дуб, тряпка, тюфяк, шляпа, ягодка* и др.; 3) языковые знаки с доминирующей оценочностью, экспрессивностью, которая, употребляясь для характеристики человека, подавляет предметно-логическое значение: *артист, архаровец, атаман, безголовый, вздыматель, вояка, главарь, звонарь, нытик, царек, проходимец, рыдалец* и др.

Полученные ответы обобщались по содержанию и подвергались частотному ранжированию. Ср.: *аристократ: высокомерный* (10 ответов), *с изысканными манерами* (8), *привыкший к комфорту* (8), *с претензией на благородство* (3) и под. Его словарное значение: «Тот, кто принадлежит к высшему сословию, привилегированному слою господствующего класса» [15, с. 44]. В сознании носителей языка это и другие слова типа *артист, атаман, звонарь, звезда* окружены проническим ореолом, который не фиксируется современными словарями, что еще раз доказывает имплицитность коннотативных аспектов значения.

По результатам I и II серий эксперимента можно выделить диспозициональные признаки, которые приписываются испытываемым данным языковым единицам: **ВОРОНА** — *рассеянный, забывчивый человек* (11 ответов); *невнимательный* (9 ответов); *болтливый* (9), *любопытный* (6) и т. д. **ЖЕРЕБЕЦ** — *физически здоровый* (9); *подвижный* (7); *громко смеется* (6); *безнравственный* (6); *жизнерадостный* (2) и т. п. **ЯЗВА** — *надоедливый* (10), *назойливый* (9); *вредный* (9); *злой* (4); *взедливый* (3); *раздражающий* (3); *язвительный* (3) и др. Следовательно, метод лингвистического интервьюирования позволяет вскрыть такие особенности значения, для исследования которых традиционные методы лингвистического анализа (например, компонентного) оказываются недостаточными.

В ы в о д ы.

1) То или иное употребление слова в конкретном коннотационном значении вызвано сложнейшим спектром ассоциаций, идущих от исходного слова в первичном значении и накладывающихся на знак вторичной номинации. Например, *слизняк* (о человеке): здесь природные свойства моллюска (отсутствие позвоночника и определенной формы) ассоциируются с «безволием», «беспомощностью», «нерешительностью», «бесхарактерностью», а такие свойства, как покров слизи на нем, вызывают ассоциации «скользкий», «слонтяй», «никчемный» и др. Довольно сложные ассоциации возникают и при употреблении слов *барахло, ягодка, тюфяк* (о людях). Вероятно, механизм возникновения коннотаций таков: из тезауруса извлекается слово с яркой внутренней формой, способной породить тождественные ассоциации у носителей языка, затем во вторичной номинации его образный потенциал увеличивается за счет наложения еще одного ассоциативного образа. Например, *бревно* (о человеке) — это не просто «глупо-бесчувственный», а в этом своем качестве «подобный бревну». Среди составляющих этого механизма переплетены и собственно лингвисти-

ческие факторы (внутренняя форма), и экстралингвистические, и психофизиологические особенности носителя конкретного языка. Видимо, не только потребности в общении, но эмотивные причины стимулируют появление коннотаций в языке.

2) Коннотации, возникающие на ассоциативной основе, могут вступать в синонимические отношения. Например, *осел, дуб, пень, бревно, валенок* (о человеке) имплицитно подразумевают глупость, но мотивировки, как свидетельствуют экспериментальные данные, у них разные: *дуб, пень* — глупость, мотивированная тупостью, неспособностью размышлять и понимать доводы собеседника; *бревно* — бесчувственностью; *осел* — упрямством; *валенок* — тупостью, общей необразованностью, невоспитанностью. Такие коннотации специфичны для каждого языка и обусловлены особенностями ассоциаций национального мышления, национальной «установкой», которая формируется в сознании в зависимости от перцепции (восприятия) и апперцепции.

О б щ и е в ы в о д ы.

1) Коннотативная лексика — это целый пласт номинативного инвентаря языка, сравнительно недавно открытый [18, 19] и еще недостаточно изученный. Область коннотативных значений концептуальна, психична, специфична для каждого языка и даже отдельных его носителей, а потому привлечение испытуемых для исследования коннотаций не просто правомерно, но и необходимо.

2) Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о принципиальной возможности построения вероятностной коннотативной модели на базе психолингвистического эксперимента. Эта модель должна быть соотнесена с областью так называемой «семантики восприятия», т. к. коннотация — связующее звено между языковым знаком и структурой языкового сознания говорящего и слушающего. Правда, языковое сознание не исчерпывается ассоциативными рядами, ибо включает в себя также устойчивую систему социально типичных значений, систему образов и обобщенных представлений, свойственных носителям данного языка, связи и отношения объективного мира, отраженные в языковых категориях, и т. д. Тем не менее ассоциации — это один из основных механизмов восприятия и понимания языка. Именно поэтому исследование коннотаций поможет подойти к выяснению механизмов производства и восприятия слова в тексте.

3) Коннотации, присущие знакам косвенной номинации, есть с к р ы т ы й, и м п л и ц и т н ы й компонент значения, однако он осознается носителями языка. Коннотации не существуют отдельно от значения и вводятся одновременно с ним в речевую последовательность. Коннотации как бы соединяют сведения о мире и сведения об отношении субъекта речи к обозначаемому, что является поводом для эмотивного восприятия обозначаемого. Более того, коннотации связывают объективное и субъективное в семантике. Именно коннотативные признаки лежат в основе переосмысления слов, но они не исчезают и потом, сопровождая переосмысленное слово, «работая» на него, создавая другие языковые явления. Как справедливо утверждает В. Н. Телия, «специфика связанного значения создается в конечном счете встречей регулярных смыслов и сугубо индивидуальных коннотаций слов» [19].

4) Коннотации — это ассоциируемый со словом признак, основанный на внутренней форме, принадлежащий «картине мира» и присущий носителям данного языка, данной культуры. Слова, отягощенные коннотациями, несут не только предметно-понятийное содержание, но и закрепляют

отношение носителя языка к объекту речи, что и создает в языке определенную экзотику. Следовательно, коннотации не есть просто суждение о мире, а суждение об отношении к миру.

5) Проведенное исследование подтвердило отчасти уже известный факт, что коннотации — это как бы промежуточное звено между употреблением и значением языковой единицы, т. к. экспериментально доказаны различные уровни осознания коннотативного значения носителями языка.

6) Психолингвистический анализ коннотаций не противостоит другим методам исследования данного явления, а в ряде случаев эффективно дополняет их, способствуя построению общей теории коннотации, которая должна вытекать из анализа речевого акта, учитывающего и пресуппозиции, и внеречевые аспекты коммуникации: ситуацию, личностные свойства коммуникантов, место, где происходит коммуникация, и другие условия, гарантирующие эффективность речевого акта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гумбольдт В. Избр. тр. по языкознанию. М., 1984. С. 57.
2. Милль Дж. Ст. Система логики силлогической и индуктивной. 2-е изд. Кн. I. М., 1914. С. 27.
3. Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 62—63.
4. Павлов И. П. Физиология высшей нервной деятельности. // Павлов И. П. Избр. тр. М., 1950. С. 458.
5. Deese J. On the structure of associative meaning // Psychological review. 1962. V. 69.
6. Леонтьев А. А. Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах // Словарь ассоциативных норм русского языка. М., 1977. С. 7.
7. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики языковых существей и ее роль в формировании смысла предложения // Всесоюзная научная конференция «Коммуникативные единицы языка»: Тез. докл. М., 1984. С. 121.
8. Залевская А. А. О комплексном подходе к исследованию закономерностей функционирования языкового механизма человека // Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981. С. 37—38.
9. Арутюнова Н. Д. Языковая метафора // Лингвистика и поэтика. М., 1979. С. 149.
10. Keller E. Introduction aux systèmes psycholinguistiques. Quebec, 1955. P. 259.
11. Журавлев А. П. Аспекты значения слова и их восприятие // Восприятие языкового значения. Калининград, 1980.
12. Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в бытовом сознании. М., 1983.
13. Osgood Ch., Suci Y. I., Tannenbaum P. H. The Measurement of meaning. N. Y., 1957.
14. Мартинек В. Ю., Розенберг Е. Г. Эмоционально-экспрессивные значения и их лексикографическая интерпретация // Семантика слова и предложения. Днепропетровск, 1983.
15. Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. М., 1982. С. 185.
16. Шмелев А. Г. Введение в экспериментальную психосемантику. М., 1983.
17. Словарь русского языка. Т. I. М., 1981. С. 494.
18. Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977. С. 175.
19. Телия В. Н. Типы языковых значений. М., 1981. С. 260.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ФЛОРЕНСКИЙ П. А.

ТЕРМИН *

1. Всем предыдущим утверждена мысль о двойственной природе языка. Язык антиномичен. Ему присущи два взаимоисключающие уклона, два противоположные стремления. Однако, эти две живущие в нем души — не просто две, а пара пребывающая в сопряжении, сизигия**, они, своим противоречием, язык осуществляют; вне их — нет и языка. Мы убедились в этом, проследив попытки диссоциировать полярно-сопряженную антиномию языка и, диссоциировав, представить в чистоте либо тезис, либо антитезис: ни тот, ни другой, поскольку они в самом деле освобождаются взаимно, не дают языка. И тот и другой, порознь, получив развод, обеспложиваются и перестают рождать мысль. Диссоциируя, язык гибнет, если только не происходит, тайком, хотя бы частичного воссоединения разложенных стихий его. Творческое, индивидуальное, своеобразное в языке, личный отклик всем существом, вот сейчас, мой, на это, определенное явление мира, — язык, как творимый в самой деятельности речи, и только как таковой, ведет, чрез чистую эмоциональность, к заумности, и от заумности к нечленораздельности, и теряется в стихийных шумах, стуках, свистах, рокотах и вое; непосредственность языка неминуемо превращается в бессмысленность и бессмысленность. Напротив, монументальное, общее в языке, как только общественным, только общим, как всецело ради всех существующим, — язык, как данный мне обществом и мне предоставленный лишь на пользование, но отнюдь не мой, и — только как таковой, ведет, чрез рассудочность, к условности, а от условности к произволу языкодателя и тут опустошается в ограниченности отъединенного разума. Оба пути, каждый по-своему, уничтожают язык и следовательно, рассмотренными опытами над языком устанавливается неразрывность языковой антиномии: в природе языка есть противоречивость, но противоречивость эта существенна, и ею живет и существует язык. Два устоя языка взаимно поддерживают друг друга, и устранением одной из противоположных сил опрокидывается и другая. Язык не только и м е т в себе эти борющиеся стремления, но и возможен

* Статья П. А. Флоренского «Термин» печатается по тексту «Dissertationes Slavicae. Slavistische Mitteilungen. Sectio Historiale Litterarum». XVIII (Szeged, 1986).

Рукопись публикуется по авторскому машинописному оригиналу 1922 года с учетом подготовительных материалов из архива семьи Флоренских. К тексту Флоренский сделал примечания и ссылки на литературу (как правило, неполные). По этим отрывочным указаниям были уточнены выходные данные изданий, которыми пользовался Флоренский, приведены необходимые цитаты из этих книг или из их позднейших переизданий. Рукопись подготовлена к печати С. М. Половинкиным, А. С. Трубачевым и С. З. Трубачевым. Примечания В. В. Бибихина и С. М. Половинкина.

** Сизигия / греч. σιζυγία / — соединение, сопряжение, сочетание, супружество, а также общее название полнолуний и новолуний, т. е. моментов, когда солнце, земля и луна расположены на одной прямой.

лишь их борьбою, осуществляясь как подвижное равновесие начал движения и неподвижности, деятельности и вещности, импрессионизма и монументальности.

II. Но, в таком случае, крепость языка есть — не монизм его, не стерилизованная чистота того или другого, стихийного или логического его начала, не однобокое вытягивание в одну сторону, а напротив, напряженность его антиномии, как целого: мощная взаимно-подпора обоих устоев. Не ослаблять один из полюсов антиномии языка требуется, а напротив — равномерно усиливать обе; — вот чем язык крепнет. Углубление, сгущение, уплотнение языка достигается чрез повышение его *tugor vitalis*, — когда самособирается, организуется и выкристаллизуется его противоречивость. Культура языка двуединым усилием подвигает его по двуединому пути зараз, и только так может продвинуть к новым достижениям, не разрушая при этом самого существа его. Работа над языком имеет задачу свою: железную антиномию его закалить в сталь, т. е. сделать двойственность языка еще бесспорней, еще прочней. Этой сталью должна быть и наука и философия, — или вовсе не быть. Да, если наука и философия, будучи языком, и только языком, и взаимно исключая друг друга своими устремлениями, будучи выразительницами противоустраемляющихся сил языка, если они все же суть и не разлагаются, не рассеиваются и не исчезают, то это значит одно: они суть по-скольку есть самый язык; наука и философия — две руки одного организма языка. Своеобразие их уклонов есть лишь окраска их основного ядра, общего в них, это же последнее — самый язык, но закаленный и уплотненный, — слово созревшее.

Это зрелое слово относится к слову житейскому как яблоко садовое — к маленькому яблочку лесному, — по меньшей мере так; далее мы увидим, что то и другое слово разделяется расстоянием гораздо большим, характером их функций. Но мы постараемся постепенно подойти к выяснению строения и функции этого культивированного слова, вникая, что собственно требуется от него. Требуется же от него, по сказанному, наибольшая напряженность словесной антиномичности. Искомому слову должно быть крепчайшим упором мысли, как сокровищнице исторической всего человечества, как народному и даже все-народному условию духовной жизни; оно должно выситься пред каждым индивидуальным сознанием безусловною данностью, непоколебимым маяком на пути постижения жизни; оно — говоря предельно, — есть некое окончательное слово, которое настолько попало в самую точку, в самую суть познаваемой реальности, настолько в нем выразилась природа человечности, — что никто и никогда не посмеет и не сумеет посягнуть на это слово, не обкрадывая духовно себя самого. Да, это искомое слово есть какой-то максимум словесности в известную сторону, далее которого искать нечего, — предельная достигнутость. В этом слове человеческая словесность нашла чистейшую, выработаннейшую свою линию, которую выразило то, что требовалось выразить, и потому всякая иная линия в том же направлении — хуже, дряблее, менее точна. Итак, рассматриваемое слово предстоит нашему духу законченным произведением человечества, и таким словом надлежит лишь пользоваться, как окончательно готовым.

Но, с другой стороны, это же самое слово должно предельно выражать и другой полюс речи: оно мыслится нами, как наиболее индивидуальное, наиболее отвечающее личному вопросу каждого, им пользующегося,

и притом в каждый данный момент, по каждому особому поводу, при каждом частном намерении. Это — такое слово, что никто и никогда не отходит от него «тощ и неуслышан», никто не почувствует, что своеобразие его именно внутренней жизни, его именно мысли, чувства и желания, остается неудовлетворенным этим словом, невысказанным, невыразимым, искажаемым. Оно пластично до предела, оно поддается тончайшим веяниям духа, отпечатлевая их и запечатлеваясь ими. В нем словно предобразованы все могущие возникнуть оттенки и направления духовных движений, так что каждое явление духа, самое новое, самое по-видимому, неожиданное, самое своеобразно-индивидуальное, даже до капризности, находит себя в таком слове, находит себе уготованное вместилище, готовое жилище своего обитания, — как бы одежду, сшитую вполне по мерке именно ее, этой индивидуальной устремленности духа. Короче говоря, рассматриваемое слово мыслится, как не имеющее в себе ничего готового, ничего заранее намеченного: пластической массой, ждущей велений духа и податливую на первое оформление, равно как и на первое же снятие прежде приданной формы, а точнее — как бы газообразною средою духо-явлений, вовсе не имеющей собственной формы и годною в любой момент на все, — должно служить нами рассматриваемое слово.

III. Тем и другим должно быть это слово зараз: столь же гибким, как и твердым, столь же индивидуальным, как и универсальным, столь же мгновенно-возникающим, как и навеки определенным исторически столь же моим произволом, как и грозно стоящею надо мною принудительностью. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет», — говорил Израилю Моисей, напоминая о чудесных годах сорокалетнего странствования / Второз. 8,4 /. Но это чудесное сохранение одежды и обуви еще не объясняет, как было возможно странствование в пустыне, когда за сорок лет дети выросли в зрелых людей, и одежда и обувь, хотя и ветшающие, становились не впроу. Поэтому в галахических легендах дается на поставленный вопрос дополнительное разъяснение, а именно, что одежда и обувь Израиля не только не ветшали, но и чудесным образом всегда приспособлялись к выраставшим их собственникам. — Вот, таким-то и неизменным и все-приспособительным, должно быть то зрелое слово, на котором развиваются наука и философия и которым живы обе они. Чтобы быть таковым, оно должно быть неизмеримо, так сказать, питательнее обыкновенного слова, неизмеримо сочнее, неизмеримо сгущеннее, и вместе с тем быть устойчивым, твердым, и даже неизмеримо устойчивее и тверже обычного слова. При полной внутренней определенности своей, это искомое нами слово дает простор нашему духу еще и еще возвращаться к слову, не наскучивая им, не исчерпав его, не ощущая направляющего его воздействия как чего-то насильственно-принудительного, стесняющего духовное творчество. Возвращаясь к этому слову, мы каждый раз находим в нем новое себе питание, источник новых сил и новых обогащений. «Творения великих мастеров не для того сделаны, — говорит В а к к е р о д е р, — чтобы их видел глаз; но чтобы мы, в оные вникнув усердною душою, ими жили и дышали. Драгоценная картина не то же, что параграф из учебной книги, который я, извлеки зерно смысла с небольшим трудом, бросаю, как скорлупу ненужную; напротив, наслаждение изящными произведениями художества длится бесконечно; мы думаем все глубже в них проникнуть, — они же все вновь возбуждают наши чувства, и нет такого дна, где душа их совершенно бы исчерпала. В них горит как будто неугасимый елей жизни»¹. То, что

Ваккеродер отмечает в великих произведениях изобразительных искусств, как свойство таких произведений, есть свойство великого слова, и картина или статуя разделяют его в качестве тоже слов нашего духа, — запечатленных в твердом веществе слов жеста, жестов пальцев и руки, тогда как слово звуковое есть запечатление жеста голосовых органов и притом запечатление в воздухе. Картина и статуя принципиально суть слова. Но к тому ядровому слову преимущественно звуковому, о котором идет у нас речь в этой главе, приведенное место из Ваккеродера приложимо в полной мере. — В греческом языке есть глагол $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\upsilon\acute{\alpha}\omega$ или $\epsilon\rho\upsilon\acute{\alpha}\omega$, того же корня, что и глагол $\epsilon\rho\epsilon\omega$; эти глаголы значат: спрашивать, исследовать, отыскивать, осматривать, рассматривать; но производное отсюда прилагательное $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\epsilon\upsilon\lambda\eta\tau\omicron\varsigma$ энантиологически значит вовсе не: исследованный или известный, а, напротив: неисследованный, необъяснимый; смысл этой энантиологии понять не трудно: отглагольное прилагательное на $\text{-}\omicron\varsigma$ показывает на возможность в страдательном смысле; $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\epsilon\upsilon\lambda\eta\tau\omicron\varsigma$ значит: подлежащий исследованию, могущий быть исследованным, предстоящий к рассмотрению, а поэтому, следовательно, — еще не исследованный; таковой мыслится всегда подлежащим исследованию и всегда же, следовательно, не исчерпанным исследованием, никогда не доисследованным, а потому и необъяснимым ². Так должно быть понимаемо то сгущенное слово, о котором размышляем мы. — его неисчерпаемая полнота, настолько содержательная и синтетичная, что всякое движение мысли по данному, по заданному словом направлению или целому пучку направлений, встречает себе открытый путь и продолженную гладкую дорогу. Об этом слове воистину можно сказать $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\epsilon\upsilon\lambda\eta\tau\omicron\varsigma$. Так в таинственных жидкостях природы, меда и молоке, синтезированы в полно-содержательное единство разнообразнейшие соки двух царств природы, — растительного — в меде и животного — в молоке; в конечном же счете, та и другая жидкость есть, по выражению одного старинного писателя, «образец всеобщего лекарства» ³, ибо заранее дают организму всякий могущий потребоваться ему сок, своею полнотою заранее удовлетворяют всякой нужде, предлагая раньше, чем может встретиться надобность, и предлагая больше, чем что будет спрошено самым своенравным инстинктом. Мед и молоко дают на себе приметить, — по выражению того же автора, «малые тайны» ⁴ природы. В области же творчества духовного, «малые тайны» вселенского собирания и, потому, вселенской полноты имеем в собирательном слове, которым живо духовное творчество в науке и в философии.

IV. Но подобные же выражения были уже высказаны ранее, когда говорилось о диалектике, и именно применительно к бесконечной, неисчерпаемой мыслию полноте реальности: и о реальности было сказано: $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\epsilon\upsilon\lambda\eta\tau\omicron\varsigma$. Иначе говоря, зрелое слово как-то отвечает реальности, есть само образ реальности. Впрочем, можно было догадаться о таком исходе наших размышлений, коль скоро задачей познания было выставлено: дать наиболее полное и сжатое описание реальности. Описание из неподвижной точки зрения не могло быть таковым, по его бедности. Но описание движущееся, если бы оно могло свиваться в синтетические узлы, именно и представилось бы в этом, свитом, своем состоянии высказываемым такими, полновесными словами. Диалектическое проникновение в жизнь завершается расцветанием в мысли цветов, подводящих итог всем последовательным переходам умозрения, и в этом смысле как

будто полагающими предел процессу вживания. Но было бы ошибочным счесть такой предел движущейся мысли за простую остановку мысли, — за остановку той, которой существенно не свойственно коснеть в покое. Нет, если это и остановка, то такая, что в ней живо движение, так сказать, движущий покой или покоящееся движение. Если выразиться образно, то можно назвать обычный ход диалектического умозрения — путем, восхождением на вершину, а достигнутое синтетическое слово — созерцанием с самой вершины: поступательность тут движения прекращается, но это не значит, что прекращается вообще движение, ибо путник, достигший высшей точки своего пути заменяет продвижение — вращением; да, пред ним открылись горизонты столь широкие, что есть что созерцать, а малейший поворот вправо или влево даст ему новую полноту возвышенных зрелищ. В шестви путника произошла остановка; но так как задача самого шествия — не простая перемена места, а обогащение опыта, то эта остановка на вершине, задерживающая путника своими далекими перспективами и разнообразными картинками, есть не только не перерыв его пути, но, и, напротив, усиление пути, ступение его, если понимать путь функционально.

Воспользовавшись математическим выражением, можно назвать эту вершинную стоянку мысли — относительным максимумом пути, — в том смысле, что наличный в ней охват духовного кругозора превосходит все смежные, как предшествовавших, так и последующих точек умозрения. Достигнув этого относительного максимума в своем движении, мысль покоится на созерцательной вершине, и долго может покоиться, пожиная плоды своего восхождения. Но когда она пожелает идти дальше, продвигаясь еще, ей необходимо оставить вершинную стоянку и обречь себя на сужение своего горизонта, чтобы в своем дальнейшем пути, отчасти спустившись с занятой вершины, начать новое восхождение, на новую и новые вершины. На них ей снова предстоят остановки и соответственные им расширенные созерцания; с этих вершин ей откроются не только новые понимания расстилающихся пред нею далей, но и самый путь ее, как пройденный, так в особенности и подлежащий, будет усмотрен с большею сознательностью. Можно даже сказать, что ясное сознание, а потому и планомерность путей мысли, дается диалектику только на этих стоянках, когда долгие их переходы видятся не шаг за шагом, а — связными линиями. Но, зачарованная этими перспективами, Наука начинает верить в достигнутую вершину как в окончателность, и в наличности остановки усматривает оправдание неподвижности вообще, вследствие чего дальнейшим усовершенствованием своей стоянки, кстати сказать не ею самую достигнутой, полагает закрепление и поворота наблюдателя, так чтобы отныне все, попавшие на эту вершину, всегда смотрели на дали чрез определенное, ради установки глаза проделанное, отверстие, но никак не оборачивались из стороны в сторону.

V. Но если чрезмерное медление на достигнутых высотах, если вера в эти конечные высоты как в Высоту окончательную — мертвит и опустошает Науку, то, тем не менее, эти высоты необходимы не только Науке, расширяя ее кругозор, но и Философии — ритмически расчленяя ее диалектическое движение паузами и придавая ее текучести известную устойчивость, вследствие чего делается возможною большая сознательность и более легкая удерживаемость памятию. Диалектике вообще не свойственна нерасчлененность, ибо всякий вопрос предполагает остановку для получения

ответа, и ритмический ход вопросов-ответов приглашает вспомнить скорее о пешеходе, чем о велосипеде. Но эти мелкие ритмопаузы требуют дальнейших группировок, более определенно выраженных стоянок мысли. Пора, однако, после сделанных предварительных разъяснений, назвать эти стоянки мысли и более определенным именем, чтобы легче узнать в них знакомое уже нам из наук о познании, поскольку там эти стоянки мысли уже обсуждались. Но и то следует оговорить: мы не знаем одного имени этим стоянкам, и потому именно доселе уклонялись от попытки назвать их не описательно. Трудность же назвать их — двойкая: √синтетические слова, в зависимости от степени и ступени своей синтетичности, бывают разных порядков и, если воспользоваться выражением, применимым Н. В. Бугаевым⁵ в учении о бесконечностях, — разных пород. В нашем случае, эти порядки и породы различаются не количественно, во всяком случае не только количественно, но и качественно, — мало того, могут иметь между собою существенные рубежи, переходя которые неизбежно пересматривать и перестраивать и весь строй внутренней жизни, круг сложившихся понятий и мысленных связей между ними, а главное — привычные и укоренившиеся оценки. Будучи на пути движения мысли формально аналогичными, как несущие аналогичные функции, — того, что Г. Кантор в своей теории трансфинитов назвал «принципом ограничения», в образовании числовых символов, в противоположность другому, противоположному принципу той же области — «принципу продолжения»⁶, рассматриваемые нами синтетические слова весьма многообразны, и желание во что бы то ни стало дать им название преждевременно-необходимо поведет к сужению их области, а потому — к искаженному пониманию их духовной функции. Между тем, не трудно догадываться, что эта функция столь же обширна и столь же глубока, как и самый дух, ибо словом — все возможно, и слову все доступно. Из боязни испортить все дело и ослабить незаметно привнесенными предпосылками позитивизма намеченное понимание слова, воздержимся пока от подразделений слов высших порядков и высших пород, и отметим вторую причину трудности дать тут единое наименование.

VI. Когда по-русски мы говорим: «с л о в о», то имеем в виду и целую речь, и отдельное предложение, и каждую отдельную часть речи, грамматически или словарно называемую «словом» в узком смысле; так, говорится о «даре с л о в а», о «с л о в е с н о с т и» и т. д. Греческое слово λογος опять-таки имеет значение и речи, и отдельной фразы и отдельного слова, в узком смысле. Иначе и быть, впрочем, не могло, — не должно было бы, ибо всякое отдельное слово не есть что-либо существующее самостоятельно, но — лишь узел тех процессов, которые составляют речь, и в своем значении определяется лишь в живой речи, а не в уединении словаря; как на крайний пример этой изменчивости смысла отдельного слова можно сослаться на проническое или саркастическое пользование словом, когда значение его изменяется в прямую противоположность более обычному значению. Воистину, слово есть инвариант, но инвариантность эта невыразима словесно же /единственным способом выражения ее служит самое слово, оно одно, и никакое другое слово не возьмет его смысла глубже и полно-охватнее, нежели выражает оно само себя/; в порядке же словесном — слово предельно свободно, имея силу означать весьма разное, включительно до своей прямой противоположности. Следовательно, слово есть

точка приложения деятельности мысли, создающей предложение и даже целую речь, получая отпечатления ото всей речи, но в разной, так сказать, степени плотности. А с другой стороны, самое предложение определяется словами, из которых оно строится, и вне слов не существует. Части речи определяются частями предложения, и наоборот, части предложения устанавливаются частями речи: тут новая антиномия языка, — антиномия части речи и части предложения. Но не углубляясь сейчас в нее, мы должны, ради ясности дальнейшего, отметить, что слово, понимаемое узко, должно рассматривать как свившееся в комок предложение и даже целую речь, а предложение — как распустившееся свободно слово. В современной логистике понятна и использована эта взаимообратимость двух моментов языка: одни и те же буквы в формулах символической логики не означают ни только понятий, ни только суждений, или, как принято их теперь называть, по примеру англичан, — предложений; точнее сказать, буквы в этих формулах означают и понятия и предложения *з а р а з*, так что алгебра логики «допускает... две различных, почти параллельных интерпретации, в зависимости от того, выражают ли буквы понятия, или предложения»⁷. При этом «логическое значение и дедуктивная связь формул несколько не зависит от интерпретаций»⁸; «С целью не предусматривать никакой интерпретации, мы скажем, что буквы выражают Т Е Р М И Н Ы: эти термины могут быть, смотря по обстоятельствам, понятиями или предложениями»⁹; Понятия и суждения противоплагаются друг другу только соотносительно, сами же по себе не могут рассматриваться обо-собленно. Еще с большей силою то же надо сказать и о словах и предложениях, тем более, что даже формально-грамматически, любое слово может быть самостоятельным предложением, и наоборот, любое предложение, как бы оно длинно ни было, можно обратить в одно сложное слово, поставив в кавычки, а в языках, где имеется член, — греческом, французском, немецком и др., — приставив ко всему предложению член. Следовательно, теперь, понятно, почему живое слово-употребление не сузило значения слова «с л о в о» и понимает его приблизительно так, как в логистике, по сказанному выше, понимается слово «т е р м и н». Но это последнее мы сохраним для более определенных случаев, а без особой нужды станем говорить, как и говорили до сих пор, — «с л о в о».

VII. Возвращаемся к обсуждению слова синтетического. Из сказанного явствует, что такое может быть: как синтетическим предложением, так и синтетическим отдельным словом, в узком смысле. И вот трудность: выразить одним наименованием сразу и то и другое. Единое синтетическое слово распадается, если судить по наименованиям, на две параллельных линии, на две параллельных серии, из коих каждая подымается, как выяснено ранее, своим хребтом с высящимися на нем пиками. Эти два хребта есть на деле о д и н хребет, и эти пики суть попарно одни и те же пики, но в языке нашем они неминуемо дwoятся и кажутся двумя.

Технические выражения и обобщающие формулы, словесные или символические, например, алгебраические, — такова первая пара соответственно связанных и взаимно-превращаемых ступеней на пути мысли. Всякое техническое наименование, в какой угодно области знания, вводится определением, а это последнее предполагает за собою некоторое экзистенциальное суждение¹⁰ — суждение о существовании того комплекса признаков, который связывается во-едино выставляемым определением; это экзистенциальное суждение или эта экзистенциальная интуиция свиде-

тельствует о возможности этого комплекса, — возможности внутренней, отнюдь не формально-логической, но связанной со всем строением данной области познаваемого, возможности приемлемой всеми закономерностями этой области, а кроме того, утверждает устойчивость, т. е. пребываемость обсуждаемого комплекса, его внутреннюю организованность, внутреннюю связность и единство. Если определение лишено экзистенциальности, т а к понимаемой, то оно есть лишь пустое притязание, видимость слова, но не слово. ибо мыслится только в качестве звука, сопровождаемого случайными ассоциациями, но не как определенное содержание мысли, и потому беспредметное, — и ускользает от нее, расползаясь на отдельные элементы слова, лишь только мысль подходит к такому определению, или к равносильному ему определяемому им техническому выражению вплотную. Иными словами, всякое техническое выражение, действительно нужное мысли, а не представляющее собою тормозящего речь варваризма, непременно предполагает и новое усмотрение мыслью внутренней связности того, к чему это выражение относится, — значит служит синтезу многих слов, которыми могла бы быть описана вновь найденная связность. Подлинное техническое выражение, имеющее залог жизненности и надеющееся пережить «завистливую даль», если не «веков», то хотя бы годов, творится духом вместе с подъемом мысли на вершину, пусть невысокую, но во всяком случае господствующую над окружающей местностью в процессе подъема. Оно непременно есть некоторая о с т а н о в к а мысли, в смысле выше-разъясненном, и его следует оценивать именно как таковую. Если же создающий его стоит лишь на склоне горы, остановившись не ритмически, — от усталости, но вовсе не потому, что он достиг относительного максимума, высоты, хотя бы и небольшой, то техническое выражение, по самому существу дела, не есть устойчивое создание слова и распадается, лишь только мысль тронется далее, и, кроме того, насквозь субъективно, не соответствуя никакому естественному расчленению реальности, никакому естественному ритму диалектического хода. Таким образом, техническое выражение действительно свивает в себе некоторое сжатое описание реальности, той или другой, — ибо и математические сущности — тоже своеобразная реальность, — а обобщающая формула, — тоже, конечно, описание, — она проразривает, разбивает, распускает означенное техническое выражение.)

VIII. Уже низшая область таких выражений, Н О М Е Н К Л А Т У Р А, под каковою, по В. Уэвеллю¹¹, надо в классификаторных науках, разуметь, «совокупность н а з в а н и й в и д о в», дает нам прочеканенные и пройденные резцом слова повседневного языка; непосвященному в классификаторную систему той или иной области бытия такая совокупность названий представляется легким сочинительством несносного педантизма, тогда как, на самом деле, каждое удачное название опирается на годы внимательнейшего взглядывания, на познание тесно-сплоченных и устойчивых переплетений многих признаков и на понимание, как именно соотносятся эти комплексы к р а з л и ч н ы м другим того же порядка. Такое название есть сжатая в одно слово, простое или сложное, ф о р м у л а изучаемой вещи и действительно служит остановкою мысли на некоторой вершине. Систематика химии, минералогии, ботаники, зоологии, и, в меньшей степени других наук, есть сгущенный опыт много-сот-летней истории человеческой мысли, уплотненное созерцание природы, и, конечно, есть главное достояние соответствующих областей знания, наиболее

беспорное, наиболее долговечное¹². Недаром Библия проявлением разума первого человека, как бы доказательством его божественного образа и потому его выделенности из ряда всех тварей земных, выставляет наименование Адамом всех прочих тварей: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел /их/ к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» /Быт. 2, 19—20/. Л о т ц е указывает, что голое восприятие предмета не удовлетворяет нас, и нам требуется ввести предмет в систему нашей мысли, а для этого необходимо наименовать его. «Имя свидетельствует нам, что внимание многих других покоилось уже на встреченном нами предмете, оно ручается нам за то, что общий разум, по крайней мере, пытался уже и этому предмету назначить определенное место в единстве более обширного целого. Если имя и не дает ничего нового, никаких частных предметов, то оно удовлетворяет человеческому стремлению постигать объективное значение вещей, оно представляет незнакомое нам чем-то не безызвестным общему мышлению человечества, но давно уже поставленным на свое место»¹³. Поэтому, назвать — это вовсе не значит условиться по поводу данного восприятия издавать некоторый произвольно избранный звук, но, «примыкая, — по изречению Вильгельма Г у м б о л ь д т а¹⁴, — своею мыслию к мысли общечеловеческой», дать слово, в котором общечеловеческая мысль, обратно, усмотрела бы законную, т. е. внутренне-обязательную для себя, связь внешнего выражения и внутреннего содержания, или, иначе говоря, признало бы в новом имени — с и м в о л. Символичность слова, — в чем бы она ни заключалась, — требует вживания в именуемое, медитации над ним и, говоря предельно, — мистического постижения его. Иначе созданное слово — как плева будет отвезено временем и унесено в сторону от жизни человеческой культуры. «Произвольно данное нами имя не есть имя, — говорит тот же Л о т ц е, — недостаточно назвать вещь, как попало: она действительно должна так называться, как мы ее зовем; имя должно быть свидетельством, что вещь принята в мир общепризнанного и познанного, и, как прочное определение вещи, должно ненарушимо противостоять личному произволу»¹⁵. При большой проникновенности духовной жизни связь имени с предметом именуемым ощущается еще более тесно; выразительный пример этого непосредственного ощущения находим в биографии Якова Б е м е. «Однажды он после продолжительного мистического бодрствования, чтобы рассеять себя, вышел из дому и направился в поле, где почувствовал, что чем далее он идет, ... тем понятнее ему делаются все видимые вещи, так что по одним очертаниям и краскам оных он начал узнавать их внутреннее бытие. Словом, чтобы точнее определить его душевное состояние, выражусь стихами поэта:

И внял он неба содроганье,
И горних ангелов полет,
И гад земных подводный ход,
И дольней лозы прозябанье!»

Точно в такой же почти сверхъестественной власти у Бема были и языки иностранные, из которых он не знал ни единого; несмотря на то, однако, как утверждал друг его К о л ь б е р, Бем понимал многое, когда при нем говорили на каком-нибудь ЧУЖОМ языке, и понимал именно потому, что ему хорошо известен был язык природы. Желая, например, открыть сущность какой-нибудь вещи, он часто спрашивал, как она называется

на языке еврейском, как ближайшем к языку природы, и если сего названия не знали, вопрошал о греческом имени, а если и того не могли ему сказать, то спрашивал уже о латинском слове, и когда ему нарочно сказывали не настоящее имя вещи, то Бем по наружным признакам угадывал, что имя вещи не таково»¹⁶.

! Понимание слова есть деятельность внутреннего соприкосновения с предметом слова, и потому вполне понятно, что разобщенность духовная от бытия ведет к непониманию слова. Углубленность понимания вырастает из теснейшей духовной сплоченности, тогда как грех разрушает и то понимание, которое было ранее. Вот почему Сошествие Святого Духа на Апостолов в Пятидесятницу, т. е. одухотворение их и самое внутреннее объединение, как клеточек вновь явившегося на земле Тела Христова, непосредственным следствием имело дар языков. «И егда скончавшася дние Пятидесятницы, беша вси Апостоли единомудно вкупе. И бысть внезапно с небесе шум, яко носиму духанию бурну, и исполни весь дом, идеже бяху сядеще: И явишася им разделени языци яко огнени, седе же на едином коемждо их. И исполнишася вси Духа Свята. и начаша глаголати иными языки, якоже Дух даеше им провещавати. Бяху же во Иерусалиме живущии Иудеи, мужие благоговейнии от всего языка, иже под небесем. Бывшу же гласу сему, снидесе народ и смятеся: яко слышаху един кийждо их своим языком глаголющих их. Дивляхуся же вси и чудяхуся, глаголюще друг ко другу: не се ли вси сии суть глаголющии Галилеане; И како мы слышим кийждо свой язык наш, в нем же родихомся, Парфяне и Мидяне и Еламита, и живущии в Месопотамии, во Иудеи же и Каппадокии, в Понте и во Азии, во Фригии же и Памфилии, во Египте и странах Ливии, яже при Киринии, и приходящии Римляне, Иудеи же и пришельцы, Критяне и Аравляне, слышим глаголющих их нашими языки величия Божия» /Деян. 2, I—II/. Это событие воссоединения человечества в взаимном понимании чрез нисхождение Духа Святого есть аналогическое, но обратно направленное, событию раздробления человечества в смешении языка его — чрез попытку взойти до неба без Духа и утвердить свое единство помимо Бога внешним памятником, — символ человекобожества в области самочинной мистики и самочинной общественности. «Приидите. — сказал в себе Бог, — и сошедше смесим тамо язык их, да не услышит кийждо гласа ближнего своего» /Быт. II, 7/. Шелли и Г¹⁷, подметивший взаимно-обратность Вавилонского смешения и Пятидесятничного воссоединения, подчеркивая излагает свое сопоставление и явно гордится им. Но он остается неосведомленным в том, что названные события неоднократно сближаются в святоотеческой письменности, и даже в богослужебных песнопениях Пятидесятницы определенно высказана эта мысль: «Языцы иногда размесишася дерзости ради столпотворения: языцы же ныне умудришася, славы ради боговедения. Тамо осуди нечестивыя погрешением: zde просветил есть Христос рыбаи Духом. Тогда упразднися безгласие к мучению: ныне обновляется согласие ко спасению душ наших»¹⁸. Или еще: «Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненные языки раздаеше, в соединении вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа»¹⁹, и др. В чем именно состояло это соединение языков, и что именно должно разуметь под языками, в данном месте Деяний, это составляет трудный, до сих пор не вполне решенный вопрос экзегетики²⁰. По-видимому, однако, наиболее вероятным должно признать или то решение, по которому одухотворенность слова апостолов делала его лингвистически прозрачным и различным прищельцам в Иерусалим, снимая с речи ту глубокую кору, которою она покрылась после Вавилонского смешения, или же

то, — согласно которому в преисполненности Духом апостолы нашли себе источники творчества перво-языка, утерянного человечеством в Вавилоне, и, заговорив на этом праязыке, были понятны иностранцами²¹. Но, так или иначе, а суть события — в метафизической проникновенности слова у человека духо-носного. Не вдаваясь далее в эти чрезвычайные, высшие состояния, вернемся к обсуждаемому нами синтетическому слову, на следующей после углубленных и м е н его ступени. Эта последующая ступень есть термин, когда оно берется в свернутом виде, и — з а к о н, формула закона, когда синтетическое слово взято развернутым.

(Окончание следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. /Ваккеродер/, — Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком. М., 1826. М., 1914, с. 113—114. / Ср.: В. Г. Ваккеродер. Фантазии об искусстве. М., «Искусство», 1977, с. 75—76. — «История эстетики в памятниках и документах». Немецкое Wackenroder П. А. Флоренский переводит как Ваккеродер, сейчас принято Вакенродер./
2. E. Boisacq, — Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Heidelberg — Paris, 1909. 4^{me} livr., p. 278: ἐρέω. Бензелер/— Греческо-русский словарь, Киев/, 1881, с. 59: χερεινάω, ἀνερεινύητος.
3. А. Ω — Gemma Magica, или магический драгоценный камень... J. A. Θ. М., 1974, с. 32.
Вернадский Г. В. Русское Массонство в царствование Екатерины II. — Пг, 1917, с. 256: «Франкенберг А. /1593—1652/. 1784, — А. Θ. Gemma Magica или Магический Драгоценный Камень; то есть краткое изъяснение Книги Натуры, по семью величайшим листам ея, в которой можно читать Божественную и Натуральную Премудрость, вписанную перстом Божиим. Кн. Премудр. гл. I, ст. 4. Премудрость не вийдет в зло кровную дугу I. А. Θ. Сия премудрость не падает на неблаго-родные умы, но на добродетельные и благородные. В печать отдано и спешест-вовано любителем покойного автора, с пожалованием и дозволением Аполлона и Музы: Л. 8°.» — Издание Новиковского кружка./
4. id., с. 32, но в книге речь идет не о молоке, а о «коровьем масле», и о меде.
5. Н. В. Бугаев / П. А. Флоренский. О типах возрастания. — «Богословский вестник», 1906, т. 2, № 7, с. 539: «Во всех этих случаях мы имеем дело с различными п о р я д к а м и бесконечностей. Но оказывается, что так — далеко не всегда, и существуют функции безусловно не сравнимые таким образом. Другими слова-ми, отношение функциональных значений стремится к бесконечности с возрастанием x и, какие бы итерации и действия им подобные мы не производили над функ-цией меньшего типа возрастания, функция большего типа окажется для нее недостижимой, имеющей бесконечность не только другого порядка, но и другой п о р о д ы, по терминологии Н. В. Бугаева^{1/}.
6. /См. кн.: Георг Кантор. Труды по теории множеств. — М., «Наука», 1985, с. 66, 92—93, 221, 360/
7. Л. Кутюра, — Алгебра логики. Перевод с прибавлениями проф. И. Слешинского. «Mathesis», Одесса, 1909, с. 1—2, § 2.
8. id., с. 2, § 2.
9. id., с. 2—3, § 2.
10. /Сноска не сохранилась. Приведем определение экзистенциальных суждений по Гефлеру, указанная книга которого цитируется далее П. А. Флоренским.
Проф. Алоиз Гефлер. Основные учения логики. Пер. с четвертого нем. изд. И. Да-выдова и С. Салитан. С пред. И. И. Лапшина. — СПб., Издание «Научно-фило-софской библиотеки», 1910, с. 84: «Такие суждения, как „Бог есть“, „Нет призра-ков“, не имеют другого смысла и другой цели, кроме утверждения или отрицания «существования» обсуждаемого./
11. Вильям Уэффель, — История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени. Перев. ч. 3-го англ. изд. М. А. Антоновича. СПб., 1869, т. 3, с. 402, книга XVI, гл. IV, § 2.
12. /Сноска не сохранилась. В подготовительных материалах к работе «Термин» сохранился листок с записью: «Термин. Джевонос. Основы Науки, с. 628. О значении классификации». Стенли Джевонос. Основы Науки. Трактат о логике и научном

¹ Слышал от покойного на его лекциях-беседах. В печати этот термин появляется, кажется, впервые / ».

методе. Пер. со второго англ. изд. М. Антоновича. — СПб., Издание Л. Ф. Пантелеева. 1884, с. 628: «Только применение к делу классифицирующих и обобщающих способностей дает человеческому уму возможность справиться до некоторой степени с бесконечным числом естественных явлений... Мы возвращаем природу к простым условиям, из которых развилось ее бесконечное разнообразие. Как сказал Боуэн, „первая необходимость, которую налагает на нас самое строение нашего ума, состоит в том, чтобы расположить бесконечное богатство природы на группы и классы вещей по их сходствам и сродству и тем расширить кругозор охватываемый нашими умственными способностями, даже с пожертвованием мелочами, которые могут быть известны только при подробном изучении предметов. Поэтому первые усилия при разработке знания должны быть направлены на дело классификации. Может быть впоследствии окажется, что классификация есть не только начало, но и высшая точка и конец человеческого знания“»²/.

13. Лотце, — Микрокосм

/Вероятно, П. А. Флоренский дал свой перевод.

Ср.: Герман Лотце. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. Опыт антропологии. Ч. II. — М., Издание К. Солдатенкова, 1866, с. 293—294: «Если мы не в состоянии действительно определить место, занимаемое каким-нибудь произведением природы в ее совокупности, то нас, конечно, успокаивает уже и одно его имя; оно свидетельствует по крайней мере, что и внимание многих других людей останавливалось на том самом предмете, который занимает теперь нас; оно удостоверяет, что общее разумение заботилось отвести и этому предмету определенное его место в связи более обширного целого»./

14. / Вероятно, П. А. Флоренский дал свой перевод.

Ср.: Гумбольдт В. фон. О различии органов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Пер. П. Билярского. СПб., 1859, с. 44 = Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984, с. 51: «Язык — не просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей, но заложен в самой природе человека и необходим для развития его духовных сил и формирования мировоззрения, а этого человек только тогда сможет достичь, когда свое мышление поставит в связь с общественным мышлением»./

15. Лотце, — Микрокосм

/ Вероятно, П. А. Флоренский дал свой перевод.

Ср.: Герман Лотце. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. Опыт антропологии. Ч. II. М., Издание К. Солдатенкова, 1866, с. 294: «...всякое произвольно данное имя — не имя в собственном значении: мало назвать вещь как-нибудь, надо, чтоб она и действительно так называлась; имя должно быть свидетельством, что вещь принята в мир общеизвестного и общепринятого бытия, и таким образом нерушимо противостоит всякому личному произволу, как собственное, постоянное ее определение»./

16. А. Ф. Писемский, — Масыны, с. 3-я, VIII, с. 538—539. / Сочинения А. Ф. Писемского. Посмертное полное издание, т. 12. СПб., 1884, изд. тов. М. О. Вольф / . / То же в кн.: А. Ф. Писемский. Собрание сочинений в девяти томах, т. 8. Масыны. М., «Правда», 1959, с. 356.

Отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» дан А. Ф. Писемским с намеренными искажениями. Вот подлинный текст:

«И вял я неба содраганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье».

/ А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. 2. М., Изд. АН СССР, 1963, с. 338./

Бек /, — / Космическое чувство.

/ Канадскому психиатру д-ру Беку / Виске / принадлежит брошюра: Cosmic Consciousness: a study in the evolution of the human Mind, Philadelphia, 1901.

Затем им на ту же тему была написана книга, данных о которой нам найти не удалось. Возможно, что П. А. Флоренский имел в виду отрывки из вышеуказанной брошюры, приводимые В. Джемсом в его книге: Многообразие религиозного опыта. Пер. с англ. В. Г. Малахеевой-Мирович и М. В. Шик. Под ред. С. В. Лурье. М., Издание журнала «Русская мысль», 1910, с. 387—389: «Космическое сознание в своих ярких проявлениях, говорит д-р Бэки, не представляет собою простого расширения границ самосознающего я, с которым каждый из нас хорошо знаком; здесь мы имеем дело с новой функцией, столь же отличной от всех

² A Treatise on Logic, or Laws of Pure Thought, T. Bowen, Cambridge, U. S. 1866 p. 315» /.

душевных функций среднего человека, насколько самосознание нашего „я“ от-
лично от всех функций, находящихся в обладании высших животных...

Характерной чертой космического сознания является прежде всего чувство
космоса, т. е. мировой жизни и ее порядка: и в то же время это — интеллектуаль-
ное прозрение, которое одно может привести индивидуума в новую сферу суще-
ствования; к этому присоединяется состояние особой моральной экзальтации, не-
посредственное чувство душевного возвышения, гордости и радости; нужно при-
бавить сюда еще обостренность нравственного чутья, не менее важную для нашей
духовной жизни, чем просветленность разума, и наконец, еще то, что можно бы
назвать чувством бессмертия, сознанием вечности жизни, и не в форме убеждения,
что такая жизнь будет у меня, а как сознание, что она у меня уже есть...

Я провел вечер в большом городе с двумя друзьями за чтением и спорами по
вопросам философии и поэзии. Мы расстались в полночь. Чтобы попасть домой,
мне предстояло сделать большой конец в экипаже. Мой ум, еще полный идеями,
образами и чувствами, вызванными чтением и беседой, был настроен спокойно.
Мной овладело состояние почти полной пассивности, и мысли почти без моего уча-
стия проходили через мою голову. Вдруг, без всякого перехода, я почувствовал
вокруг себя облако цвета огня. С минуту я думал, что это зарево большого пожара,
вспыхнувшего где-нибудь в городе, но скоро понял, что огонь этот был во мне.
Неизмеримая радость охватила меня, и к ней присоединилось прозрение, которое
трудно передать словами. Между прочим я не только уверовал, я уви-дел, что
что вселенная соткана не из мертвой материи, что она живая; и в самом себе я по-
чувствовал присутствие вечной жизни. Это не было убеждение, что я достигну бес-
смертия, это было чувство, что я уже обладаю им. Я увидел, что все люди также
бессмертны, что таков мировой закон и что нет случайностей в мире. Каждая вещь
в нем служит благу всех других вещей; основа нашего мира и всех других миров —
любовь; и вообще счастье неизбежно будет осуществлено в грядущих веках. Со-
стояние это длилось всего несколько секунд, но воспоминание о нем и чувство
реальности принесенных им откровений живет во мне вот уже четверть века. В ист-
ине этих откровений я не сомневаюсь. С этой точки зрения, с какой я смотрю
теперь на мир, я вижу, что не могут они не быть истинными. Это сознание не
покидало меня даже в моменты величайшего упадка духа.

Другой перевод последнего отрывка дал И. И. Лапшин по книге: James W.,
Varieties of Religious Experience, 1902. См. книгу: И. И. Лапшин. Законы мышле-
ния и формы познания. СПб., 1906. Приложение II. О мистическом познании
и «вселенском чувстве». С. 52—53./

17. / Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämtliche Werke. Zweite Abteilung.
Erster Band. Einleitung in die Philosophie der Mythologie. Stuttgart und Augsburg,
1956, S. 108—109: «Dem Ereignis der Sprachenverwirrung lässt sich
in der ganzen Folge der religiösen Geschichte nur Eines an die Seite stellen, die mo-
mentan wieder hergestellte Spracheinheit /ενογλωσσία/ am Pfingstfeste, mit dem
das Christentum, bestimmt das ganze Menschengeschlecht durch die Erkenntnis
des Einen wahren Gottes wieder zur Einheit zu verknüpfen, seinen grossen Weg
beginnt. / Ich hatte darum in den Vorlesungen über die Philosophie der Offenbarung
die Erscheinung am Pfingstfest „das umgekehrte Babel“ genannt, ein Ausdruck,
den ich später bei andern fand. Mir selbst war damals der Wink von Gesenius in
dem Artikel: Babylon der Halle'schen Encyclopädie noch unbekannt. Schon Kir-
chenvätern indess war diese Entgegenstellung nicht ungewöhnlich, die insofern wohl
Anspruch hat, für eine Natürliche zu gelten /».

«Во всей последовательности религиозной истории рядом с событием с м е-
ш е н и я языков можно поставить только одно, мгновенное восстановление
единства языка /ενογλωσσία/ в Пятидесятницу, когда христианство, да и все чело-
вечество начинает свой великий путь к воссоединению, благодаря познанию еди-
ного истинного Бога. / Поэтому в лекциях о философии откровения я назвал про-
исшедшее на Пятидесятницу „Вавилоном наоборот“, — выражение, которое я позд-
нее нашел у других. Намек Гезения в статье „Вавилон“ энциклопедии Халле мне
самому был в то время еще неизвестен. Впрочем, для Отцов Церкви это противо-
поставление не было необычным, так что его вполне можно считать естественным»./

18. Неделя Пентикостии, стихиры на стиховне, на «Слава и ныне» / глас 8: Троишь
цветная. М., Издание Московской Патриархии, 1975, лист 262./
19. то же, кондак Недели Пентикостии / см.: Троишь цветная. М., Издание Москов-
ской Патриархии, 1975, лист. 243 об.: Кондак Недели Пятидесятницы./
20. / Сноска не сохранилась. В архиве семьи Флоренских сохранилась книга из биб-
лиотеки П. А. Флоренского: Священник Михаил Фивейский. Духовные дарова-
ния в первоначальной христианской церкви. Опыт объяснения 12—14 глав пер-
вого послания св. апостола Павла к Коринфянам. М., Товарищество тип. А. И. Ма-
монтова, 1907, см. гл. VIII. Глоссолатические теории, с. 108—121./
21. / Сноска не сохранилась. См. сноску 20—/
22. / Сноска не сохранилась ни в тексте, ни в примечаниях./

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Althochdeutsches Glossenwörterbuch (mit Stellennachweis zu sämtlichen gedruckten althochdeutschen und verwandten Glossen) / Zusammengetragen, bearbeitet und herausgegeben von Taylor Starck und Wells J. C. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1971—1987. 800 S.

Одним из крупных событий в германистике конца XIX — нач. XX в. было фундаментальное издание корпуса древневерхненемецких глосс, предпринятое Э. Зиверсом и Э. Штайнмайером. Издание это, включающее пять объемистых томов, продолжалось в течение сорока трех лет (т. 1—1879 г., т. 2—1882 г., т. 3—1895 г., т. 4—1898 г., т. 5—1922 г.). В него входят все известные до 1922 г. древневерхненемецкие глоссарии, которые были рассеяны по различным малодоступным источникам или оставались неизданными [1]. Серьезным недостатком этого грандиозного предприятия, во многом затрудняющим работу исследователя, является отсутствие конкорданции как к латинским леммам, так и к древневерхненемецким глоссам. Именно этот пробел призван восполнить рецензируемый словарь. Необходимость в таком словаре давно назрела, и он с нетерпением ожидался специалистами. Словарь Тэйлора Штарка и Дж. Уэллса издавался отдельными выпусками в течение 16 лет [всего вышло десять выпусков, включающих весь древневерхненемецкий словник глосс (с. 13—776)]. Он представляет собой конкорданцию, в которой в качестве исходных берутся древневерхненемецкие глоссы, расположенные в алфавитном порядке. Латинские леммы и немецкий перевод следуют за глоссами. В каждой статье словаря приводится полный список тех мест в древне- и средневерхненемецких глоссариях, в которых засвидетельствовано соответствующее слово (в соотнесении с латинской леммой), причем указывается опубликованный источник глосс. Отметим, что в древневерхненемецких глоссах встречаются не только древневерхненемецко-латинские соответствия, но и латинско-древневерхненемецкая глосса соотносится с несколькими латинскими леммами, что в чисто методическом плане весьма важно

для восстановления наиболее достоверной формы и значения спорных глосс и лемм). К сожалению, в рецензируемом словаре отсутствуют индексы, построенные на основе латинских лемм, как это делается, например, в известном словаре Л. Дифенбаха [2, 3], где латинские леммы располагаются в алфавитном порядке, а за ними следуют различные древне- и средневерхненемецкие глоссы. Такое одностороннее построение словаря не дает возможности на основе латинских лемм находить соответствующие древневерхненемецкие глоссы, а это в большой мере затрудняет работу с глоссированными текстами.

В рецензируемый словарь включен также материал из древневерхненемецких глоссариев, открытых и опубликованных уже после появления собрания Зиверса—Штайнмайера (список этих глоссариев с указанием места их публикации дается на с. 8—10, а также в нескольких специальных вкладышах). На с. 777—784 в алфавитном порядке приведены латинизированные слова и собственные имена германского происхождения, которые встречаются в глоссах. В настоящее время продолжается публикация дополнений к рецензируемому словарю (они доведены в десятом выпуске до слова *bi-dringan* — с. 800).

Изучение глосс (интерлинейрных, маргинальных, внутритекстовых) исключительно важно во многих отношениях. Прежде всего, в глоссах можно обнаружить корни, не представленные или недостаточно четко представленные в германских или в индоевропейских языках вообще (ср., например, встречаемое в рецензируемом словаре на с. 337 др.-в.-нем. *kli-sara* «ingesperrte Frau» — и.-е. **sor-«Weib»*). Кроме того, известные корни могут встречаться в глоссах в каком-либо «необычном» значении, которое, как и неизвестные корни, требует специального исследования. Такие значения в ряде

случаев служат своеобразным семасиологическим «мостиком», необходимым для этимологизации многих индоевропейских слов, происхождение которых до сих пор не выяснено. Особая проблема — установление диалектных слов в глоссах. К сожалению, методика исследования диалектизмов в древних текстах вплоть до настоящего времени не разработана в достаточной мере: большинство лингвистов выдает за диалектные те слова, которые в действительности являются принадлежностью того или иного языкового памятника. Между тем ценность глосс как источника диалектных слов вряд ли можно переоценить (ср. хотя бы древнегреческие глоссы Гесихия). Интересны так называемые гапаксы (слова, представленные в глоссах только один раз). В качестве примеров гапаксов в древневерхнемецких глоссах укажем на следующие: *eber. tempus; kerranto.strepitum; saenan. comminor; tamar.hasta* (ср. др.-инд. *tomara* «дротик, копьё», др.-русск. *томара* «стрела», тох. А **tomar* «дротик, копьё»); *devo.cauter; facon. dormito; slathe.larve; keinke.fucus; dingi.spēs; ruoza. sambuca; enco.agricultura; mussa. nympfa; nōhs. imbez* и др. Ср. глоссы, явно требующие эмендации: *vnro.hyaena; unifili.ira; alapi.adepts; fah. silva; treno.solum, planta; rst.esco*, ср. *sira.esco* и др.

При изучении глосс огромное значение имеет филологический анализ достоверности формы и значения изучаемых лемм и глосс, поскольку нередко наблюдается их контаминация и паронимическая аттракция (паронимическая аттракция могут подвергаться латинские леммы под влиянием древневерхнемецких глосс и древневерхнемецкие глоссы под влиянием латинских лемм, причем этот процесс протекает как на уровне формы, так и на уровне значения). Необходимо учитывать, что в процессе переписки отдельные глоссы, их леммы, а иногда и целые куски того или иного глоссария, значения отдельных глосс и лемм могли многократно искажаться. Латинские леммы в процессе переписки могли смещаться и соотноситься не с той глоссой, которая в действительности является их толкованием¹. Важно учитывать регулярно наблюдаемую замену букв как в глоссах, так и в леммах (в древневерхнемецких глоссах наблюдаются, например, следующие замены: *l > f; f > s; b > h; w > p; i > > t; c > g; l > r; l > b; g > t* и др.). Необходимо также принимать во внимание произвольное изменение порядка букв

в слове, произвольное прибавление или удаление тех или иных букв, сращение частей слов (в том числе древневерхнемецких и латинских, т. е. комбинаций части глоссы с частью леммы). Вот почему одной из важнейших процедур при анализе глосс является эмендация, главная задача которой — реконструкция истинного облика и значения так называемых «мнимых слов», или «слов-призраков» (*ghost-words*) как на уровне глосс, так и на уровне лемм². Анализ «мнимых слов» требует от исследователя не только глубоких знаний древнегерманской литературы, мифологии, религии, но и мастерства палеографического анализа, критики текста. Главное же состоит в том, что только установление надежных семасиологических связей того или иного слова (как глоссы, так и леммы) может явиться основным критерием его филологической достоверности. К сожалению, в рецензируемом словаре этимологическое исследование полностью отсутствует (что в какой-то мере, видимо, объясняется тем, что до сих пор нет этимологического словаря древневерхнемецкого языка). Нет в рецензируемом словаре и эмендаций спорных древневерхнемецких глосс и латинских лемм. В этом отношении в более выигрышном положении находится «Краткий словарь древнеанглийского языка» К. Холла [4], в приложении к четвертому изданию которого все спорные древнеанглийские глоссы и соответствующие латинские леммы эмендируются Г. Д. Мериттом. Интересно, что некоторые процессы, которые в глоссах выступают как явно произвольные (например, замены и перестановки букв в слове, вклинивание в слова посторонних букв и др.), в реальной жизни языка могут быть вполне допустимыми и никак не являются ошибками: ср., например, такие явления, как подвижные формативы, мена гласных и согласных в различных позициях в слове, вклинивание в слово неэтимологических фонетических элементов, например, *-r-* [5, 6]. Отметим также, что некоторые мнимые слова и значения, возникшие в связи с контаминацией в глоссах, могут стать живыми элементами языка.

Рассмотрим некоторые приводимые в рецензируемом словаре глоссы, хорошо объясняемые на основе семасиологиче-

¹ Речь идет о соотношении глоссы с соседней леммой, в связи с чем возникают затруднения семасиологической интерпретации глосс и лемм.

² Выдающимися исследователями «мнимых слов» в древнегерманских письменных памятниках были английский лингвист В. Скит (ему принадлежит сам термин «слова-призраки»), немецкий филолог О. Шлюттер, а в наше время — американский ученый Г. Д. Меритт (Стэнфордский ун-т).

ских сопоставлений. Прежде всего обратим внимание на глоссу *kerranto.strepitum*. «*gauschend*». Следует иметь в виду, что значение «опьянять» нередко соотносится со значением «бить, ударять»; быстро двигаться»: ср. др.-англ. *hrýsē* «Schlag, Klopfen», но нем. *Rausch, rauschen*. Ср. также лат. *strepō* «schmettere, tose» > «*gausche*». Ср. английские сленговые слова со значением «пьяный» (букв. «побитый»): *battered, corned, cracked, mashed, jammed*. При этом необходимо учитывать, что значение «бить, утрамбовывать» часто переходит в значение «наполнять», а также в значение «тяжелый, отяжелевший»³. Ср. также англ. диал. *to top* «to cut», но *to tope* «to become drunk».

³ Типологически ср. греч. βρ-ζ «тяжелый», но и.е. **ker-* «schneiden»; ср. русск. *грязь*, но *груз, грязь*. К этому последнему корню относятся: др.-англ. *hruse* «земля» и русск. *крыса* (хтоническое существо). С другой стороны, ср. др.-англ. *hreošan* «fallen, sinken», но др.-англ. *hyrst* «Schatz», «Schmuck» (крыса как хранительница подземных богатств), ср. типологически др.-англ. *sincan* «einsinken», но др.-англ. *sinc* «treasure». Ср. еще гот. *huzd* «treasure» < **hruzd*, русск. *гроздь*. Ср. далее: исл. *grisinn* «löcherig», норв. диал. *grisjun* «Verdünnung, Lichtung», *krysja* «sich unwirksam verhalten», но норв. диал. *krusa* «schmücken» (ср. также норв. диал. *kruselen* «hinfällig»). Типологически ср.: гот. *auþs* «Wüste», но др.-сев. *auðr* «Besitz, Reichtum». Ср. также: тох. А *aṣakārṣa* «chauve-souris» (тох. А *kār-k-* «voler, ravir»). Ср. также русск. диал. *кирза* «верхний слой земли»; «злость» (ср. русск. диал. *корзат* «гнуть; резать»). Следует также принять во внимание гот. *skeirs* «блестящий, светлый», которое соотносится не только с русск. «*крыса*», но и с русск. диал. *щур* «крыса». Типологически ср.: и.е. **arg-* «блестеть, сиять» и греч. (Гесихий) ἀργῆλος «Maus». Относительно этимологизации слова *щур*, по признаку «хтоническое животное» см. замечания Якобсона (JSLP, 1959, 1/2). Ср. **ker-* «brennen; dunkelfärbig». Ср., наконец, др.-англ. *cursian* «schimpfen» < «zaubern» (< др.-англ. *cursian* «biegen, drehen, binden»), лит. *kifsti* «злиться». Ср. лтш. *kreiss* «link». Типологически ср.: англ. *rat* «крыса», но гот. *airþa*, англ. *earth* «земля»; ср. также: др.-англ. *wrāett* «Schmuck», др.-инд. *rātnam* «wealth», лат. *pretium* «Preis», др.-анг. *wrād* «Grausamkeit»; ср. еще: лат. *mūs* «мышь», но лит. *musai* «Schlamm», др.-англ. *teox* «Dung», англ. диал. *meese* «reat» (становится понятным и лат. *musculus* «мускул, плоть»: типологически ср. русск. *тело*, но *теть*, лат. *tellus* «земля»; нем. *Boden* «земля, грунт», но англ. *body* «тело»). Ср. еще: лат. *sōrex* «Maus»,

В древненемецких глоссах находим слово *keinke* «fucus». Это оригинальное слово можно соотнести с **kenk-* «gürten, umbinden» (типологически ср.: нем. *binden*, но *bunt*; гот. *fahan* «ergreifen», но др.-англ. *fah* «bunt»; **pei-* «falten», но литов. *spalva* «Farbe»).

Интересна также глосса *niumo.canticum* «Gesang». Древневерхненемецкое слово в этой глоссе соотносится с и.е. **nemos* «moist» (Mann, s.v.). Как показал О. Н. Трубочев (ВСЯ, 1959, 4), переход значений «поить — пить, воспевать» восходит к языческому обряду жертвенного возлияния. Ср. русск. *немой* («застывший в религиозном экстазе»). Типологически ср.: **ghei-* «giessen» — **gei-* «schreien»; англ. диал. *roup* «to drink liquid» — др.-англ. *hrōpan* «schreien».

Встречаемое в древненемецких глоссах семасиологически спорное слово *kebisa* «BuhlDirne» (совр. нем. *Kebsse*), безусловно, соотносится с **kabos* «bend, curve», **kibos* «vessel, container» (ср. литов. *kibiras* «well-bucket», греч. *kibos* «box») > « *vulva*»; ср. лат. *cibus* «еда» (переход «гнуть» > «гореть» > «кормить» > «родить»). Типологически ср.: лат. *volvēre* «drehen, biegen» > *vulva*. Значение «гнуть» соотносится со значением «резать, бить», в связи с чем. ср. англ. диал. *keb, kib, cob* «to beat severely» [ср. **kau-* «schlagen», но **qau-* «Scham» (Walde-Pokorny, S. 330)]. В свою очередь значение «резать, бить» может давать значение «лежать»: ср. лат. *cubo* «to lie». Типологически ср.: др.-в.-нем. (в глоссах) *hlēna* «reclinarium», но *lenna* «Dirne» [ср. польск. *łono* «матка», серб.-хорв. диал. *lānати* «ударять, колотить, бить»; польск. *lanić* «ломать», лат. *lanius* «убийщик скота», *lana* «шерсть» («то, что срезают»), но англ. диал. *clean* «the placenta of a cow, a sheep»⁴. Ср. также русск. *скоблить*,

но русск. *cop*, греч. σκόρ «Kot», лат. *sūra* «Wade», греч. σάρξ «плоть, мясо»; кимрск. *llyg*, ирл. *luch* «мышь», но исл. *slauk* «Schlamm, Lehm», и.е. **lēgh-* «am Boden kriechen; niedrig» (Johannesson, Isl. et. Wb., с. 751); лит. *slankė* «сыпучий песок», блр. *ружа* «суша, твердая земля», ср. также др.-англ. *flicce* «Fleisch», *lic* «тело»; лит. *pelė* «Maus», но др.-сев. *fold* «Erde», др.-инд. *palala-* «Schmutz», лтш. *pele* «fleischige Klumpen im Fett des Viehs», индо-ар. *pālala-* «mud, earth, clay» (Turner, с. 448); др.-инд. *palam* «Fleisch».

⁴ Ср. др.-инд. *bhangā* «weibliche Scham» < **bheg-*, *bheng-* «zerschlagen, zerbrechen» (возможно, сюда же и англ. *bag* «мешок»). Значение «быть счастливым, счастье» также может восходить к значению «резать, делить»: ср. др.-инд. *bhāgā* «Wohlstand, Glück».

нем. *schieben* (типологически ср. нем. *Kamm* — *Scham*, лат. *pecten* «гребень», но *pecten* «Scham»). Наконец, значение «резать» может переходить в значение «быстро двигаться», а это последнее значение может переходить в значение «Dirne»⁵: типологически ср. англ. *harlot* «Dirne», но ст.-франц. *harlot*, *herlot*, *erlot* «бродяга»; англ. сленг *cruiser* «Dirne». К тому же корню, что и др.-в.-нем. *kebisa*, относятся и русское название птицы — *чубис*. Дело в том, что, как показывает фактический материал, названия птиц в многих языках соотносятся со значениями «родить», а также «детородные органы»: ср. русск. *курица*, но болг. *курица* «vulva», осет. *курып* «родить»; англ. *bird* < **bher-* «родить» (ср. англ. *breed*, нем. *brüten*); осет. *арун* «родить», но **er-*, **or-* «(größerer) Vogel überhaupt, Adler»; авест. *marəθ a-*, перс. *murgh* «bird»⁶, но гот. *marzus* «nuptiae»; англ. *сob* «чайка», но англ. диал. *сob* «to like one another», *сob* «testicles»; нем. *Taub* «голубь», но нем. диал. *tübbeln* «küssen, liebkoson», ср.-н.-нем. *toben* «sein Spiel haben mit jemand»; русск. диал. *дыбить* «заботиться, ухаживать», *доб* «избалованный человек»; англ. *fuck* «coire», но нем. диал. *Fucke* «pullet», нем. *Vogel* «птица»,

⁵ Интересно отметить, что слова со значением «(быстро) двигаться» могут принимать значение «бросать» (ср. лтш. *braukt* «ездить», но русск. *бросать*). Значение же «бросать, выбрасывать» нередко переходит в значение «женщина» (букв. «выбрасывающая плод»): ср. 1) швед. *rusa* «davoneilen» — норв. диал. *ruse* «Junge werfen», др.-сев. *pros* «Pfeil», но исл. *dros* «Frau» (ср. гот. *driusan* «fallen»); 2) осет. *suryп* «treiben, sich schnell bewegen», но **sor* «Weib»; 3) **pār-* «fling, scatter»; **preu-* «springen, hüpfen», ср. **reu-eilen*, но нем. *Frau*, 4) англ. диал. *kip* «to hurry», англ. *skip*; «to move swiftly» (**keb-*, **kib-* «to bend»), но др.-в.-нем. *kebisa*, нем. *Kebe* «Hure»; 5) русск. *гнать*, литов. *giinti*, но русск. *женщина* (**gen-* «рожать»), и.-е. *(*sken*(*d*) «reißen» (ср. швед. *skynda* «sich eilen»); 6) русск. *идти, иду*, но др.-англ. *ides* «Frau»; 7) португ. *andar* «gehen», но кельт. **andera* (ирл. *ainder*) «junges Weib».

⁶ Ср. тох. А *tärkwac* «cuisses» < **m̥ʰhu-* «court» (типологически ср.: **per-* «schneiden», но лат. *partio* «gebären»). Ср. вариант: **bh̥gōs* «desire» (авест. *bərəzō* «longing», лат. *suf-frāgor* «vote for»). Ср. также: нем. *Morgen* «утро», русск. *мрак* (типологически ср. русск. *темный*, но тох. А *tām* «рожать»). Ср. греч. *ὄρνις* «Vogel», но *πόρνη* «Dirne, Hure».

ср.-н.-нем. *voge* «Hahnenfleck im Ei», нидерл. *vosken* «breed». Следует отметить, что значение «родить», которое нередко восходит к значению «колено, нога» (ср. **ped-* «Fuß», но лат. *future* «coire», швед. *föda* «рожать», русск. *пимать*), может соотноситься со значением «лицо» > «человек»: лат. *perna* «Hinterkeule von Tieren» (< **persna*, ср. лат. *persona*: об этом слове см. ARW, 1927, Bd. 27); тох. А *arām* «aspect, apparence», но осет. *арун* «to bear a child». С лат. *persona* следует сопоставить др.-англ. *feorh* «Leben, Seele; Person». Отметим, что значение «нога» соотносится и со значением «ласкать, ухаживать»: ср. др.-англ. *leosca* «Leiste, Weiche», но русск. *ласка*; русск. *нога*, но и.-е. **nog-* «to saiole».

Обращает на себя внимание встречаемый в древненемецких глоссах гапак *asōn* «kriechen». Это слово соотносится с **as-* «brennen» (типологически ср. др.-англ. *fulgan* «follow», но лтш. *spulgōt* «brennen»). Отсюда понятны значения «очаг, дом, жилище; род, кровь»: ср. **es-* «sein», **es-* «sitzen», **eis-* «sich heftig bewegen» > «kräftig, heilig»; **es'ar-* «blood». Ср. также осет. *asen* «лестница».

В рецензируемом словаре находим лексему *wāho* «kunstvoll» (expolitus), ср. *wāhi* «schön, zierlich» (dialecticus, laboratus, mansuetus). Насколько нам известно, рассматриваемое слово в настоящее время не имеет этимологии. В связи с этим следует принять во внимание тот факт, что, согласно представлениям древних, корова (ср. лат. *vacca* «корова») считалась небожителем и нередко отождествлялась с небом. Она была символом всего святого, благостного, олицетворяла плодородие, любовь, потомство, семейный очаг, счастье, богатство [7—10]. Ср., с другой стороны, лат. *vacuum* «emptiness, space»: следует иметь в виду, что как значение «пустой» («выгнутый снаружи, но полый изнутри»), так и значение «небо [< («каменный) свод»] часто восходит к значению «гнуть, выгибать» (ср. и.-е. **uek-* «biegen»). Типологически ср.: и.-е. **dhn̥-*, **dhn̥-* «bend, swell», но хет. *dannatas* «empty» (ср. литов. *dangūs* «Himmel», **dheg-* «burn»); и.-е. **em̥tjo* «to bend», но англ. *empty* «пустой»; **pūstos* «swollen, inflated», но русск. *пустьой*. Ср. также: осет. *арв* «cloud, sky», но др.-англ. *arwunga* «gratis» (с осет. *арв* интересно сопоставить форму с преформантом — серб.-хорв. *marva* «cattle»). Значение «небо» может соотноситься со значениями «крыша, свод», а также «сиять, гореть». В этой связи рассматриваемый корень можно сопоставить с литов. *vōkas* «cover, envelope», лтш. *vāks* «lid». С другой стороны, ср. др.-в.-нем. *wehan* «to shine»; гот. *weihs* «heilig»; и.-е. **veg-* «netzen» [связь значений «огонь» — «очищающий ог-

нем) (ср. русск. *свежий*) — «вода»]. Значение «верх, верхняя часть, небо» часто соотносится со значением «резать»: ср. тох. А *wak-⁸* «sich spalten», но инд.-арийск. **ucca-*, **acca-* «tall, high», **acca-* «anything spread out over a considerable space», ср. лат. *vagina* «weibliche Scham». Типологически ср.: греч. *οὐρανός* «небо», но др.-инд. *varṣiyas* «higher»; **tem-* «to cut», но **temu-* «top, height» [ср. **dam-* «bull, stag, beast», но др.-ирл. *dem* «dark» > («cloud, sky»), ирл. *diomhain* «empty»]; и.-е. **kel-* «spalten», но лат. *caelum* «sky»⁷; и.-е. **gei-* «spalten», **geu-* «biegen», но, с одной стороны, **gou-* «Vieh», а с другой — англ. *sky* «небо» (ср. **gau-* «sich freuen», **geis-* «Kies, Stein», **geus-* «genießen, kosten»). В ностратическом плане ср. нем. *Kuh* «корова» и татар. *kuk* «небо, голубизна». Важно отметить, что в древней мифологии небо отожествлялось с деревом [языческое поклонение столбам: ср. гот. *ans* «столб», но др.-сев. *äss* «бог» {7, 8}; др.-англ. *wah* «trabs», лат. *vasetra* «Pfahl», и.-е. **uank-* «Balken» > («membrum virile»)]. Типологически ср.: дат. *kvoeg* «cattle», но лтш. *kuòks* «дерево», др.-сев. *skogr* «лес», а также и.-е. **kuk-* «рожать». Ср. также англ. диал. *wack* «damp, moist»; др.-в.-нем. *wahhar* «bright»; алб. *vaket* «согреваться, подогреваться»; *våkur* «теплый»; осет. *wazal* «cold» < «burn». Ср. авест. *våsis* «fish» (см. ниже); др.-англ. *wescg* «Keil» (> стрелы громовержца); нем. диал. *Wacke* «grober Kies; Teufel» (> «Himmel»); инд.-арийск. **vah-* «arbeiten» (> «zaubern»)⁸. Относительно связи значения «корова» и «небо» (а также «хороший, благостный») ср.: 1) др.-англ. *roðor* «Himmel, Åther», др.-сев. *roðull* «Sonne, Strahlenkranz», но др.-англ. *hriðer* «cattle», ирл. *croð* «cattle» (ср. др.-англ. *herðan* «testiculi», лат. *grēdi*, др.-русск. *гряду* «идти»); 2) лтш. *måkuona* «cloud» > («sky»), но болг. диал. *мака* «скот»; 3) новоирл. *spēir* «sky» (ср. хет. *puruliða* «начало года», серб.-хорв. *piruti* «гореть»), но англ. диал. *pur* «годовалый барашек», (с метатезой) нем. диал. *Riep* «скот» (ср. англ. диал.

pirlie «копилка», русск. диал. *пороз* «бык»⁹); 4) и.-е. **ker-* «schneiden», **ker-* «рогатый скот», **ker-* «рог» (ср. русск. *корова*, лат. *cervus*), но **ker-* «верх, небо» (ср. лат. *caelum*); 5) валл. *wubr* «небо» (ср. инд.-арийск. **ubba* «heat»), но лат. *vibex*, русск. *вепрь*, инд.-арийск. *ibha* «elephant». К тому же корню следует отнести и следующие слова: тох. А *ур-* «делать» (имеется в виду культовое действие) (др.-в.-нем. *uoba* «Feier»; *uob* «Treiben, Sitte», греч. *οἴφω, ὑφω* «futuō», исл. *ofa* «Streitbarkeit»; норв. *ubben* «barsch, hässlich», гот. *ubils* «schlecht», англ. диал. *yobbin* «to cry»; лтш. *viēbt* «sich drehen, biegen», прусск. *wipis* «Ast»; сюда же, видимо, относится и нем. *Weib*, ср. др.-англ. *swi an* «bewegen» (женщина как символ земного в противоположность небу). Ср. др.-англ. *waepen* «membrum virile» (относительно мифопоэтических представлений о связи земли с небом см. ниже); 6) кельт. *erc* «небо» [ср. **erk-* «spalten», литов. *erkoti* «schlagen», др.-инд. *ārcati* «strahlt, lobsingt, begrüßt», гк- «Glanz»; «Gedicht»; арм. *erg* «Lied», тох. А *yark* «Verehrung», хет. *ar-ku-ua-nu-un* «ich betete», др.-в.-нем. *erchan* «recht, echt», др.-англ. *stierc* «Kalb», англ. диал. *stark, stirk*, ср.-в.-нем. *sterke* «junge Kuh»; алб. *stjēre* «junge Kuh»; и.-е. **elk-* «a horned animal» (Mann, s. v.). С кельт. *erc* «небо»¹⁰

⁷ Ср. нем. *Kalb* «теленек», греч. *καλόν* «хороший», литов. *keltuva* «hétail» < «kelti» «to wander, to move», а также ирл. *caill* «wood», русск. *кол* (см. ниже).

⁸ Ср. еще: гот. *aha* «Sinn, Verstand»; и.-е. **axš-* «быть в согласии, в мире»; др.-перс. *axšaina-* «blauschwarz»; гот. *ahaks* «голубь» (типологически ср. русск. *голубь*, *голубой*, *голубить*), осет. *axsyn* «ловить» («гнуть пальцы»), осет. *aexxon* «приятный, угодный»; *axsul* «любящий». Ср. еще: англ. диал. *wakes* «деревенский праздник»; нем. *wachen, wachsen, Weg*; англ. *wages*.

⁹ Ср. также: др.-англ. *hēah-fore, hēah-fru* «junge Kuh» (совр. англ. *heifer*). В отношении первого элемента этого слова ср. англ. диал. *higgs* «white cumuli». Ср., однако, др.-инд. *gauh* «Rind», нем. *Kuh* «корова». С другой стороны, ср. и.-е. **kek-* «to bend», **kikos* «strength, muscle», **kuk-* «gebären» (ср. лтш. *cåkas* «pig»). Вместе с тем ср. лтш. *kuòks* «Baum». Таким образом, перед нами п а р н о е с л о в о, обе части которого имеют идентичное значение.

¹⁰ С кельт. *erc* «небо» можно сопоставить: русск. *изра* (< «культовое действие»), и.-е. **reg-* «Feuer; sich bewegen» (типологически, ср. **pel-* «brennen», но нем. *Spiel* «игра»), греч. *ρεζω* «wirken, Opfer darbringen», лат. *iesur* «печень» [символ жара, жизненной силы в противоположность селезенке, которая символизировала холод и болезненность: ср. болг. *зима* «селезенка»; интересно, что Аристотель называл селезенку «побочной печенью»: ср. лат. *aeger* «illness», русск. диал. *укра* «льдыня» (типологически ср. лат. *pruina* — «pruina»); **uerks* «victimal animal», **erk-* «praise, worship», **uerks* «top»; **sterg-*/**serg-* «care, protection, love». Интересна форма с отрицанием — лат. *niger* (букв. «не очищенный огнем в результате культового действия»). Ср. еще греч. *ιχρον* (языческое почитание столбов),

ср. также: лтш. *ercetius* «сориться»; лтш. *ėrzelis* «a foal», тох. А *pürk-* «se lever»; тох. В *preke* «temps»¹¹ [типологически ср.: др.-англ. *hrīðer* «Rind», но нем. диал. *Hirti* «Zeit»; новоирл. *spéir* «sky», но англ. диал. *spur* «промежуток времени»; ирл. *fecht* «time», но лат. *vacca* «Kuh»; ирл. *laeg* «Kalb», но лтш. *laiks* «Zeit» (ср. лат. *lac* «молоко»; исл. *slaki* «Feuchtigkeit»; польск. *leg* «brood», *legnać* «to hatch out»; др.-англ. *lieg* «Lohe, Feuer»; англ. *lack* «Mangel»; греч. *ληγάω* «futuere»; др.-инд. *rākā* «goddess of fertility»]; ср., с одной стороны, древневерхненемецкую глоссу, приводимую в рецензируемом словаре, *eber. tempus* и тох. А *eprer* «espace aérien» [ср. **ebhros* «damp, wet», **abhros* «powerful, gigantic», др.-инд. *āmbaram* «firmament» (ср. англ. *lamb* «ewe», нем. *leben* «live», греч. *λαβάνειν* «схватить», букв. «гнуть пальцы»: типологически ср. тох. А *çaiyye* «brebis» < *çai* «vivre» < **geu-* «biegen», **g^uiou-* «leben»), арм. *amp* «cloud», кельт. *amb.* «time», др.-в.-нем. *imbe* «bee-hive», лат. *imber* «roof-gutter», англ. *ember* «glühende Kohle», зап.-герм. *imbs* «wine-festival (Mann, col. 19)», а с другой стороны, нем. *Eber* «боров». Ср. рассматриваемым кельтским корнем *erc* интересно сопоставить также: др.-англ. *feorh* «Leben, Seele, Geist», а также литов. *drėkti*, *drėgti* «feucht, naß werden». Ср. еще: и.-е. *(*perk-* «glühende Asche, Kohle», нем. диал. *Irch* «Schuh» («то, что покрывает» < «гнуть»), **perk-* «an oak-tree»; 7) англ. *stag* «олень», но и.-е. **dheg-* (нем. *Tag* «день, свет») «brennen», англ. *sting* «жалить», польск. *tecza* «радуга», русск. *му-ча* (ср. **tēgo* «cover», **teiko* «coagulate», **teng-* «hard, firm», **teke-* «earth»); 8) швед. *mōln* «cloud», но др.-сев. *smali* «Kleinvieh», греч. *μῆλον* «Kleinvieh»; арм. *mal* «Schaf, Widder», н.-франкск. *mala* «Kuh». С другой стороны, интересно, гот. *milhma* «cloud», чеш. *mlaha* «Pfützle», греч. *μυχλη* «Nebel», которые можно сопоставить с с нем. *Milch*, англ. *milk* и др. (речь идет о молоке «небесных коров»). В этой связи интересно сравнить литов. *dangūs* «sky», др.-сев. *dogr* «Tag oder Nacht», но ирл. *dedel* «she-calf»; ср. валл. *da* «скот» (ср.

лат. *ager* «поле» (место культового действия), кельт. *trigio* «Musik». Ср. греч. *ἱχθὼρ* «Götterblut».

¹¹ Как значение «время», так и значение «корова» соотносятся со значением «двигаться» (< «гнуть»): ср. литов. *kėlti* «sich bewegen» — *kėltuva* «cattle»; лат. *vacca* «Kuh», но лат. *vehō* «sich bewegen», ср. англ. *welkin* «sky» (относительно выпадения срединного -l- ср. алб. *helk'*, *hek'* «ziehe»); нем. диал. *Riep* «Vieh», но англ. *trip* «путешествие».

**dheg-* «to burn», литов. *deŋgti* «to hide, to conceal»; с другой стороны, ср.: нем. *zünden* «to set fire», англ. диал. *dyd* «a breakfast»; англ. *stud* «a herd of horses», нем. *Stute* «mare»; англ. *stunt* «a showy performance» < «burn, glitter, shine»; тох В *tute* «yellow» < «burned»), но осет. *dū-cyn* «доить», перс. *dōg* «кислое молоко», др.-инд. *doh-* «доить». Ср. также русск. *дождь* (мифопоэтический образ: дождь как молоко «небесных коров»). Ср. др.-инд. *dhenā* «Milchkuh» (ср. **dhen-* «covering, cover, top», **dhen-* «forehead», ирл. *dine* «age, generation», **dhenus* «bend, bow» — Mann, s. v.); 9) и.-е. **sneudh-* «Gewolk, Wolke, Regenwolke», но **neud-* «Stück Rindvieh» (др.-англ. *neat* «cattle», др.-сев. *naut* «Stück Vieh», др.-сакс. *notil* «Kleinvieh»); 10) др.-англ. *heofon*, *hefon* «sky», но др.-англ. парное слово *hwyr-orf* «телка» (ср. др.-англ. *hiew* «Erscheinung, Farbe, Schönheit»¹², др.-англ. *hiwian* «heiraten», др.-инд. *séva-* «freundlich, lieb, wert»). Ср. также англ. диал. *kip* «an overgrown calf», нем. *Schaf* «баран», киргизск. *ceffyl* «horse», др.-в.-нем. *keric* «reich» [ср. и.-е. **kep-* «to bend, bind», **kop-* «to amass»; др.-англ. *scēapan* «schaffen, machen» (> «zaubern»)]. Ср. также: исл. *hoefir* «Deckstier», норв. диал. *hiva* «decken (von Stieren)»; *haefr* «brauchbar, nützlich». *hav* «Besitz»; и.-е. **kep-* «to bend», **kop-* «to amass». Со всеми этими словами интересно сопоставить осет. *kəf* «рыба». Дело в том, что согласно представлениям древних, о б л а к а (они персонафицируют то или иное божество) за грехопадение (прелюбодеяние) обычно превращались в рыбу [7]. В этой связи следует отметить, что рыба — фаллический символ, означающий

¹² Типологически ср.: лтш. *gaisš* «glänzend», *gaiss* «Luft» (> «Himmel»). Ср. и.-е. **geis-* «Stein, Kies» (> «Himmel»). Ср. нем. диал. *Giesen* «Fisch» (см. ниже). К тому же корню относятся и осет. *kusyn* «работать, трудиться» (> «совершать сакральное действие»), гот. *unskaus* «sober» (букв. «праздничный» > «религиозный экстаз»; типологически ср.: норв. *rusull* «nachlässig», исл. *trassa* «versäumen», но русск. *трезвый*; англ. диал. *to noch* «to tire, to exhaust», но нем. *nüchtern*).

Ср. еще примеры соотношения значений «корова, баран» — «небо»: и.-е. **u_e-ren-* «Widder, Schaf, Lamm», но греч. *οὐρανός* «Himmel»; **agh-* «Rind, Kuh», но **aghl(u)-* «dunkle Wolke, regnerisches Wetter», литов. *ūkas* «Nebel», но нем. *Ochs* «бык». Ср. др.-ирл. *cioth* «shower, downpour», но англ. *hind* «лани»; литов. *gaidra* «wolkenloser Himmel», но **ghaido-* «Ziegenbock»; **k'em(nd)* «young deer», но гот. *himins* «Himmel».

сексуальную (а также и физическую) потенцию [ср. др.-англ. *Wrt. Voc.* 33, 16, *turenulas. bol* «an eel», но др.-инд. *bala-* «сила», ср. англ. *bull* «бык», *blue* «голубой», др.-англ. *bel* «Feuer, Brand»; **pes(k)-* «fish», но лтш. *spēks* «strength», ср. лат. *pecus* «скот»; и.-е. **k'amos* «a fish», но англ. сленг. *come* «мужская сила, семя», и.-е. **kat-* «страстно желать; вождение», а с другой стороны, нем. *Himmel* «небо», *Hammel* «баран», др.-англ. *haeman* «to copulate», ср. греч. *καός* «young deer»; русск. *рыба*, но др.-англ. *rof* «stark, tarfer»; др.-в.-нем. *riba* «Hure», лат. *tribus* «племня», инд.-арийск. *rubheti-*, *gorupa-* «fog, cloudy weather»; др.-англ. *ropp* «intestine» (ср. переход значений «кишки» — «смелость»: англ. *guts* «кишки», но также «смелость»; *pluck* «погрохать», но также «смелость»)]. Ср. кельт. *spēir* «небо», но англ. диал. *piering* «a worm; a fish»; *Riep* «Vieh», но русск. *рыба*; др.-англ. *faecc, facg* «камбала», но лат. *pecū* «скот», др.-в.-нем. *spahha* «membrum virile»; англ. *perch* «окунь», но кельт. *erc* «sky»; русск. *скот*¹³, но англ. *cod* «треска» [ср. русск. диал. *кут* «угол», русск. *скутаться*, букв. «гнуть ноги», нем. *Chutt* «Biegung, Haufe» (типологически ср. англ. *cloud* «облако», но *clod* «комок»)]. Необходимо привлечь во внимание следующие материалы: 1) и.-е. **pes-k* «fish», но **pes-* «membrum virile» (лат. *penis* < **pes-nis*)¹⁴; 2) **ghdu-* «fish», но ирл. *goithim* «to copulate» [ср. греч. *ιχθός* «рыба», швед. *gedda* «щука», лат. *future* «coire», др.-англ. *gād* «Stachel, Spitze»; **geidh-* «desire, long for», **gedh-* «binden»: ср. др.-англ. *gadrian* «verbinden» (> «coire»), тох. В *kācc* «sich erfreuen»]. Корень **ghdū-* «рыба» как олицетворение облаков, неба (примечательно англ. диал. *gad* «a small rainbow in the horizon portending bad weather») соотносится с **gh(ð)em* «земля» (мифопоэтический образ неба, рождающего землю): ср. литов. *ginti* «gebären»; типологически ср.: русск. *рыба*, но исл. *rofa* «Bezeichnung der Erde», др.-англ. *ropp* «intestine» (семасиологическое развитие: «кишки, живот» > «рожать»). Можно полагать, что корень **gou-* «Vieh» соотносится с **ghdū-* «Fisch», **g^ua-*, **g^uem-* «gehen, kommen» (ср. **ghei-* «to pour», **gei-* «to cry, to sing»). Интересно использование рассматриваемого корня со значением «разбрасывать» > «разбрасывать семя, рождать, порождать»: **ket-* «pour, shed» (Mann, col. 495); **gheid-*

«acquire, get»¹⁵; англ. диал. *gad* «a troop or band», тох. А *kāt* «répandre, disséminer», *katu* «bijou» (типологически ср. тох. А *pārsānt* «bijou», но *pārs-* «argroser»), ср. новоирл. *spēir* «небо». Ср. еще: русск. *кидать*, англ. диал. *to kid* «to render pregnant». Следует отметить, наконец, что рыба рассматривалась как хтоническое существо (ср. русск. *gad* «пресмыкающееся», литов. *gėda* «стыд», англ. *scathe* «портить»); 3) др.-инд. *matsya* «рыба», др.-англ. *maðe* «Wurm», но авест. *mid* «to copulate», ср. нидерл. *maat* «друг, товарищ» («тог, кто вместе»), *maatschapje* «общество», англ. *mate* «друг»: типологически в ностратическом плане ср.: араб. *samak* «рыба», но и.-е. **sem-* «соединяться, собираться вместе» (> «coire»); ср. выше др.-англ. *gadrian* «to be together» (> «coire»). С др.-инд. *matsya* ср. также арм. *matn* «finger» (> «penis»); лтш. *mats* «hair» (> «force, might») (> «intestines, belly») (> «to bear a child»)¹⁶; литов. *matyti* «to see» (< «to shine, to glitter»); ср. гот. *mats* «еда» (типологически ср.: англ. *food* «еда», но швед. *f.da* «рожать»); и.-е. **mad-* «паф» > «Wolke; Nebel; Himmel»; 4) русск. *рыба* соотносится с русск. *рубить* (> «coire»), англ. *to rub* «тереть». Типологически ср.: *(*sken-* «greißen», но **gen-* «gebären»; **er-* «trennen, schneiden», но осет. *arun* «gebären»). С русск. *рыба* ср. также: нем. диал. *Repel* «Klotz» (> «membrum virile»); лтш. *rūps* «забота, хозяйство» (> «очаг, семья»), нем. *streben* «стремиться, домогаться»¹⁷, нем. диал. *rebisch* «игривый», «похотливый», *reben* «двигаться». Ср., кроме того, брл. *српон* «крыша, потолок», болг. *српон* «чердак», лат. *rūpēs* «steile Felswand», ср. исл. *robbi* «dickes Schaf», а также русск. *рыбой* [≈ «яркий (о небе)»; англ. *shrub* «куст»; и.-е. **rob-* «strong» (Mann, col. 1083); англ. диал. *rib* «a seed furrow»; англ. *rife* «abundant»; ср. лтш. *riebt* «grachen; zaubern (eine Krankheit)», *riebums* «loathing», литов. *riebūs* «Fett»; лат. *robur* «tree»; нем. *Tropfen* «drop of liquid»; лтш. *strops* «кулей»; нем. диал. *Riep* «скот»; 5) ср. приводившиеся выше лтш. *mākuona* «облако», болг. диал. *мака* «скот», но перс. *māhī* «рыба»; 6) ср. ирл. *menn* «козленок», брет. *тун*, но др.-инд. *mināh* «fish» (ср. кельт. *nem* «sky»).

Еще примеры на переход значений «небо» — «скот, корова» — «рыба»: осет.

¹⁵ Ср. вместе с тем греч. *κίχτημαι* «own, possess», *κτάσθαι* «get», но новогреч. *κτήνη* «cattle»; ср. **keto-* «hide, cover»; «spread out, stretch» (Mann, s. v.).

¹⁶ Типологически ср. др.-англ. *rupe* «hair», но русск. *рыба*.

¹⁷ Ср. типологически англ. диал. *to fish* «стремиться, домогаться».

¹³ Ср. греч. *σκότος* «Dunkel».

¹⁴ Ср., с другой стороны, др.-инд. *aśman* «Himmel», лат. *pecū* «Vieh»; арм. *ezn* «Ochs, Kalb», но *azn* «Geschlecht».

got «cattle», но нем. *Himmel*; ср. далее лат. *stella* «звезда», инд.-арийск. *tal* «блестеть, сверкать, сиять», но русск. *теленки*, нидерл. *telen* «gebären» (ср. лат. *tellus* «земля»). Ср. связь лат. *stella* — *terra* «земля» (см. выше); хет. *nepis* «sky», греч. *νεπός* «sky», др.-инд. *nabh-* «moisture, mist», но исл. *hnyfill* «kurzes abgestumpftes Horn, Lamm mit solchen Hörnern», норв. диал. *nyvel* «kurzes Horn», ср. англ. диал. *nep* «the pudendum of a sow». Ср., кроме того, и.-е. **al-* «гореть, сиять, сверкать» (> «кормить, рожать»), **el-* «гнуть» > «(небесный) свод», **uel-* «хотеть, домогаться», но новоирл. *eallaeh* «cattle» (ср. корень **al-*, **el-* в ирл. *indile* «cattle, property»: *ind-* «in»). Ср. валл. *enil* «gain, profit» (к тому же коноу относятся: арм. *alam* «mahle», ирл. *alad* «bunt»). Русское диалектное слово *альня* «корова», видимо, является парным словом, состоящим из предыдущего корня и корня, представленного брет. *loened* «Vieh» (ср. др.-инд. *lanati* «schneiden», **lounos* «hidden», **klonos* «bend», англ. диал. *clean* «the placenta of a cow»).

Интересно, наконец, сопоставить и.-е. **lāp-* «Kuh» (алб. *lorë* «Kuh», лтн. *luōps* «Vieh», нем. диал. *Loobe, Lor* «Kuh») и **lep-* «Stein» (> «Himmel»), ср. русск. *слепой* (переход «свет» > «мрак», мгла, туман): ср. литов. *lorė* «Licht, Brand»). С другой стороны, ср. русск. *лоб*, др.-в.-нем. *lob* «крыша, свод», нем. *Luft* «воздух» (ср. англ. диал. *to lib* «to cut», нем. диал. *luppen* «schneiden»). Отметим, что в ряде случаев один и тот же корень может обозначать как корову, так и растительность, которой она питается: ср. лат. *fenum* «hay» — др.-инд. *dhenā* «Kuh»; лат. *herba* «Gras» — и.-е. **ker-* «green sprouts of trees; a bush», но **ker-* «a cow» (ср. с этим, с одной стороны, русск. *заря*, литов. *žerėti* «блестеть», н.-луж. *zoŕa* «зарено», а с другой — серб.-хорв. *šaran* «карип; ядовитая змея»); лат. *vacca* «Kuh», но тох. *A oko* «Frucht», *okar* «Pflanze»). Важно сопоставить: греч. *μβόχος* «junger Kuh, junger Stier, Kalb», но греч. *μβόχος* «Pflanzentrieb, Schößling» (ср. лтн. *mazgs* «узел; гнуть»; и.-е. **meregh-* «benetzen, regnen»; русск. *мрак*; ср. также англ. диал., англ. сленг *to mosk* «to rawn»); греч. *βοτόν* «Weidevieh», но βοτάνη «Fütterkraut, Gras». Ср. еще: **get-*, **at-* «year, period», но лат. *vitulus*, а с другой стороны, гот. *atisk* «grass» (со всеми этими словами следует сопоставить лтн. *vieta* «место»: относительно соотношения значений «время» — «место» ср.

брет. *lec'h* «place» — лтн. *laiks* «time», литов. *metas* «time» — русск. *место*; ирл. *baile* «place», но англ. *spell* «time»; греч. *ώρα* «время», но ирл. *airm* «place»; гот. *mel* «время», но лтн. *mala* «Ufer; Gegend» [11].

Рецензируемый словарь древневерхне-немецких глосс является большим вкладом в изучение спорных и редких лексем и значений в древнегерманских языках: отныне в руках исследователя имеется надежный справочник, дающий возможность быстро найти соответствующее слово. Было бы, однако, весьма желательно при последующем переиздании словаря включить в него латинско-древневерхне-немецкий указатель, указатель древневерхне-немецких синонимов в глоссах (семантические группы), а также провести филологический и семасиологический анализ хотя бы наиболее спорных лемм и глосс.

Маковский М. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Die Althochdeutschen Glossen. Bd. 1—5 / Hrsg. von Sievers E. und Steinmeyer E. Berlin, 1879—1922.
2. Diefenbach L. Glossarium Latino-Germanicum. Frankfurt-am-Main, 1857.
3. Tiefenbach H. // Beiträge zur Namenforschung, 1980. 25. S. 69 ff.; 1982. 17. S. 71 ff. Rec: Althochdeutsches Glossenwörterbuch... von Taylor Starck und J. C. Wells. Heidelberg, 1974—1987.
4. Clark Hall, Meritt H. D. A concise Anglo-Saxon dictionary. 4-th ed. Cambridge, 1964.
5. Wood F. How are words related? // IF. 1905. XVI. Hf. 1—2.
6. Karstien H. Infixe im Indogermanischen. Heidelberg, 1972.
7. Gubernatis A. de. Zoological mythology. L., 1872.
8. Puhvel J. Comparative mythology. Baltimore — London, 1987.
9. Clemen C. Chr. Fontes historiae religionum primitivarum, Praeindogermanicarum, Indogermanicarum minus notarum. Bonn, 1936.
10. Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique. V. 1—2 / Sous la direction de Bonnefoy Y. P., 1981.
11. Dalamarre X. Le vocabulaire indo-européen: Lexique étymologique thématique. P., 1984.

Выход в свет обширного труда *Wogulisches Wörterbuch* является важным событием в истории изучения мансийского (вогульского) языка и финно-угорской лексикографии в целом. Не вызывает удивления, что этот словарь издан именно в Венгрии. Как известно, научное исследование языка народа манси впервые было начато венгерскими учеными в середине прошлого столетия. Первым языковедом, побывавшим у манси, был Антал Регули, приезжавший в Россию для поисков языков, родственных венгерскому. С одобрения Российской Академии наук Регули выезжает на север Западной Сибири и проводит среди манси год (1843—1844 гг.). За это время он проходит почти всю огромную территорию расселения манси, собирает богатый лексический материал, записывает тексты (в основном у носителей лозьвинских, пельмского и северных диалектов) и составляет подробную для того времени карту Северного Урала, которая была издана в 1846 г. в Петербурге [1]. А. Регули вернулся на родину больным и вскоре скончался, не успев приступить к обработке своих записей. Часть его рукописного наследия, в том числе тексты по северному наречию, была обработана и опубликована Палом Хунфалви [2]. Тексты же по другим диалектам оставались нерасшифрованными. Это обстоятельство побудило другого известного венгерского лингвиста Берната Мункачи предпринять поездку к манси. Он провёл среди манси почти год (1888—1889 гг.), сумел перевести на венгерский язык все тексты А. Регули и сам собрал богатейший фольклорный материал у представителей различных мансийских территориальных диалектных групп.

По возвращении в Венгрию Б. Мункачи приступает к обработке текстов и в 1892—1896 гг. издает четыре толстых тома собраний мансийского фольклора [3]. Первый том, состоящий из двух частей, посвящен легендам, мифам о возникновении мира и жизни на Земле... Вторая часть тома включает этнографические сведения и лингвистические толкования мансийских слов и различного рода комментарии о мансийском устном творчестве и мировоззрении (этот том издан в 1892—1902 гг., объем — СДІV + 291 с.). Второй том содержит обрядовые произведения «Героические песни о древних предках манси» (1892, 756 с.) К этому тому также даны толкования мансийских слов и комментарии к текстам (изданы они в двух частях — 1892—1921 гг., 772 с.). В третьем томе (1894 г.,

539 с.) опубликованы «Медвежьи песни», относящиеся к обрядовым произведениям и исполнявшиеся во время медвежьего праздника. Четвертый том посвящен лирическим песням манси (1896 г., 440 с.), которые составитель называет еще «Песнями судьбы».

В названных выше трудах Б. Мункачи представлено богатейшее устное творчество народа манси, собранное в различных районах их расселения. Тексты сохраняют диалектное состояние мансийского языка в прошлом столетии. Так, в них отражено: 1) северное наречие, в котором Б. Мункачи выделяет сыгвинский, сосьвинский, верхнеозьвинский диалекты; 2) западное наречие, делящееся на диалекты: среднеозьвинский, нижнеозьвинский, пельмский, вагильский; 3) восточное наречие, или кондинское, в нем выделены верхнекондинский, среднекондинский и нижнекондинский диалекты; 4) южный, или тавдинский, диалект.

Параллельно с обработкой текстов Б. Мункачи подготовил и опубликовал «Краткий очерк грамматики» шести основных диалектов мансийского языка: северного, среднеозьвинского, нижнеозьвинского, пельмского, кондинского и тавдинского. В очерке достаточно полно представлены парадигмы склонения имен существительных, спряжение глаголов и объяснения к ним [4], см. также [5].

Из перечисленных выше диалектных групп северное наречие и поныне еще является средством общения, частично и некоторые кондинские манси пользуются родным языком в быту. Носители таких диалектов, как среднеозьвинский, нижнеозьвинский, пельмский и тавдинский, полностью утратили родной язык как средство общения, они ассимилированы соседними народами и пользуются в основном русским языком.

К последним двум томам текстов Б. Мункачи не успел сам подготовить и издать комментарии. Этот труд после его смерти взял на себя другой венгерский ученый, финно-угровед с мировым именем акад. Бела Кальман. Анализ и комментарии к III тому текстов выходят в свет в 1952 г. (436 с.), к IV тому — в 1963 г. (314 с.).

Кроме того, на основе фольклорных текстов Б. Мункачи он составляет на венгерском языке первую вузовскую хрестоматию [6] и одновременно усиленно работает над завершением мансийского словаря, оставленного Б. Мункачи в рукописи, систематизирует и дополняет его. Через несколько десятков лет в свет выходит труд двух великих венгерских

ученых Мункачи — Кальмана: *Wogulisches Wörterbuch* «Словарь вогульского (мансийского) языка». Это первый научный словарь мансийского языка, поскольку до сих пор издавались лишь отдельные словники или небольшие школьные словари объемом всего в несколько тысяч слов. Рецензируемый словарь составлен на основе текстов, записанных Б. Мункачи, но дополнен лексическими материалами, собранными Б. Кальманом в 1957—1958 гг. и 1968 г. среди студентов манси ЛГПИ им. А. И. Герцена [7]. Словарь охватывает слова мансийских диалектов: кондинского наречия (К) с его верхнекондинским (КО), среднекондинским (КМ), нижнекондинским (КУ) диалектами, среднелозьвинского (LM), нижнелозьвинского (LU), северного (N) с его сосьвинским (So) и сыгвинским (Sy) диалектами, пельмского (P), тавдинского (T). В основной словарной статье представлены все диалектные варианты мансийского слова, с указанием диалектов, ср., например: *kwons* (*kwoss*) [*kos*] N, LM *kwäns* (*kwäs*) ~ *kwäšš*, LU *kwäns*, P *kwäns* (*kwäs*), K *kwäns* (*kwäs*), T *kunš* ~ *khunš* *kögöm*; *karom*; (N *még*) *marék* / Nagel; Klau; ... (с. 239).

Из перечисленных выше шести основных диалектов четыре из них — тавдинский, пельмский, среднелозьвинский и нижнелозьвинский — полностью утрачены, слова со знаками T, P, LM, LU не бытуют в современном мансийском языке.

В этом словаре, как и в текстах, изданных в Венгрии и Финляндии, используется научная общепинноугорская фонологическая транскрипция, созданная еще в прошлом столетии на основе латинской графики, правильно отражающей звучание текста. Мансийские слова зафиксированы исключительно точно, в них отражены все специфические звуки языка в том виде, как они звучали в живой речи. Словарь охватывает лексику всех диалектов мансийского языка, существовавших еще в прошлом столетии. При раскрытии значений слов указывается язык-источник, из которого заимствовано слово.

Словарь отражает лексику многосторонней культуры народа манси, он нужен и полезен не только языковедам широкого профиля — диалектологам, этимологам, компаративистам, топонимистам и фольклористам, но и историкам и этнографам, он необходим и при составлении исторической фонетики мансийского языка. По своей сути это — историко-диалектологический словарь с этимологическими экскурсами.

Композиция словаря следующая: Предисловие — на немецком (с. 6—14) и венгерском (с. 15—20) языках. В нем говорится, какие источники послужили

основой данного труда, какая система гласных была применена в них и какая использована в этом словаре (с. 9). Особо выделяется система гласных первого и перерого слогов, даются пояснения относительно обозначений гласных в записях Б. Мункачи (с. 10—11) и внесенных в словарь уточнениях.

Заглавные слова вместе с диалектными вариантами расположены в алфавитном порядке и снабжены переводами на венгерском и немецком языках. Словарные статьи насыщены богатейшим фразеологическим материалом с пометой соответствующего диалекта и даны в переводе на немецкий язык. Диалектные варианты слов выведены в отдельную статью со ссылкой на заглавное слово, где они приводятся и сопровождаются примерами из источников.

В конце словаря помещены указатели немецких (с. 747—839) и венгерских слов (с. 841—950) со ссылками на соответствующие страницы корпуса словаря.

Словарь, составленный учеными Мункачи—Кальманом, весьма богат по содержанию и охватывает все диалекты мансийского языка. Такие диалекты, как северные и южные, западные и восточные, существенно отличаются друг от друга: их носители размещались по отдаленным друг от друга речным системам, разъединенным непроходимыми болотами и дремучими лесами, и поэтому зачастую без специальной подготовки при общении не понимают друг друга.

Словарь по структуре тщательно продуман, материал его компактно и стройно изложен, точно зафиксирован лексический и фразеологический текст. Работа полиграфически сложная, но весь словарный набор сделан исключительно точно. Рецензенту не удалось обнаружить каких-либо опечаток. Хотелось сделать лишь одно маленькое замечание. С нашей точки зрения, глаголы префиксального происхождения и глаголы со значением «процесса протекания действия» (многократные, длительные, мгновенные, нейтральные, глаголы со значением «действие совершается иногда», «действие началось» или «начиналось и прекратилось», «действие повторилось лишь один раз») в словаре представлены ограниченно. Отмеченная неполнота лексики языка ни в коем случае не умаляет высоких достоинств этого ценного и столь необходимого для финно-угроведов труда. Словарь, несомненно, станет настоящим пособием для всех специалистов, занимающихся исследованием мансийского и других финно-угорских языков. Этот словарь, как и все предыдущие работы венгерских языковедов, — плод высокой компетентности и высокой лингвистической

культуры ученых, занимающихся изучением малоизученных конкретных языков.

Ромбандеева Е. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ethnographisch-geographische Karte des nördlichen Ural Gebietes entworfen auf einer Reise in den Jahren 1844—1845 von Anton Reguly. S.-Peterburg, 1846.
2. Hunfalvy P. A vogul föld és nép. Pest, 1864.

3. *Munkácsi B.* Vogul népköltési dyűjtemény. I—IV. Bp., 1892—1896.

4. *Munkácsi B.* A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve // NyK. XXI—XXIV. 1890—1894.

5. *Munkácsi B.* Ugor füzetek. Bp., 1894. 11 szám.

6. *Kálmán B.* Manysi nyelvkönyv. Bp., 1955.

7. *Kálmán B.* Wogulische Texte mit einem Glossar. Bp., 1976.

Етімологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ: Наукова думка, 1985. 253 с.

Рецензируемый «Этимологический словарь летописных географических названий Южной Руси» — оригинально задуманное, тщательно выполненное и весьма своевременное издание. Авторы труда (И. М. Железняк, А. П. Корсапанова, Л. Т. Масенко и А. С. Сtryжак) сознательно пошли на ограничение источников словаря древнерусскими летописями до XIII в. включительно, не выходя при этом, как можно видеть по названию книги, за определенные географические границы, однако установленные таким образом рамки исследования никак нельзя назвать узкими. Поскольку словарь включает множество географических названий, которые сохранились и в более позднее время (среди них такие важные с этимологической и этнолингвистической точек зрения, как *Дыбръ*, *Какалы*, *Кыевъ*, *Половци*, *Русь* и мн. др.), новый труд украинских ученых не только содержит подробные и полные сведения о древнерусской ономастике, но часто оказывается и незаменимым подспорьем для специалистов по восточнославянским географическим названиям в целом.

Структура словаря и словарных статей хорошо продумана [1], что, конечно, облегчает пользование книгой. В сущности, перед нами не обычный этимологический справочник, а словарь историко-этимологического типа, сообщающий о каждом географическом названии богатую и разнообразную информацию: название в его древнерусской форме, локализацию соответствующего географического объекта (или объектов), современное название того же объекта (с вариантами), летописный материал с подробной документацией, этимологические сведения.

К достижениям авторов безусловно следует отнести этимологическую разработку

словарных статей. В этимологической части статьи с большой полнотой и, вместе с тем, ясно и лаконично реферированы этимологии данного географического названия, предлагавшиеся в научной литературе. Иногда этимологические справки довольно кратки (а в некоторых случаях, когда географическое название вообще не привлекало внимания этимологов, вообще отсутствуют), но в ряде случаев они занимают по несколько страниц и живо рисуют былые и нынешние споры этимологов о происхождении гидронимов и топонимов, имеющих ключевое значение для древнейшей истории восточного славянства.

Этимологический раздел каждой словарной статьи обычно включает и мнение авторов словаря. Иногда при этом предлагается новое и оригинальное решение проблемы; в других случаях авторы принимают, с теми или иными оговорками, одну из предложенных ранее этимологий. Понятно, что выбор оптимальной этимологии из ряда уже существующих часто требует от исследователя не менее тонкого и взвешенного подхода, чем разработка самостоятельного объяснения. Поэтому мы можем с полным правом сказать, что, осуществляя этот выбор, составители словаря решают сложнейшие этимологические проблемы, — и решают, как правило, удачно. Вместе с тем авторы правы и тогда, когда оставляют некоторые географические названия без этимологического объяснения, не умножая тем самым и без того длинный список гадательных ономастических этимологий.

Из большого числа удачных толкований достаточно выбрать несколько примеров, иллюстрирующих работу авторов. Анализируя летописные свидетельства, содержащие гидроним *Богъ* как назва-

ние современной Орели (л. Днепра), авторы приходят к неожиданному, но совершенно убедительному выводу о том, что это «псевдогидроним, возникший вследствие замены пропущенного [гидронима] *Угъль* контекстуально близким теонимом *Бъ* (*Богъ*)» (с. 24). Кажется весьма вероятным, что топоним *Вьяхань* (с вариантом *Вьяхань*) представляет собой посевсив на *-ъ от антропонима тюркского происхождения (с. 40). Как окончательное следует принять объяснение названия брода *Инжирь* в связи с турецк. *hınçır* «поганый, гадкий» (с. 64). Правдоподобна тюркская этимология личного имени *Мелтекъ*, лежащего в основе названия села *Мелтеково* (с. 88). Неоспоримо истолкование топонима *Саковъ* как посевсива на *-овъ от засвидетельствованного личного имени *Сакъ*; последнее попутно объясняется как преобразование календарного имени *Иса(а)къ* (с. 129).

Среди этимологий есть и некоторые объяснения, детали которых нуждаются в поправках и дополнениях.

Боловесь (с. 22): в словаре это название (неясно, топоним или гидроним) объясняется как сложение др.-русск. *болъи* «большой, сильный» и *вьсь* «деревня» (альтернативное толкование второй части из укр. диалект. *фоса* «ров» <лат. *fossa* тж. анахронично и потому не требует подробного рассмотрения). Поскольку формант *-ес(а)* типичен для балтизмов на восточнославянской территории [2, с. 155], для *Боловесь* не исключается балтийская этимология, ср. литов. *Bálvis* [3, с. 57]; к той же балтийской основе восходит, вероятно, днепровский гидроним *Бол(ь)ва* [2, с. 177].

Водава (с. 32): конъектура **Володава* кажется излишней, поскольку на украинской территории известен гидроним *Водава* [4].

Ворьгъль (с. 35): надежная этимология у этого гидронима отсутствует. Нам представляется весьма вероятным его балтийское происхождение, на что указывают точные цельнолексемные соответствия — литов. *Vargūlis* (название болотистого леса) [3, с. 363], имя *Wargullo* и их прусские параллели [5].

Вѣрневъ (с. 40): неясно, следует ли опираться на этот вариант или на другую форму — *Черневъ*. Думаем, что второе предпочтительнее ввиду того, что топоним локализуется поблизости от урочища *Чернеицъ лѣсъ*.

Гълта (с. 47): предлагаемое в словаре объяснение из слав. **glъtati* основывается на параллелизме в словообразовательных отношениях *Гълт(е)а* : **glъtati* — **ъгъtiva* : **ъgtii*, однако в деривационном плане у этих пар нет ничего общего. Если

в принципе принимать славянскую этимологию для этого гидронима, его источником будет точнее считать слав. **glъta*, **glъtva* при словенском названии реки *Goli* ~ *golt* «пасть, глотка» [6].

Золотька (с. 62—63): объяснение из **зола* + *теча* имеет народно-этимологический характер, несколько более вероятно толкование данного гидронима как посевсива на *-ъ от личного имени **Золотька*, однако последнее все-таки не засвидетельствовано. Полезной аналогией может служить гидроним *Солотча/Солодча* в бассейне Оки [7, с. 124]. Независимо от того, какой из вариантов считать исходным, другие названия в Поочье (*Солотка*, *Солотки* и, что особенно важно, *Солота*, заставляющее связать всю эту группу с *солоть* «топь, слякоть») подсказывают членение *Солот-(ъ)ча*. Вероятно, аналогично членится и *Золотьчя*, суффиксальное производное от прилагательного *золотой*.

Крыровъ (с. 74): авторы предлагают конъектуру **Крылов(о)*, которая была бы правдоподобна, не будь известна сходная с *Крыровъ* форма *Кругу* в бассейне Варты [8]. Это обстоятельство заставляет принимать форму *Крыровъ* как исходную — дальнейшие попытки дать ей объяснение встречают серьезные трудности.

Лековная (с. 81): предлагаемая интерпретация этого названия урочища как прилагательного на -ън- от антропонима вызывает сомнения, прежде всего в словообразовательном плане. Более вероятно, что *Лековная* соотносительно с др.-русск. *лѣковати* «лечить», *лековый* «требующий лечения» [9].

Осколь (с. 96): в словаре (с некоторыми сомнениями) принята тюркская этимология этого гидронима: **Аз кол* «сто притоков» [10]. Между тем нет никаких серьезных оснований предпочесть это толкование более старому, не без оснований отождествляющему *Осколь* с русск.-церк.-слав. *осколь* «скала» [11]. Эта этимология, принадлежащая М. Фасмеру, авторами почему-то не упоминается.

Пьсьль (с. 113): сравнение с адыг. *пс(ш)* «вода» не внушает доверия так же, как и обращение к постратической реконструкции **p'isla* «брызгать» + *-л, суффикс прилагательных. Кстати, одно противоречит другому, поскольку адыгский определенно не является ностратическим языком. Старое толкование из **ръсьль* как производного **ръсь* (аналогично **козьль*, **орьль* и с учетом притока *Псла* — *Псинка*) кажется на этом фоне значительно более убедительным и обоснованным.

Сапожьнь (с. 129—130): объяснение этого топонима как посевсива от личного имени **Сапожьнь* не может быть принято,

поскольку реконструированный таким образом антропоним противоречит нормам древнерусского словообразования. Правильное членение — *Сапог-ынь*, ср. топоним *Сем-ынь* с тем же суффиксом *-ынь*.

Съверъ (с. 153—154): весьма убедительным остается сближение этого областного и племенного названия с гидронимом *Сава/Съвъ*; последний бесспорно продолжает пран. **s(y)āwa-* «черный» [2, с. 226 с литературой вопроса]. В то же время нет полной ясности относительно финали *-еръ* в *Съверъ*. В ней можно усматривать такой же суф. **-ra-*, как в осет. (прон.) *swar* «минеральный источник» < **srāwa-ra*, *bazyr* «крыло» < **bāzu-ra-* и т. п.

Ушя (с. 168): возможно, при этимологии этого гидронима следовало бы учесть др.-руск. *ушь* «вид чертополоха»; в семантическом плане ср. гидроним *Рейка* в Поочье [7, с. 28].

Высокое качество рецензируемого труда представляется нам бесспорным: этимологический талант и эрудиция совмещаются в нем с кропотливой обработкой материала. Тем досаднее многочисленные опечатки и мелкие погрешности, встречающиеся в издании. Справедливости ради, следует сказать, что большая часть опечаток — целиком на совести полиграфистов (это относится, например, к греческому набору). Однако ряд опечаток и незначительных ошибок мог быть исправлен независимо от того, где набиралась книга, например: «др.-руск. *депева...* из общеслав. **derъje*» (с. 49) — невозможно фонетически; венг. *nady* вм. *nagy* (с. 91); «древнерусское личное имя **Оргость*» (с. 96) — сочетание *-pr-* фонетически недопустимо и т. д. Эти недочеты могли бы легко быть исправлены при переиздании. А переиздание словаря совершенно необходимо: ведь его тираж

всего 1800 экземпляров, что конечно, недостаточно для справочника такого типа.

Хочется надеяться, что рецензируемый словарь — лишь начало в цикле историко-этимологических работ украинских коллег, посвященных географическим названиям и имеющих обобщающий характер.

Орел В. Э., Осипова М. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стрыжак А. С. Этимологический словарь летописных географических наименований Украины // Проблемы восточнославянской топонимики. М., 1979.
2. Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
3. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
4. Словник гідронімів України. Київ, 1979. С. 115.
5. *Būga K. Rinkiniai raštai*. Т. I. Vilnius, 1958. P. 177, 186, 269.
6. Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968. С. 72—73.
7. Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976.
8. Rieger J., Wolnicz-Pawłowska E. Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1975. S. 75.
9. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 8. М., 1981.
10. Отин Е. С. Гідроніми Східної України. Київ — Донецьк, 1977.
11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1971.

Храковский В. С., Володин А. П. Семантика и типология императива. Русский императив. Л.: Наука, 1986. 272 с.

Несмотря на то, что проблема анализа волеизъявительных высказываний и грамматических средств их оформления с давних пор привлекает внимание лингвистов, она далека от своего окончательного решения и продолжает оставаться предметом непрекращающихся дискуссий. В последнее время эта проблема приобретает новое звучание в связи с повышением интереса к внешнелингвистическим ее аспектам — функционально-коммуникативному, прагматическому и социолингвистическому. Это влечет за собой необходимость новой трактовки некоторых

известных и универсальных явлений, выдвигает требование пересмотра некоторых фундаментальных понятий, относящихся к понятийному аппарату лингвистики. Книга В. С. Храковского и А. П. Володина является первой в отечественной, да, пожалуй, и в мировой лингвистической литературе столь крупной работой, специально посвященной изучению императива. В ней обобщаются результаты штудий различных аспектов волеизъявительных высказываний начиная с работ первой половины XIX в. Несомненной заслугой авторов является,

по существу, заново построенный, исходя из принципов исчисляющего описания, аппарат структурно-семантического анализа грамматических средств, оформляющих императивное высказывание. Пересматриваются некоторые основополагающие представления об аспектах проблемы анализа императивных конструкций (например, императив и категория времени/наклонения). Всесторонне и углубленно исследуются вопросы морфологии, синтаксиса, семантики и употребления императивных конструкций русского языка.

Рцензируемая книга, представляющая собой два довольно независимых исследования, не только способствует пересмотру наших представлений о конкретном языковом явлении — категории императива, — но и в значительной мере обогащает теоретическую базу современной лингвистики.

Первая часть книги — «Семантика и типология императива» — состоит из трех глав. В первой главе — «Семантика императива и проблема исчисления императивных форм» — императив рассматривается как объект типологического анализа. Отмечается, что императив встречается во всех описанных языках (в отличие, скажем, от таких категорий, как залог, вид, версия), констатируется интуитивная ясность его семантики и широкая употребительность. Присоединяясь к мнению Р. О. Якобсона [1] и В. В. Виноградова [2], авторы выделяют обособленность императива от прочих глагольных категорий и его периферийность в общей системе форм глагола. Императивные предложения отмечаются либо особой поведительной интонацией, либо наличием особых императивных форм глагола [3]. Первое крайне важно, когда в императивном предложении употребляются формы индикатива, например, инфинитив или формы будущего времени; иногда императивные формы характеризуются регулярным переносом ударения (например, в тюркских языках, в мальгашском). Императивные формы отличаются фонетическими, фонологическими, морфологическими и синтаксическими особенностями. Глагольный императив наряду с вокативами (а также призывными и отгонными междометиями и словами команд) выполняет апеллятивную функцию, которая в своем императивном аспекте предписывает выполнение некоторых действий или их запрещение.

В параграфе, посвященном семантике императива, авторы критикуют традиционную точку зрения, согласно которой лицом, побуждаемым к действию, считается только адресат сообщения, т. е. 2 л. Такая трактовка неприемлема для описаний языков, в которых парадигма

императива включает 1 и 3 л. всех чисел (единственного, двойственного и множественного). Проанализировав точку зрения Р. В. Пазухина [4] на соотношение императива с «несомненными наклонениями» (индикатив и конъюнктив), авторы приходят к одному из центральных положений книги — модели универсальной парадигмы, — включающей все логически возможные комбинации элементов императивного значения, т. е. такие комбинации компонентов коммуникативной ситуации, каждой из которых (комбинации) могла бы соответствовать отдельная императивная форма. Универсальную парадигму формируют компоненты двух видов — постоянные и переменные; первые — это грамматическое императивное значение волеизъявления, номинативное значение действия (то, к чему побуждается слушающий), 1 л. ед. числа говорящего; вторые — грамматические значения лица и числа исполнителя и грамматическое значение числа слушающего. Членом парадигмы является конкретное значение коммуникативной ситуации, описанное в терминах грамматических значений лица говорящего, слушающего и побуждаемого к действию (слушающий и побуждаемый к действию в общем случае не совпадают, и это и есть то новое, что ведет к расширению представлений об императиве и делает парадигму универсальной). Исчисление коммуникативных ситуаций включает 34 конъюнкции, при этом не учитываются случаи наличия категорий рода/класса у глагола, категорий вежливости, показателей обращения (восходящих к классным показателям в глаголах), существования в некоторых языках двойственного числа у глаголов, наличия эмфатических императивов (типа английских форм *Come in!* — *Do come in!*; *Sit down!* — *Do sit down!*). Не принимались во внимание также наличествующие в некоторых языках сокращенные формы императива (укр. *гляди/глянь, борони/боронь*). Универсальная парадигма могла бы быть расширена за счет введения видовой и временной составляющих, различных форм императива в зависимости от изменения залога (лат. *Vincet!* «Побеждай!» *Vincēre!* «Пусть ты будешь побежден!»). Эти оговорки в явном виде формулируются авторами, расширение же парадигмы — вполне возможное теоретически — за счет снятия названных ограничений, не прибавив теоретической ценности, могло бы сделать универсальную парадигму императива чересчур громоздкой.

Во второй главе — «Типология императивных парадигм» — авторы формулируют требования к словоформам, включаемым в императивную парадигму. Эти требования включают два пункта: а) возмож-

ность регулярного образования императива от всех лексем, допускающих по своей семантике образование словоформ с императивным значением, и б) распознавание этих форм в тексте как имеющих императивное значение. Анализируя требования к словоформам-кандидатам на включение в императивную парадигму, авторы рецензируемой книги отмечают излишнюю жесткость отдельных исследователей в этом и выступают за более мягкие, менее формальные требования, допуская включение в парадигму императива и аналитические формы типа английских *Let me go!* «Дай пойдю!» Вместе с тем не может не вызывать симпатий четкость методологической позиции авторов при описании фактов, не относящихся к некоторой категории; в подобных случаях они призывают не отодвигать эти «строптивные» факты в сторону, а эксплицитно указывать, к какой другой категории эти эмпирические факты относятся. На протяжении книги авторы остаются верными этому принципу.

Мягкость подхода к морфологии конструкции и эксплицитность толкования эмпирических фактов позволила авторам, сознающим, что они имеют дело не столько с типологией императивных парадигм, сколько с типологией их описаний, скорректировать императивные парадигмы целого ряда языков. Для примера достаточно указать описания арабской и грузинской императивных парадигм, даваемые авторами. Традиционно арабская императивная парадигма описывается как двучленная, включающая только формы 2 л. (формы 1 л. и 3 л. отсутствуют), но поскольку авторы учитывают формы императива мужского и женского родов, аналитические императивные формы, а также формы императива двойственного числа, то они получают десятичленную парадигму для арабского и восьмичленную для грузинского языков, совпадающую с эталонной.

Авторам удалось построить аппарат, который а) дает возможность судить об адекватности/неадекватности описания того или иного языка с точки зрения средств побуждения и б) может использоваться при составлении дескриптивных грамматик недостаточно документированных языков.

В начале третьей главы — «Категория наклоения и ее интерпретация. Сопоставительный семантический и формальный анализ императивной и индикативной парадигм» — дается традиционная трактовка императива как основного из числа косвенных наклоений и приводится обзор нетрадиционных точек зрения на императив как на один из членов системы вербойдов [4], куда входят также нефинитивные формы глагола: причастия,

деепричастия, инфинитив, как на одно из значений реалисы, куда наряду с императивом входит индикатив [5], как на один из членов функциональной категории модуса высказывания, куда входят индикатив и конъюнктив. Приведа далее характеристики категории наклоения и рассмотрев определение категорий времени и наклоений [6—8], авторы приходят к выводу, что время и наклоение не являются двумя самостоятельными грамматическими категориями, а время есть субкатегория наклоения. Авторы высказывают предположение о том, что императив не может трактоваться как наклоение: «...императив и, шире, императивное предложение вообще не выражают какого-либо факта, который может характеризоваться как реальный или нереальный. Императив выражает прямое волеизъявление говорящего относительно невыполнения действия (или его выполнения), и это значение не является одной из граммем категории наклоения» (с. 68—69). В последней части главы проводится доказательство этого тезиса. Схема доказательства выбирается от противного. Допустив в рамках доказательства этого положения, что императив, равно как и индикатив, является наклоением, авторы, используя аппарат грамматики порядков, сравнивают формы и их количество в индикативе и императиве в различных временах, для различных значений категорий лица и числа, проводят сравнение центральных форм индикатива (второе лицо) и императива (второе лицо) и приходят к выводу, что императив не является наклоением. Императив, как показывает сравнение императивных и индикативных парадигм, имеет специфические лично-числовые показатели. Причина этого явления, по мнению авторов, в том, что лицо-число у императива в отличие от неимператива является не согласовательной, а содержательной категорией.

В четвертой главе — «Семантика и типология прохибитива» — которую авторы начинают с обзора взглядов на семантику отрицательных глагольных форм, они присоединяются к мнению Е. В. Падучевой [9], трактующей отрицание как оператор, применяемый к утвердительному предложению, а предложение *Мальчик не читает книгу* представляется как результат применения эксплицитной перифразировки НЕ ИМЕЕТ МЕСТА (*Мальчик читает книгу*). Исходя из такого понимания отрицательных глагольных форм, авторы приходят к выводу, что прохибитивные формы представляют собой комбинацию волеизъявления и частноотрицательного предложения [9].

Далее приводится типология прохибитивных форм в соотношении с индикатив-

ными отрицательными формами. Авторы основывают типологию на таких классифицирующих признаках, как идентичность/неидентичность соотносительных форм индикатива (без показателя отрицания) и прохибитива и идентичность/неидентичность показателей отрицания в императиве и индикативе.

Каждый классифицирующий признак может принимать одно из трех значений: полная идентичность, неполная идентичность и полная неидентичность. Здесь исчисляются логические возможности сочетания трех значений двух указанных признаков и рассматриваются 9 теоретически возможных случаев. Анализ прохибитивных форм подтверждает вывод, полученный авторами относительно императива: прохибитив, так же, как и императив, трактуется как косвенное наклонение глагола лишь в силу сложившейся традиции описательных грамматик.

Вторая часть книги — «Русский императив» — является по сути развернутой и углубленной иллюстрацией на материале русского языка теоретических построений, содержащихся в первой части. Являясь сторонниками функционального подхода к анализу форм-кандидатов на включение в парадигму, авторы вносят в парадигму почти все формы, которые в той или иной мере «подозревались» в императивности (гл. V).

Русская императивная парадигма представляется морфологически неоднородной, некоторые формы сопровождаются рядом вариантов. Авторы указывают, что именно это и является причиной разногласий и непрекращающихся дискуссий о составе и строении русской императивной парадигмы, сущность разногласий заключается в двух подходах — формальном и функциональном. Последовательно осуществляя в работе функциональный подход, авторы выделяют в составе русской парадигмы первичные и вторичные императивные формы, понимая под первичными «формально-императивные» формы (2 л.), а под вторичными — притянутые императивной парадигмой из других форм либо аналитические императивные формы, знаменательные компоненты которых входят в другие парадигмы.

Говоря о проблемах классификации частных императивных значений (гл. VI), авторы отмечают отсутствие четких и эксплицитных критериев существующих классификаций и предлагают собственную, основывающуюся на комбинации значений трех типов отношений: источника импульса каузации, заинтересованности (т. е. того, в чьих интересах каузируется желаемое действие) и субординации, что позволяет выразить строго формально все частные императивные значения: приказ, просьбу, инструкцию,

предложение (фактитивная каузация), разрешение и совет (пермиссивная каузация).

Синтаксис императивных конструкций (гл. VII) описывается с точки зрения структурно-синтаксических свойств актантов глагольных форм, входящих в состав императивных конструкций, приводятся правила порядка слов, учитывающие размещение актантов и сирконстантов по отношению к глагольному сказуемому, описываются эллиптические (безглагольные) императивные конструкции.

Кроме того, в последних главах второй части рассматриваются императивные конструкции с частицами, этикетное употребление императивных форм (для чего вводятся параметры релевантных социальных отношений), исследуется непрямое употребление русских императивных форм, сводящееся к внутрипарадигматическим (когда при сохранении «императивности» применяются частные значения лица и числа) и внепарадигматическим непрямым употреблениям (форма императива не сохраняет значения волеизъявления).

Рецензируемая книга отмечена духом новаторства, изложение строго выдержано в рамках приличия исчисляющего описания, все типологии строятся на эксплицитно сформулированных основаниях, «клетки» классификации иллюстрируются примерами, подбор которых, кроме прочего, свидетельствует о тонком художественном вкусе авторов. Появление книги представляет собой значительное событие в лингвистике.

Московой В. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jakobson R. Zur Struktur des russischen Verbums // Jakobson R. Selected writings. V. 2. The Hague, 1971. P. 7—16.
2. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Вып. 2. М., 1938.
3. Пешковский А. М. Интонация и грамматика // ИОРЯС. Т. I. Л., 1928. С. 458—476.
4. Пазухин Р. В. Так называемое «повелительное наклонение» и его парадигма // Studia Rossica Posnaniensia. 1974. № 6.
5. Ермолаева Л. С. Типология системы наклонений в современных германских языках // ВЯ. 1977. № 4.
6. Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
7. Грамматика русского языка. М., 1960.
8. Русская грамматика: В 2-х т. М., 1980.
9. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса. М., 1974.

Рецензируемая монография посвящена описанию принципов словоизменения важнейших диалектов даргинского языка в сравнении с таковыми мегебского идиома, квалифицированного автором в качестве мегебского языка, и представляет собой опыт сравнительного исследования морфологических категорий. Исследование построено на материале наиболее расходящихся друг от друга диалектов и ведется в сопоставительном и сравнительно-историческом планах, что призвано подготовить базу для разработки сравнительной грамматики лакско-даргинской группы дагестанских языков.

Необходимо отметить, что, приступая к подготовке почвы для создания сравнительной грамматики даргинского и лакского языков, находящихся в относительно близких генетических отношениях, автор, естественно, столкнулся с недостаточной подготовленностью даргинской стороны вопроса, поскольку исследования в области грамматики, которые со времен П. К. Услара проводились на даргинском материале, ограничивались рамками отдельных диалектов. Поэтому автору работы пришлось нацелить свое исследование на преимущественное изучение диалектов цудахарской группы. С этой целью им был собран и обобщен материал по чирахскому, хайдакскому и собственно цудахарскому диалектам. Привлечены также материалы таких неизученных диалектов ветви «р», как дигбашинский, кичигамиринский, гирганский (вернее — гергинский) и гуденский. Автору работы, впервые приступившему к сравнительному изучению столь разнящихся идиом даргинского ареала, пришлось также заново поставить вопрос, является ли даргинский язык в лингвистическом смысле единым целым, состоящим из отдельных диалектов и говоров, или мы имеем здесь дело с группой языков, в основе которых лежит общедаргинское состояние.

Многолетний опыт сопоставительного описания материала даргинских идиомов и внимательное изучение традиции убедили автора книги в том, что современное состояние диалектной дифференциации даргинского ареала таково, что в последнем в качестве самостоятельного языка, кроме нередко выделяемых кубачинского и хайдакского, можно выделить еще чирахский и мегебский идиомы. Эти идиомы, как он отмечает, «по своему лингвистическому статусу могут быть описаны как идиомы-языки» (с. 12). Вместе с тем нам осталось не вполне ясным, почему далее эти идиомы автор именует диалектами, а мегебский, который, на наш взгляд, стоит все же ближе к даргинскому лите-

ратурному языку, чем хайдакский, кубачинский и чирахский, называет языком. Впрочем, при этом автор делает оговорку, что он учитывает и ряд факторов социолингвистического характера (имеется в виду то, что носителей кубачинского, хайдакского и чирахского идиомов обслуживает даргинский литературный язык, в то время как носители мегебского идиома этот язык не обслуживают, а также осознание ими своей этнической самостоятельности).

Кроме того, заявляя о том, что различия между идиомами обеих ветвей (хайдакской и акушинской) и мегебским языком еще более контрастны, автор работы не вполне четко обозначил общее место мегебской речи в даргинском ареале. Действительно, если сравнить диалекты хайдакской ветви с диалектами акушинской ветви лингвистически, самым отдаленным окажется мегебский идиом, входящий в акушинскую ветвь. Столь же отдаленным он будет, если сравнить его с другими диалектами самой акушинской ветви. Но если сопоставить все три единицы (идиомы хайдакской ветви, идиомы акушинской ветви и мегебский идиом), то идиомы акушинской ветви и мегебский выглядят ближе друг к другу, чем идиомы хайдакской ветви и идиомы акушинской ветви или идиомы хайдакской ветви и мегебский идиом. Следовательно, мегебская речь не может претендовать на максимальную удаленность от других даргинских идиомов или литературного языка. Если принять во внимание критерий взаимопонимания говорящих на составляющих даргинского подразделения, то, на наш взгляд, в качестве самостоятельных, хотя и близкородственных языков даргинского подразделения, можно назвать собственно даргинский, кубачинский, чирахский, хайдакский и в некоторой степени мегебский.

Подчеркнем в этой связи, что мнение С. М. Хайдакова, одного из современных дагестановедов, близко знакомого с диалектной дифференциацией даргинского языка, по рассматриваемому здесь вопросу для нас ценно тем, что этот вопрос, не сходящий со страниц даргиноведческих работ, начиная с П. К. Услара, поставлен им тогда, когда многие ранее не изученные ингредиенты даргинского подразделения оказались, наконец, более или менее изученными. Кроме того, если этот вопрос до сих пор решался по данным фонетики, то в работе С. М. Хайдакова он решается на сравнительном изучении морфологии даргинских идиомов, что, разумеется, делает более убедительным его окончательное решение.

Возвращаясь к тому, в какой степени автору монографии удалось решить поставленные задачи, можно отметить, что в большинстве случаев ему это действительно удалось.

Прежде всего, присоединяясь к традиции, автор справедливо отмечает, что на каком-то хронологическом отрезке в общедаргинском состоянии должны были сложиться два диалекта, положивших начало современным диалектам ветви «д» и ветви «р». Хотя в общей форме об этом говорили и другие специалисты (Е. А. Бокарев, Б. К. Гигинейшвили и т. д.), С. М. Хайдаков подкрепляет это мнение данными морфологии изученных им диалектов. Предшествующие наблюдения о расхождении в фонетике и морфологии обеих ветвей он подкрепляет новыми примерами, уточняет их в деталях и дополняет. На базе сравнения большого материала автор замечает, что «для даргинских идиомов весьма характерна вариантность слов на фонетическом уровне». Выясняя соотношение мегебского идиома с представителями обеих ветвей, С. М. Хайдаков приходит к безусловно верному заключению о том, что вычленившийся из ветви «р» (акушинской ветви) мегебский идиом, развиваясь в изоляции от остальных диалектов даргинского языка, сохранил ряд архаичных черт морфологии.

Рецензируемая работа состоит из двух частей. В первой — «Именное словоизменение» — рассматриваются вопросы образования множественного числа и склонения существительных, функционирования местоимений в чирахском, хайдакском, цудахарском, акушинском диалектах и в мегебском «языке».

Проанализировав образование плюральных форм имен существительных в мегебском в сравнении с другими диалектами даргинского ареала, автор устанавливает, что совпадение форм мн. числа существительных даргинских идиомов отмечается в незначительном числе слов (оно наблюдается в основном в терминах родства). Автором, в частности, замечена зависимость способа образования мн. числа от структуры слова. Так, например, в чирахском диалекте для двусложных слов наличие ударения на первом слоге является признаком ед. числа, а на втором — мн. числа. В результате сравнительного анализа образования форм мн. числа автор заключает, что плюральные показатели *-еь* (*-е*, *-и*), *-беь* (*-бе*, *-би*), *-неь* (*-не*, *-ни*), *-меь* (*-ме*, *-ми*) восходят к общедаргинскому состоянию (данный перечень общедаргинских показателей мы дополнили бы аффиксами *-ри*, *-ди*, *-хъа-ли*). Рассмотрение склонения имени существительного автор начинает с **разбора взглядов специалистов на число**

падежей в даргинском языке. Здесь адекватно определены причины, породившие разные точки зрения о числе падежей в даргинском языке вследствие, во-первых, расхождения самих подходов к понятию падежа и, во-вторых, из-за неодинакового числа падежей в даргинских диалектах. Наибольшие расхождения в диалектах прослеживаются в системе местных падежей. Здесь же высказан ряд таких интересных наблюдений относительно синхронии и диахронии падежной системы даргинского языка, как зависимость употребления тех или иных серий от семантики склоняемого слова, формальное расхождение значений «на чем?» и «над чем?», различение семантических субполей «в сплошной массе» и «в пустотелом предмете», «на горизонтальной поверхности» и «на вертикальной поверхности», «нахождение плотно соприкасаясь и нахождение около или рядом». С. М. Хайдаков указывает на необходимость выделения «промежуточных» падежей и высказывает предположение о существовании в прошлом какого-то полифункционального падежа, от которого затем стали отпочковываться те или иные субъектно-объектные; что касается отдельных современных синтетических форм, то они, по автору, получены из первичных аналитических и т. д.

В заключении раздела показаны схождения и расхождения в образовании падежей мегебского и других идиомов даргинского ареала. Отмечается, что мегебский комитатив заметно отличается от комитатива других даргинских идиомов, и то, что парадигма существительных в даргинских идиомах во многих случаях развивалась долгое время обособленно.

Выявлены различные диалектные варианты личных, указательных, вопросительных, отрицательных и неопределенных местоимений, особенности их склонения и образования форм мн. числа. Этим еще раз подтверждается мнение о длительном пути самостоятельного развития даргинских диалектов (с. 88).

Вторая часть книги целиком посвящена описанию глагола. Глагольные корни делятся на однокорсонантные и тяжелые; устанавливаются не пяти-, а шестичленная система именных классов в мегебском и пять фонологических типов корневой морфемы глагола; выделяются четыре класса глаголов (непереходные, переходные, *verba sentiendi* и переходно-возвратные). К числу других интересных наблюдений здесь относятся: уточнение различия между юссивом и оптативом, вторичность тяжелых корней, унаследованные мегебским способом видообразования из общедаргинского состояния, изолированное развитие форм условного наклонения в идиомах даргинского языка.

Вторая часть книги завершается специальным разделом, посвященным вопросу генезиса личного спряжения, где автор излагает также ряд интересных мыслей о формировании личного спряжения в даргинском языке. Прав автор, когда пишет, что мегебская система личного спряжения отражает изначальное состояние (личным окончанием здесь оформлено только 1 лицо, 2 и 3 лица их еще не имеют).

Однако не все положения и выводы книги можно безоговорочно принять.

К числу недостатков рецензируемой книги относятся: а) неадекватная лингвистическая квалификация отдельных фактов даргинского языка; б) неточная передача некоторых диалектных данных; в) наличие различных опечаток в материале.

Едва ли следует выделять в описываемых диалектах сравнительный падеж с формантом *-чи + б/-чи + р*, поскольку функции сравнения в даргинском языке выполняет сравнительная частица *-йчиб/-йчир/-ичив*, которая присоединяется ко всем падежным формам. На наш взгляд, нельзя говорить о неместоименном происхождении личных окончаний *-с*, *-хГа*, ибо окончание *-с* и его фонетический вариант *хГ* — материально и семантически увязываются с указательным местоимением *иш* (← **ис*) «этот», «то, что здесь», «я» (ср. чечен. *со* «я»). Личные окончания *-ра*, *-ри*, на наш взгляд, имеют не местоименное, а глагольное происхождение. Первичными следует считать не *ну* «я» и личные окончания *-ра*, *-ри*, а *ду* «я», *-да*, *-деГ-ди*, ибо для истории даргинского языка скорее характерен переход *д* в *р* или *н* (ср. архаичное окончание эргатива *-дГ-ди* в консервативном чирахском, кубачинском и других диалектах, а также окончание *-ни*, представленное в прогрессивировавших диалектах акушинского типа, или слова акушинского диалекта *духъна* «старуха», *дудзи* «сестра», *дурси*

«девушка», *ду* «я», записанные Клапротом в 1814 г., и современные акушинские *рухъна*, *рудзи*, *рурси*, *ну*).

Аналитические формы, рассматриваемые автором как падежные, не всеми специалистами признаются таковыми. Отдельные морфологические категории и грамматические особенности анализируемых диалектов не получили достаточного освещения.

К недостаткам рецензируемой работы следует отнести также плохое техническое редактирование. Местами текст читается трудно.

Среди неучтенных автором работ отметим статьи М.-С. М. Мусаева [1] и С. М. Гасановой [2].

Несмотря на указанные недостатки, книга С. М. Хайдакова «Даргинский и мегебский языки» является ценным вкладом в даргиноведение. В ней содержатся богатый и разнообразный фактический материал неизученных диалектов и говоров даргинского языка, ряд новых мыслей о статусе отдельных идиомов даргинского подразделения дагестанских языков, о его морфологических категориях.

Фактический материал и выводы, содержащиеся в книге, составят исходный пункт для дальнейшего изучения даргинской мофологии как в синхроническом, так и в диахроническом плане.

Мусаев М.-С. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мусаев М.-С. М. Чирагский диалект даргинского языка // Вопросы русско-го и дагестанского языкознания. Махачкала, 1975.
2. Гасанова С. М. Особенности падежной системы чирагского диалекта даргинского языка // Именное склонение в дагестанских языках. Махачкала, 1979.

Studies in ergativity / Ed. by Dixon R. M. W. Amsterdam — New York — Oxford — Tokyo: Elsevier Science Publishers B. V., 1987. 340 p.

Новый сборник, посвященный проблеме эргативности, составляют статьи, включенные в 71-й т. журнала «Lingua». Это издание, объединившее авторов чуть ли не всех континентов, хотя и уступает по количественным параметрам вышедшему около 10 лет назад аналогичному сборнику исследований по эргативности [1], несомненно, является отражением тех надежд, которые возлагают многие лингвисты на создание цельносистемной типологии, способной по естественности своих

классификаций встать в одном ряду с другими сравнительными дисциплинами — ареальной и сравнительно-историческим языкознанием. Подтверждает подобную характеристику, на наш взгляд, и дискуссия по поводу соотношения интегральной и парциальной эргативности, развернувшаяся на одном из пленарных заседаний XIV Международного конгресса лингвистов [2—4].

Особые перспективы для создания цельносистемной типологии появились в

70-е годы, когда центр внимания типологов сместился с проблемы эргативной конструкции предложения как частного проявления эргативности к пониманию данного феномена как целостной системы, реализующейся на разных уровнях языковой структуры. В это время были сформулированы две основные концепции эргативности. Первая, разрабатываемая преимущественно в публикациях Г. А. Климова [5—7 и др.], выдвигает на первый план исследований совокупность разноуровневых импликаций (цельносистемное определение). Вторая концепция предпочитает рассматривать как отдельно взятое любое явление, объединяющее субъект непереходного и объект переходного глагола в противоположность субъекту переходного глагола (парциальное определение).

Как представляется, эти направления (скорее взаимодополняющие, нежели взаимоисключающие) надолго определили специфику дальнейших типологических исследований. Трудно, например, назвать сейчас язык или семью языков, материалы которых не анализировались с применением парциального определения эргативности, прилагавшегося к явлениям морфологии, синтаксиса и в последнее время текста.

Как показывают исследования по «дискурсивной эргативности», в различных языках мира проявляется тенденция к морфологической немаркированности темы сообщения. С этим, видимо, связано соотношение форм абсолютива (95,4%) и эргатива (4,6%) в тексте, приводимое Дж. В. Дю Буа в статье «Ноль абсолютива: парадигматическая приспособляемость в сакалгультекском диалекте майя», а также неоднозначность поведения эргатива, прослеживаемая в статье Я. Качура «Эргативность, субъектность и топикальность в хинди-урду»: с одной стороны, он редко вводит тему сообщения, но, с другой стороны, наряду с дативом используется для ее дальнейшего обозначения. В то же время нельзя не согласиться с С. Камминг и Ф. Воук, утверждающими в статье «Имеется ли „дискурсивная эргативность“ в австронезийских языках?», что одной из существенных проблем, возникающих при изучении эргативности на уровне текста, является различие используемых разными авторами критериев. Представляется важным также их вывод о том, что «дискурсивная эргативность» никоим образом не может быть приравнена к текстообразующим функциям эргативной морфологии.

Складывается впечатление, что на современном этапе развития теории эргативности все большее распространение, особенно за рубежом (см., например [8—10 и др.]), получает именно такое направле-

ние исследований, при котором языковые данные тестируются на демаркацию SA/O или SO/A¹. В рецензируемом сборнике оно представлено статьями Т. В. Ларсена «Синтаксический статус эргативности в киче», где особое внимание уделяется вопросительным и выделительным конструкциям, выходящим, на первый взгляд, за рамки эргативной схематики (синтаксическая эргативность киче доказывается при этом весьма необычным образом: как полагает автор, в этом языке имена как в объектной, так и в субъектной функциях являются прямыми объектами), М. Клайман «Механизмы эргативности в Южной Азии», в которой устанавливается шкала возрастания/убывания эргативности в иранских, дардских, тибетских языках и бурушаски на основе рассмотрения падежного оформления имен, местоименных клитик, согласования главных и вспомогательных глаголов, и некоторые другие статьи.

В разысканиях такого рода рассматриваемые явления изначально предстают как изолированные, в результате чего возникает соблазн трактовать их как чисто комбинаторные: поскольку в переходном предложении необходимо различать субъект и объект, один из них обязательно маркируется. Если маркируется субъект, налицо эргативность, если же маркируется объект, налицо аккумулятивная (номинативность). Между тем поиск системных взаимоотношений эргативных и аккумулятивных характеристик, сосуществующих в рамках одной языковой структуры, позволяет постулировать наличие все нового и нового количества имплицитных связей, характеризующих эргативную и номинативную типологии как целостные языковые структуры. Бесспорным примером плодотворности поисков в данном направлении является формулировка иерархических закономерностей в оформлении эргативом и аккумулятивом именных членов предложения [11, 12].

Близка к такому пониманию точка зрения, принятая в статье Б. Левин «Средняя конструкция и эргативность». Ведущее различие между номинативностью и эргативностью, указывается в статье, заключается в разной интерпретации на уровне глубинной структуры семантических ролей агенса и пациенса: в номинативных языках это соответственно субъект и объект, в эргативных, наоборот, объект и субъект. Из этого следует опре-

¹ При этом не учитывается, как правило, совпадение характеристик субъекта переходного глагола и косвенных дополнений (чаще инструментального), присущее эталонным эргативным языкам. Счастливое исключение в данном сборнике представляет статья Б. Дж. Блейка (см. ниже).

деленная изоморфность пассива номинативных языков и антипассива эргативных, а также возможный параллелизм в оформлении среднего залога. Аналогии этому понятию в языках эргативного строя демонстрируются на материале так называемого «ложного рефлексива» в языке дырбал.

Здесь можно увидеть определенное сближение между цельносистемным и парциальным подходами. Все же, на наш взгляд, между ними сохраняется и существенное различие. Если в первом случае импликация обусловлена самой иерархической организацией языковой структуры (т. е. различие в лексике определяет различие в синтаксисе и далее в морфологии, и, наоборот, различие в морфологии свидетельствует о различии в синтаксисе и далее в лексике), то во втором они уславливаются более или менее эмпирически.

Первоначальная дихотомия «номинативность/эргативность» в последнее время все чаще дополняется третьим членом оппозиции — активным строем. Отношение к этому понятию современных типологов далеко не однозначно. Характерное для активной типологии противопоставление в оформлении субъекта семантически переходных глаголов по активности/инактивности трактуется рядом авторов как одно из проявлений парциальной эргативности: оформление субъекта инактивных глаголов следует эргативной схеме, активных глаголов — номинативной схеме. Именно эта точка зрения принята Р. Диксоном во «Введении».

Близость к этой концепции прослеживается и в статье Б. Дж. Хьюитта «Грузинский язык: эргативный или активный?», где предлагается вернуться к традиционной квалификации картвельских языков (точнее их дономинативного компонента) в качестве эргативных. В поддержку такого взгляда выдвигаются следующие аргументы: многие семантически активные глаголы требуют не повествовательного, как ожидалось бы, а именительного падежа субъекта, т. е. не соответствуют схеме активного строя; в диалектах встречается повествовательный падеж субъекта при некоторых инактивных по семантике глаголах и др. Думается, изучение такого рода отклонений весьма полезно, поскольку позволяет прогнозировать некоторые тенденции в развитии языковой структуры, но, к сожалению, трудно в данном случае определить, перешло ли количество в качество.

Полемизируя с А. Харрис, автор фактически упускает из виду специальную литературу по данному вопросу, изданную в СССР (например [13]), в которой, во-первых, обосновывается преобладание в современных картвельских языках но-

минативного компонента (нельзя в связи с этим не упомянуть и явно расходящуюся с этой характеристикой ремарку Р. Диксона на с. 14 об эргативности лазского языка) и, во-вторых, учитываются не только факты демаркации SA/O или SO/A, но и некоторые другие явления, непосредственно к этой схематике не относящиеся, но играющие существенную роль в решении вопроса о типологической принадлежности того или иного языка.

Выгодно отличаются в этом отношении две другие статьи, включенные в рецензируемый сборник, в которых также обращается внимание на некоторые нюансы, не вполне укладывающиеся в априорные схемы. Д. А. Холиски в статье «Падеж непереходного субъекта в цова-тушинском (бацбийском) языке» предлагает детальную классификацию непереходных глаголов бацбийского языка в зависимости от их употребления с номинативом или эргативом субъекта, различая глаголы с единственно возможным эргативом; с обычным номинативом, но возможным эргативом; с равновозможными номинативом и эргативом; с обычным эргативом, но возможным номинативом; с единственно возможным эргативом.

В основе этой классификации усматривается градация семантических ролей непереходного субъекта по активности/инактивности (пациенс — тема — локатив — эффектор/тема — эффектор — агенс), которая затем используется для формулировки правил употребления номинатива и эргатива при непереходных глаголах. Заметим, что автор использует традиционный для кавказоведения термин «номинатив», хотя, по словам Р. Диксона (с. 2), такое использование ведет к смешению двух типологически различных падежных единиц.

Высокий уровень детализации отличает и статью М. С. Полинской и В. П. Недякова, касающуюся различных способов выражения одной и той же семантической роли — в переходной эргативной конструкции, в антипассиве, при инкорпорации и т. п. Благодаря этому достигается возможность построения следующей цепочки иерархических взаимоотношений в кодировании объекта: абсолютив > косвенные падежи [датив > инструменталис > локатив] > инкорпорированный объект.

Важно, что выявляемые при таком анализе специфические особенности отдельных языков ведут не к пересмотру типологической характеристики в целом, а к отказу от жесткой соотнесенности элементарных типологических концептов: описание синтаксической структуры конкретного языка только в терминах субъекта/объекта или семантических ролей агенса/пациенса явно недостаточно. К та-

кому выводу нас приводит рассмотрение материала, анализируемого в статьях Д. Холиски и М. С. Полинской и В. П. Недялкова.

По-видимому, уже само операциональное (парциальное) определение языкового типа в настоящее время должно быть уточнено: активная типология не укладывается в рамки той рубрикации, которую навязывает разграничение семантических ролей S, P и A. Соответственно, разграничение ролей S(A) и S(P), проводимое в языках активной типологии, не может квалифицироваться как расщепленная эргативность, так как подразумевает иной набор исходных понятий. В связи с этим схему из четырех элементарных семантических ролей, на которую опирается А. Е. Кибрик в статье «Конструкции с сентенциальными актантами в дагестанских языках», можно считать более адекватной. В силу этого типологически более значимыми оказываются и результаты исследования, изложенного в данной статье. В свое время тезис, согласно которому при эргативной морфологии синтаксис подавляющего большинства языков остается номинативным (аккузативным) (см. [8]), существенно изменил представления о природе эргативности. Судя по материалам, приводимым в работах А. Е. Кибрика (не только в данном сборнике, но и в ряде советских публикаций [14, 15 и др.]), мнение о предпочтительной аккузативности синтаксиса также является неверным: здесь существуют универсальные, типологически обусловленные и варьирующие от языка к языку признаки, так что в рамках одного языка могут сосуществовать одновременно явления номинативности, активности, эргативности, нейтральности и контрастивности.

Из этого вытекает, на наш взгляд, одно методическое следствие: если в эргативном языке то или иное явление имеет аккузативный характер, не следует считать его заведомым исключением. Более того, такие конструкции, как антипассив, с сугубо аккузативными признаками фиксируются только в эргативных языках. Аналогичным образом кажущаяся эргативность генитива при отглагольных именах (ср. *плач ребенка*, но *воспитание ребенка*) вызвана, конечно, не типологической принадлежностью языка, а большей семантической зависимостью объекта от глагола, на что указывал в свое время А. С. Чикобава [16, с. 29]. Нельзя не напомнить также высказанное в литературе мнение о генитиве как принадлежности преимущественно номинативной типологии. Думается, примеры такого рода далеко не исчерпываются вышеприведенными.

В полемическом духе написана статья А. Рамсея, о чем свидетельствует уже

ее название «Химера протоиндоевропейской эргативности». Как полагает А. Рамсей, предлагавшиеся реконструкции праиндоевропейской падежной системы, противопоставлявшей, по мнению ряда лингвистов (в статье излагаются взгляды К. К. Уленбека, Н. ван-Вейка, А. Вайана, Е. Куриловича и некот. др.²), эргатив и абсолютив, не соответствуют иерархии Сильверштейна и, таким образом, не могут быть приняты. Решающим моментом критики является представление о «расщепленности» реконструируемой эргативности. В действительности расщепленность не является необходимым условием подобной реконструкции, так как падежи на *-s (эргатив) и на *-m или *-0 (абсолютив) могли быть универсальными, одинаково характерными для одушевленных и неодушевленных имен. Трансформация этой системы в номинативную состояла в распространении исторического эргатива на выражение субъекта непереходных глаголов, представленных одушевленными именами, в то время как функция агенса, выраженного неодушевленным именем, постепенно вошла в сферу употребления исторического абсолютива. Ни на первом, ни на втором этапе «расщепленности», таким образом, могло не быть. Следовательно, апелляция к иерархии Сильверштейна, на наш взгляд, в данном случае некорректна.

Историко-типологический аспект проблемы эргативности отражен и в статье Б. Дж. Блейка «Грамматическое развитие в австралийских языках», в которой высказываются некоторые соображения о наиболее древнем реконструируемом состоянии падежной системы австралийских языков. Эта система, по мнению Блейка, включала оппозицию эргатива на *-lu, обозначающего не только агенса, но и инструмент действия, и неформального абсолютива. Интересно, что именно такое функциональное своеобразие эргативного падежа считается характерным признаком эталонных эргативных языков [7, с. 112]. Развитие в австралийских языках черт номинативности объясняется конфликтом между маркированностью агенса и его стремлением выполнять функцию темы сообщения, которая, в свою очередь, имеет тенденцию к немаркированности.

Конечно, далеко не весь круг проблем, связанных с эргативностью, нашел освещение на страницах рецензируемого сбор-

² К сожалению, завоевывающая в последнее время все большее признание гипотеза об активной типологии праиндоевропейского состояния (см., например [17]) в статье не обсуждается, что, возможно, вызвано пониманием активности как расщепленной эргативности.

ника. Тем не менее его содержание наглядно демонстрирует как достигнутые успехи, так и нерешенные вопросы, исследованию которых в последнее время уделяется все большее внимание.

Алексеев М. Е.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ergativity: Towards a theory of grammatical relations / Ed. by Plank F. L. 1979.
2. Comrie B. Holistic versus partial typologies // Vorabdruck der Plenarvorträge XIV Intern. Linguistenkongreß. Berlin, 1987.
3. Климов Г. А. Интегральная типология vs. парциальная типология // Vorabdruck der Plenarvorträge XIV Intern. Linguistenkongreß. Berlin, 1987.
4. Seiler H. Language typology in the UNITYP model // Vorabdruck der Plenarvorträge XIV Intern. Linguistenkongreß. Berlin, 1987.
5. Климов Г. А. Очерк общей теории эргативности. М., 1973.
6. Климов Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977.
7. Климов Г. А. Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
8. Anderson S. R. On the syntax of ergative languages // Proceedings of the XI-th Congress of Linguists. Bologna, 1974.
9. Comrie B. Ergativity // Syntactic typology: Studies in the phenomenon of language. Austin, 1978.
10. Dixon R. M. W. Ergativity // Language. 1979. V. 55. № 1.
11. Silverstein M. Hierarchy of features and ergativity // Grammatical categories in Australian languages. Canberra, 1976.
12. Козинский И. Ш. Некоторые универсальные особенности систем склонения личных местоимений // Теория и типология местоимений. М., 1980.
13. Климов Г. А., Алексеев М. Е. Типология кавказских языков. М., 1980.
14. Кибрик А. Е. Материалы к типологии эргативности // Предварительные публикации ИРЯ АН СССР. Вып. 126—130, 140, 141. М., 1979—1981.
15. Кибрик А. Е. Конструкции с предикатным актантом в дагестанских (эргативных) языках // Категории глагола и структура предложения: Конструкции с предикатными актантами. Л., 1983.
16. Чикобава А. С. Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967.
17. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.

Butler Chr. Statistics in linguistics. Worcester: Billings Ltd., 1935. 214 p.

В исследовании языка, как и в естественных и точных науках, многие виды работ требуют сбора и обработки количественных данных. Специалисту в области лингвостатистики важно получить лексический спектр частот данного текста и сравнить его с теоретическим распределением словаря в текстах такого типа. Стилисту может быть интересно рассмотреть длину слова или предложения в различных жанрах, в произведениях различных авторов, в произведениях одного и того же автора, но на разных языках и т. п. Потребность в литературе, имеющей своей целью научить филолога мыслить статистически или хотя бы уметь корректно использовать в своей работе, в интерпретации языковых явлений числа, в последнее время особенно возросла. К сожалению, издания такого рода довольно немногочисленны (см. [1, 2], ср. [3] и [4]).

Рецензируемая книга лектора по лингвистике Ноттингемского университета (Великобритания) Кр. Батлера является введением в статистику для лингвистов. Она ставит своей целью научить филоло-

га применять статистическую технику при анализе лингвистических данных и предназначена для исследователей в области общей и прикладной лингвистики, которые не имеют предварительных знаний статистики.

Работа состоит из 12 основных глав и двух приложений. Кроме того, она снабжена указателем статистических терминов. В отличие от многих курсов статистики для нематематиков автор придает большое значение обоснованию того или иного метода. Ответы на вопрос «почему» в статистике интересуют его не меньше, чем ответ на вопрос «как». К. Батлер не просто предлагает ту или иную формулу, он вводит эту формулу, объясняя при этом, почему надо применять именно ее. Причем для понимания содержания книги читателю вполне достаточны знания школьного курса математики.

В первой главе книги дается определение и лингвостатистическая интерпретация фундаментальных понятий статистики. Автор приводит описание генеральной совокупности и выборки и дает их

классификации. На лингвистическом материале показано, как следует получать оптимальные выборки, отвечающие критериям случайности. Описывается техника случайного отбора и ее разновидности. Наглядно представлено в книге понятие переменной. Показывается, насколько важно установить в лингвостатистических исследованиях характер переменной, чтобы применять подходящую статистическую процедуру последующей обработки данных.

В работе статистика условно разделяется на две части: на дескриптивную, описывающую данные (*descriptive statistics*), и инференциальную, — раздел статистического оценивания и проверки гипотез, выведение соотношений из описательных данных (*inferential statistics*).

Содержание дескриптивной лингвистики раскрывается в главах 2 и 3. Глава 2 включает классификацию и группировку данных и возможности графического представления статистических параметров. Причем все это сопровождается объяснениями, предназначенными именно для лингвистической аудитории.

В главе 3 описываются средние (среднеарифметические) величины и меры рассеивания. Дается определение этих величин и показывается, как они вычисляются; затем описываются факторы, служащие обоснованием для использования той или иной меры рассеивания в частном лингвистическом случае.

Основы инференциальной статистики описываются в последующих главах. Глава 4 содержит описание нормального распределения, играющего важную роль при анализе значимого различия между разными типами данных. Статистическое оценивание описано в главе 5. Предметом главы 6 является постановка и проверка статистических гипотез и тесная взаимосвязь этой проверки с планированием экспериментальных исследований. Здесь вводятся понятия нулевой и альтернативной гипотезы, обсуждаются факторы, влияющие на выбор того или иного критерия согласия.

Затем следуют главы, описывающие параметрические (z - и t -критерии) и непараметрические критерии согласия (Мэнна-Уитни, Вилкоксона и др.). В книгу также включены сведения об анализе вариации и об анализе корреляции. Эти главы также снабжены лингвистическими параметрами. В заключительной главе автор описывает применения широко доступных в Великобритании пакетов вычислительных программ, которые он рекомендует использовать при статистическом анализе лингвистических данных. Приложения 1 и 2 содержат статистические таблицы и ключи к упражнениям соответственно. Каждая ее глава завершается

рядом упражнений для закрепления, последние, в свою очередь, снабжены подробными ключами. Содержание этих упражнений в большинстве случаев основано на реальных данных, полученных в лингвостатистических исследованиях.

К числу замеченных недостатков в книге относится, на наш взгляд, слишком узкое представление видов лингвистических распределений. Исследования лингвистических распределений показали, что нормальное распределение является далеко не единственным, которое подходит для аппроксимации реальных лингвистических распределений. Более того, распределения некоторого типа лингвистических единиц, в частности, термины, не могут описываться нормальным законом. Подчиняемость лингвистической единицы определенному закону распределения может сигнализировать о характере лингвистической единицы или группе лингвистических единиц (ср. [5, 6]). Подобные исследования особенно важны в свете решения проблем автоматической переработки текста. В этой связи ограничение описанием только одного закона распределения может рассматриваться как недочет книги.

Далее, как нам кажется, автор иногда неоправданно игнорирует объяснение того или иного статистического понятия при помощи сугубо лингвистических примеров, хотя это может быть обусловлено и тем, что не любое понятие в статистике иллюстрируется подобными примерами.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что вышла крайне необходимая для лингвистов книга. Материал подан ясно и последовательно. Работу написал специалист, хорошо знакомый с нуждами исследователей-лингвистов, сталкивающихся со статистикой. Для того чтобы книга была доступна более широкому кругу советских читателей, было бы очень полезно издать ее на русском языке.

Манасян Н. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. Головин Б. Н. Язык и статистика. М., 1971.
2. Носенко И. А. Начала статистики для лингвистов. М., 1981.
3. Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А. Математическая лингвистика. М., 1977.
4. Алексеев П. М. Статистическая лексикография. Л., 1975.
5. Пиотровский Р. Г. Текст, машина, человек. Л., 1975. С. 111.
6. Манасян Н. С. О характере однопредметных распределений терминов в тексте (на материале текстов по квантовым генераторам на английском языке) // НТИ. 1985. Сер. 2, № 7.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

14 января 1988 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись девятнадцатые ежегодные чтения, посвященные памяти выдающегося советского филолога, академика Виктора Владимировича Виноградова. Открывая заседание, В. П. Вомперский отметил, что виноградовские чтения стали научной традицией. Выдвинутые В. В. Виноградовым идеи в самых различных областях языкознания плодотворно развиваются в работах советских лингвистов.

Чтения были посвящены различным лингвистическим концепциям оценки и пониманию оценочных факторов в языке.

В. А. Плотицкова (Москва) в докладе «Об оценочных аспектах слова в концепции В. В. Виноградова» (по материалам его монографии «Из истории слов», готовящейся к изданию) подробно рассмотрела вопрос о путях формирования у слова оценочного значения. Определяя слово как номинативную и смысловую единицу языка, В. В. Виноградов подчеркивал, что слово «как смысловая единица языка, отражающая тот или иной „кусочек“ действительности, выражает его общественное понимание». Это общественное понимание обычно включает в себя и оценку. Оценка чаще всего бывает «социально-экспрессивной» и входит в семантику слова. В словарях она фиксируется как в толковании слова, так и в его стилистической характеристике. Докладчиком были охарактеризованы отдельные способы формирования оценочных значений. Оценочные значения могут возникнуть в слове в результате расширения его смыслового объема; оценочное значение часто имеют заимствованные слова. История значений и выражений тесно связана с историей общества, с историей развития культуры и литературы. Появление новых общественных явлений и понятий влечет за собой появление новых слов-названий и изменения в системе старых значений. В связи с развитием литературы, формированием «натуральной школы» в литературный язык вливается много слов и выражений из народно-областной речи. В лите-

ратурном языке они, как правило, получают отрицательную экспрессивную окраску: ироническую, презрительную, пренебрежительную и др. Немаловажную роль в усвоении литературным языком оценочных слов и выражений играет индивидуальная инициатива, личное творчество. Своим авторитетом авторы — деятели культуры, художники, писатели — способны повышать ценность уже существующих выражений или создавать «удачные» названия-характеристики лица или явления (*жлыц* — И. И. Панаев, *отсебятина* — К. П. Брюллов), возрождать старые местные названия, сообщая им новое значение. Докладчиком были названы и другие пути формирования у слов и выражений оценочных значений.

В докладе Л. П. Крыгина (Москва) «Оценочный компонент семантики иноязычного слова» были рассмотрены типы оценки, которые составляют часть содержательной информации о слове. По мнению автора, такая оценка должна отражаться в толковании слова (в его модальной рамке). Контекстно-стилистические условия употребления иноязычного слова, его эмоциональная окраска в этом случае являются следствием, вытекающим из наличия в семантике слова оценочного компонента. Основные положения доклада были проиллюстрированы на примере толкований слов типа *авантюра*, *афера*, *воляж*, *респектабельный*, *шоу* и под.

В. В. Лопатин (Москва) в докладе «Оценка как объект грамматики» отметил, что в работах В. В. Виноградова большое внимание уделено оценочности не только в лексике (о чем шла речь в предыдущих докладах), но и в грамматике. Современное состояние научной разработки явлений модальности, прагматических и иных аспектов языка, теснейшим образом связанных с оценочностью, позволяет поставить вопрос об оценочности как особой функциональной сфере языка, т. е. об описании всей системы оценок и грамматических средств, служащих для их выражения. Докладчик выделил шесть функциональных комплексов, формирующих оценочную сферу языка, и назвал грамматические средства выра-

жения оценочных значений. Комбинаторику оценочных значений автор рассматривает как особую проблему, поскольку в пределах одного и того же языкового средства, типа употребления могут совмещаться, контаминироваться разные оценки. Выяснение сочетаемости и несочетаемости конкретных оценочных значений в пределах высказывания — важная задача «грамматики оценок». При этом складует иметь в виду, что в пределах высказывания могут одновременно использоваться разные оценочные средства. Особую задачу «грамматики оценок», по мнению автора, представляет собой учет лексических ограничений на использование тех или иных оценочных средств, особенностей лексического наполнения оценочных конструкций и шире — проблема взаимодействия грамматических средств с лексическими в пределах оценочных функциональных полей или комплексов. В заключение докладчик подчеркнул актуальность проблемы оценочных грамматических средств, так как она тесно связана с более широкой проблематикой, выдвигаемой в современной лингвистике на передний план и определяемой как «язык и человек» или как «человеческий фактор в языке».

Л. И. Скворцов (Москва) в докладе «Нормативная оценка фактов языка» остановился на некоторых общетеоретических вопросах лингвистической аксиологии, коснулся проблем классификации нормативных оценок и их типологии. Подобные оценки служат выработке эталона, образца («идеала») литературной нормы как культурной языковой традиции, имеют большое значение для практики нормативной лексикографии. Анализ индивидуальных (личных) или общественно-групповых оценок речи, подчеркивал В. В. Виноградов, служит описанию «всей полноты современной речевой жизни» [1]. Нормативные оценки касаются чаще всего иноязычных заимствований, диалектизмов и жаргонизмов, новообразований, окказионализмов, стилистически окрашенных средств языка, а также общих (структурных) свойств и качеств литературного языка в целом или отдельных его функциональных разновидностей (стилей). В докладе были приведены многообразные случаи главным образом писательских нормативных оценок — в контексте воспитания ценностных ориентаций личности и общих проблем лингвистической экологии. Оценочный аспект нормализации играет существенную роль в сознательном сохранении традиций, в использовании языковых средств, выборе вариантов и т. п. В заключение докладчик указал на важность нормативных оценок фактов языка для создания словарей одного автора (писателя, общественного дея-

теля). В принципе может быть создан и специальный нормативный аксиологический словарь русского языка (словарь языковых оценок). В таком словаре — на большом историческом фоне — может быть представлена речевая жизнь русского общества во всех ее нюансах и переливах; в нем можно дать картину лингвистических вкусов различных социальных групп. Наблюдения над нормативными оценками фактов языка дают для этого богатый и в разных отношениях поучительный материал.

В докладе М. В. Ляпон (Москва) «„Грамматика“ самооценки» изложены некоторые результаты осмысления закономерностей рефлектирующей деятельности субъекта-производителя текста в тех случаях, когда он выступает интерпретатором своего собственного речевого поступка или оценивает свои принципы пользования языком. «Грамматику» самооценки автор представил в двух аспектах: 1) а н а л и з говорящим «Я» своего поведения в конкретной знаковой ситуации (например, оценка выбора словесной формы, ее адекватность коммуникативному замыслу и т. п.); 2) с и н т е з своего образа как языковой личности (само моделирование). Объяснительную силу оценочной ситуации эгоцентрического типа автор усматривает в том, что она воспроизводит модель оценочного акта с необходимыми минимумом составляющих параметров, каждый из которых находится в сильной позиции.

В докладе Е. Л. Гинзбурга (Москва) «О взаимодействии категорий количественной и качественной оценки» некоторые лексические явления современного русского литературного языка рассмотрены в связи с обсуждением вопросов о неэлементарности семантических структур наиболее общих обозначений категорий качественной и количественной оценки, о значительной общности этих структур, отражаемой конструкциями многозначности, о демонстрации этих структур некоторыми фразеосохемами современного русского языка, о преобразовании этих структур в ходе включения отрицания. Автором было показано, что подобный анализ объясняет связь семантики прилагательных *плохой* и *маленький* не только с прилагательными *хороший* и *большой*, но и с прилагательными *никий* и *похожий*.

С. Е. Никитина (Москва) в докладе «Оценка в фольклорных текстах» показала, что тип оценки может быть жанрообразующим фактором. По значениям трех главных параметров оценки: объекта оценки, ее субъекта и основания различаются тексты традиционного обрядового фольклора, жестокие романсы и духовные стихи. Автором было показано, что для

традиционных фольклорных текстов характерны оценки нормативные, выраженные постоянными эпитетами; субъектом оценки является коллективная языковая личность — фольклорный социум. Для жестоких романсов характерны эмотивные субъективные оценки, субъектом которых является индивид. В духовных стихах преобладают этические оценки, субъектом которых является также индивид, оценивающий мир с точки зрения христианского абсолюта.

Председатель комиссии по виноградоским чтениям чл.-корр. АН СССР

Н. Ю Шведова в заключение отметила актуальность прозвучавших докладов и конструктивность высказанных в них идей.

Агафонова Л. Л. (Москва)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания // ВЯ. 1964. № 3. С. 9.

От редакции. В статье Г. О. Винокура «О возможности всеобщей грамматики», опубликованной в № 4 нашего журнала за 1988 г., к сожалению, прошел ряд досадных типографских опечаток.

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 28.10.88	Подписано к печати 20.12.88	Формат бумаги 70×100 ^{1/8}		
Высокая печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. кр.-отт. 73,6 тыс.	Уч.-изд. л. 15,2	Бум. л. 5,0
	Тираж 5591 экз.	Зак. 2172		

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6